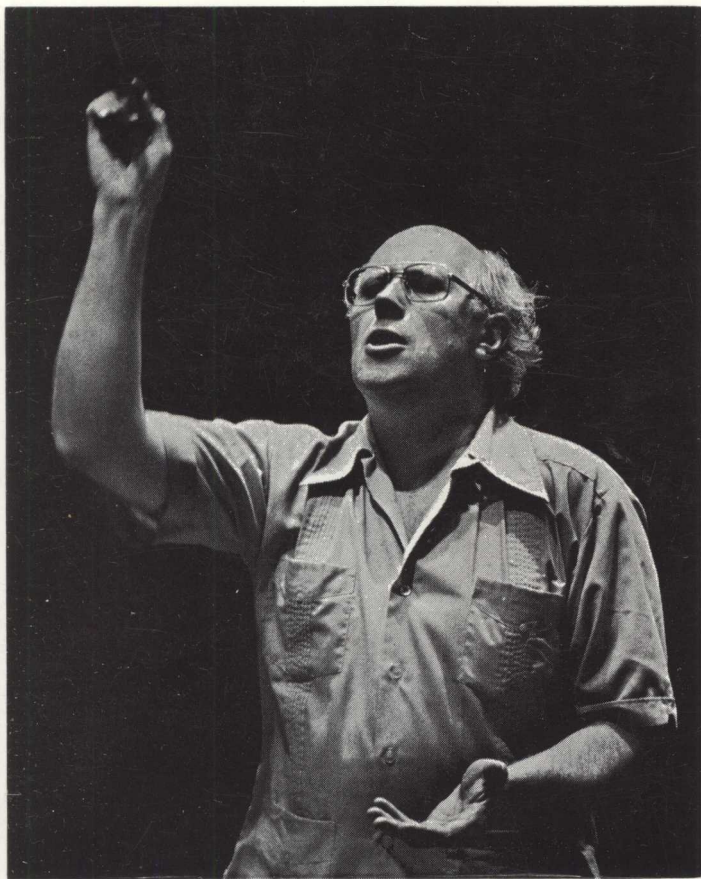


# КОНТИНЕНТ 13

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



*К 50-летию со дня рождения*

**Главный редактор:** Владимир Максимов  
**Заместитель главного редактора:** Виктор Некрасов  
**Ответственный секретарь:** Наталья Горбаневская  
**Заведующая редакцией:** Виолетта Иверни

**Редакционная коллегия:**

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли  
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Александр Галич · Ежи Гедройц  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер  
Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов  
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне  
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая  
Юзеф Чапский · Александр Шмеман  
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

**Корреспонденты «Континента»**

- |         |  |
|---------|--|
| Англия  | Владимир Тельников<br>Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd<br>London W 11                      |
| Израиль | Михаил Агурский<br>Michael Agoursky, Ramot 6/30<br>Jerusalem, Israel                         |
| Италия  | Сергей Рапетти<br>Sergio Rapetti, via Veruto 1/B<br>20131 Milano, Italia                     |
| США     | Юрий Ольховский<br>George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W.<br>Washington D. C. 200 16, USA |
| Япония  | Госукэ Утимура<br>Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7<br>189 Tokyo, Japan                      |

К



# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

13

Издательство «Континент»  
1977



## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ АДАМУ МИХНИКУ

- *Когда меня посадят, посвятишь мне стихи?*
- *Еще бы. Да я посвящу тебе первые же стихи, которые сейчас напишу.*
- *И напечатаешь в «Континенте»?*
- *Ну, конечно. На первой странице.*

*Разговор был в Париже, на переломе зимы и весны, в наводнение. Потом я только упомянула, что стихи уже есть, но всё было как-то не до них, даже не до того, чтобы их перепечатать. Так он и уехал\*.*

Разговор, которого никогда —  
Разговор, к которому ниоткуда —  
Набережные захлестывает вода,  
но река безымянна —

Безымянна, как глиняная посуда,  
переполненная через край  
ожиданием чуда или хотя бы не чуда,  
чересчур ожиданием —

Ожиданьем чего-нибудь или чего-то,  
называньем по имени мокрых камней,  
и размывом границ, и отплытием флота,  
отчаливанием щепочек от трухлявых пней,

---

\* Когда номер уже был в типографии, пришло известие об амнистии в Польше. По этой амнистии освобождены рабочие, еще остававшиеся в тюрьмах после прошлогодних забастовок, а также члены и добровольные помощники Комитета защиты рабочих — в том числе и Адам Михник. (Прим. автора.)

еще не чающих океана  
и не оглядывающихся назад,  
на полусумрачный палисад,  
на имя Лютеция или Секвана,  
но увы — — —

*5 марта 77*

Мокро, холодно, свежо  
над катящейся рекою.  
За вертящейся строкою  
не поспеешь, не нагонишь,  
только смысл из рук уронишь  
да вздохнешь нехорошо.

Мокро, холодно, тепло,  
горько, жарко, переменно.  
Горьким пламенем примера  
не возжешь, не распылаешь,  
близоруко протираешь  
запотевшее стекло.

Мокро, солоно со щек.  
Сухо, горько в скулах сжатых.  
**ОСТАНОВИ, ВАГОНОВОЖАТЫЙ!**  
Отыщи останки рельса,  
трепыхнись, потом забейся,  
точно бабочка в сачок.

*5 марта 77*

Слушай — и услышишь.  
А пока до свиданья, до завтра,  
до поры желтеющих листьев,  
увядающего азарта.

*6-8 марта 77*



## ВЗГЛЯД И НЕЧТО

### Часть вторая

*(Окончание)*

До чего же длинный переход на станции метро Франклин Рузвельт. Немыслимо длинный. Идешь, идешь, направо, налево, прямо, опять направо, опять налево... А где-то впереди музыка... Ближе, ближе. За поворотом смотрю — двое. Виолончель и аккордеон. Один черненький, тоненький, бородатый, другой волосы до плеч, в свитерочке. На земле перед ними шапка, картуз. Бросают франки, довольно бойко. Человек десять, как и я, остановились, слушают. Хорошо играют. Что-то серьезное. Не знаю только что. И кто кому аккомпанирует, тоже не знаю. Виолончелист без смычка, щиплет струны пальцами, как на арфе. До сих пор звучит в ушах их музыка.

А напротив — во всю стену плакат. Жюльен Клерк. Певец. Во дворце спорта. Молодая, улыбчатая, многозубая физиономия. Кудри до плеч. Такой же, как эти ребята. Только он во дворце спорта, а они в метро Франклин Рузвельт...

Ах, ах — вздыхает моя жена, видишь? Вижу, — говорю я, — но сколько раз я тебе говорил, ребята собираются в Непал, там новый гуру, проповедник появился, вот и собирают деньги... А рядом, как нарочно, почти впритык к Жюльену Клерку реклама какого-то «Анти-Клуба» — река Меконг или какая-то другая, а на ней джонка. И довольно мелкими буквами: Париж — Бангкок — 8 дней — 3200 франков, Париж — Гонконг — 11 дней — 3800 франков... Мое месячное «континентское» жалованье, плюс у сына, Витьки, 800 франков одолжу и в Гонконг! А? Теперь мне это куда легче сделать, чем в свой киевский гастроном сбегать за батоном к чаю...

Постоял я, бросил свой франк и пошел дальше... Нельзя больше стоять, тороплюсь на встречу с тобой, читатель. Давно уже пора прогуляться нам с тобой по Парижу. Но всё, как говорится, недосуг. То Испания подвернется, то норвежский домик со своей библиотекой. Потом, после Норвегии, две недели в Израиле, а между ними еще несколько дней во Франкфурте — книжная ярмарка, тоже есть о чем поговорить, о советском павильоне, например. А до Испании еще Амстердам («Ночной дозор» Рембрандта, музей Ван Гога...) и совсем не мертвый, слишком даже не мертвый (смерть туристам!) Брюгге с почти неведомым нам Мемлингом.

Но сейчас мы в Париже. Стоит, блядь, мессы. Ей-Богу, стоит. И не сердись на меня, друг, за прорвавшееся слово, вряд ли знал его Генрих IV, но в устах одного моего друга (не скажу какого, все этого барда знают) оно прозвучало так к месту и не вульгарно, что я на минуту подумал, а не назвать ли мне так свои записки. Но вовремя одернул себя. Хотя, если уж говорить о названиях, то, ей-Богу, нисколько не хуже хемингуэзовского «Праздника, который...». Ладно, хватит, точка. За мной...

Ни в какие музеи заходить не будем, просто доедем до Конкорд, от Франклина Рузвельта две остановки, там пересядем на direction Mairie d'Issy и вылезем на рю дю Бак. И дальше не торопясь, разглядывая витрины, останавливаясь у газетных киосков, сворачивая в боковые улочки, возвращаясь назад, пойдем по бульвару Сен-Жермен в сторону Буль-Миш, бульвара Сен-Мишель.

Сен-Жермен самый, самый что ни на есть парижский бульвар. По нашему понятно это, конечно, просто улица (бульвар — это бульвар Шевченко в Киеве, аллея тополей по середине улицы, отгороженная решеткой, или Леси Украинки — это бульвары...), здесь же скромные липы вдоль тротуара, и вообще не верьте парижанам — у них есть avenue Franco-Russe — три дома слева, три дома справа — вот и всё. (Правда, в Ялте есть проспект Павленко — тупичок метров сто длиной...) Растут себе, значит, скромные липки, по одну сторону они, по другую магазины. С москвичками ходить невозможно. «Не отворачивай голову, когда с тобой разговаривают, шею свернешь.» — «Ну и сверну, что поделаешь.» И не слушает меня, не может оторваться от... От чего? От всего... Не будем разглядывать «шмотки» (оставим их какой-нибудь женщине-писательнице, у нее лучше получится), глянем лучше на то, от чего я сам до сих пор млею.

(Читатель, примирился с тем, что ты сейчас обнаружишь, — я впал в детство... Совершенно серьезно, в определенном возрасте это наблюдается. По-французски называется *tomber en enfance*. Так вот, я впал в *enfance*, и впереди тебе не раз придется сталкиваться с моим падением.)

Корабли... Корветы, фелюги, каравеллы, клипперы, фрегаты, крейсера, авианосцы. Продаются в больших коробках с картинками такой реалистической, будоражащей кровь силы, что хочется тут же, немедленно, купить весь флот. Это желание — купить всё — возникает и при созерцании всех марок существующих автомобилей — нет, не в салонах Рено и Фиат на Елисейских полях, я не хочу больших автомобилей, это хочет сын — я хочу маленькие, и маленькие мотоциклы, и паровозики, и электровозы, и спальные вагоны несуществующего уже Orient-Express (Агата Кристи!), и Боинги, Миражи, Фантомы... В Японии, говорят, даже МИГ-25 есть. Стоит всего два доллара. Здесь его нет, и я купил «раму», Фокке-Вульф 189 А-2, ту самую, которую по утрам мы так ненавидели в

Сталинграде, проклятый, всё видящий, всё снимающий рекогносцировщик-корректировщик.

Все вышеупомянутые корабли надо клеить самому. Об одной из таких Санта-Марий я как-то написал рассказ. Как привез я из Америки одному мальчику такую каравеллу, как с его папой мы долго ее клеили, а потом мальчик со своим товарищем стали играть в мяч, и каравелле крепко тогда досталось. У рассказа есть теперь продолжение. Оба мальчика выросли, у обоих теперь окладистые бороды, и вот один из них, оказавшись в Америке, решил искупить свою вину — прислал мне из Лос-Анжелеса такую же точно каравеллу. Через 10 лет. Сейчас она украшает шкаф одной, увы, забывшей меня киевлянки. А вообще они, эти каравеллы, украшают не только шкафы, они украшают жизнь, поверьте мне...

Солдатики... Всех национальностей и всех эпох. У нас на родине этот вид развлечения не популяризуется (каких делать солдатиков? Советских и каких? Кто с кем будет воевать? И кто победит? А вдруг не наши?), здесь же есть все, начиная от римских легионеров и наполеоновских гренадеров до... советских пехотинцев. Правда, на них можно разориться. Какой-нибудь маршал Даву или Ней (а есть и они) может стоить и 100, и 200 франков.

Вчера в нашем доме был двойной праздник — 2 февраля — десять лет внуку, Вадику, и 34-я годовщина окончания Сталинградской битвы. Мне подарили солдатиков, идущих в атаку, и маленькую стреляющую пушку, Вадику же... Всего и не перечислишь. И какой-то электрический автодром, и авианосец «Клемансо», а набор чего-то оптического (мама с бабушкой, конечно, ничего лучшего не нашли, как купить шорты и кеды...), и верх ребячьего восторга (конечно, я придумал) — маска Президента Французской республики Валери Жискар д'Эстена. Ее рвали из рук в руки, все примеряли и, конечно же, фотографировались. Я с грустью смотрел на это... Подумать только, я просто зашел в магазин, где продают всякие забавные нелепости, и спросил — *Combien coûte Giscard?* — почему Жискар? — 36 франков — ответили мне. Представляете себе такую же картинку в Москве — почему Брежнев?

Но свернем на одну из боковых улочек, ведущих к Сене, на рю Бонапарт, или рю Сен-Пер, или рю де ла Сен. Старинные вещи... В этом магазине всё морское: карты, астролэбии, компасы, секстанты — полный набор Жюль Верна. В этом — оружие. Всех веков, кавалерий и инфантерий. И всё настоящее. Панцири, шлемы, хвостатые каски, самурайские и Карла Великого мечи, шпаги, сабли, рапиры, пистолеты, и арбалеты, мушкеты и мушкетоны. И бешено дорогие. Немецкая, серая каска со шпиком; периода первой войны — 600 франков — прекрасное дамское пальто.

Магазины кукол — опять всех веков и народов... Магазин марионеток — нет, не Ли-Сын-Манов и Тхзу, а арлекинов и пьеро. Магазин будд, тотемов и африканских божков из эбенового дерева

(вспомнился писатель Вадим Кожевников, привезший из Китая, по словам его жены, «мешок будды»). Магазин морских чудищ — сушеных осьминогов, звезд, морских коньков и «монстров», маленьких каких-то акул с открытым ртом, очень похожим, говорят, на мой, когда мне вырвали зубы, чтоб вставить новые, прекрасные. Магазин птичек, попугаев и колибри... Собачий магазин... Но это уже мы попали на набережную Сены, возле Пон-Нёф. А если перебежать улицу, над самой Сенной, вдоль каменных парапетов — букинисты!

Букинисты!!! (восемь восклицательных знаков). Час, два, пять, десять, можно целый день бродить, разглядывать, листать, прицениваться, торговаться, уходить, возвращаться, опять торговаться и наконец купить «L'Illustration» за 1916 год (Верден!), «Signal», немецкий журнал, издававшийся во Франции в годы этой войны (присланные мне из Парижа номера, посвященные Сталинграду, хранятся в архивах КГБ, отобрали при обыске), открытки с видами Парижа времен Сарры Бернар, картинки, гравюры, портреты киноактрис вплоть до Мери Пикфорд и Пири Уайтт, когда они были еще хорошенькими, карты, ордена, деньги, марки (это, правда, лучше покупать по субботам и воскресениям на рынке неподалеку от Champs Elisées), ну и книги, книги, книги... Книги, книги...

Стоп! Остановись, несчастный! Французы тебя на смех подымут. За это вот все, что ты написал... Зулусы приехали! Витрин не видали, рты раззявили. Да, не видали! Да, раззявили! Да, дикари, скифы мы с раскосыми и жадными глазами. И всё хотим купить. И покупаем. Не так, правда, как эмиры с Персидского залива и их жены, но приходите как-нибудь на Gare du Nord к отходу московского поезда — зрелище, достойное кисти, не знаю кого, не было такого художника... «Нет, нет, проводник не пропустит» — с тоской и ужасом во взоре стонут уезжающие, глядя на Эвересты своих чемоданов, и тут же жалобно: «Знаешь, сколько заказов? Тому то, тому то. Без этого не приезжай. Одних джинсов на пол-школы. О таможене и думать боюсь. Третью ночь снится...» А раскормленный, рыластый проводник только ухмыляется, знает всё наперед, ждет, когда потная, потерявшая от волнения голос хозяйка всех этих памиров сунет дрожащими руками полста, а то и побольше ему в карман. Прожженные бестии, за своей поллитрой тоже небось жалуются: «И тому надо, и тому надо...»

Да, книги, книги, книги...

Есть такой магазин FNAC. На рю де Ренн. Я боюсь его, как огня. И как кролик в пасть к удаву. Где бы я ни оказался, ноги всегда приводят меня в конце концов к нему — в этот трехэтажный, будь он трижды проклят, магазин, где книги на двадцать процентов дешевле. Вот и несут туда ноги, сами сворачивают на рю де Ренн.

Счастье, что у меня еще плохо с французским языком. Говорю об этом без тени улыбки. Ограничиваюсь пока книгами с картинками

— фотоальбомами, путеводителями, справочниками, словарями и о-о-ох! — по искусству. По искусству... Жить не хочется, когда видишь эти чудеса полиграфии, одной рукой и не подымеешь. Я не говорю уже о всех Микельанжеллах, Боссах и прочих Матиссах, а «Франция поверх крыш»? Летал, черт, на самолете со своим «Каноном» над всеми Бургундиями, Пикардиями и Нормандиями и нащелкал, гад, так, что дух захватывает. А «Любимый Париж»? («Paris que j'aime»)? А такая же любимая Флоренция, Венеция, Севилья, половина городов Европы? Ночной Париж... Таинственный Париж... Старый Париж... Мосты Парижа... Париж вчера и сегодня... Уходящий Париж... Стон рвется из моей груди. Сам хватаю себя за руку. Не надо! Не надо! И уже у кассы...

А детские книжки! Все эти Алисы в стране чудес, братья Grimm, Перро, русские сказки (Билибин!), шотландские, восточные, норвежские... И в немислимом количестве комиксы.

О них, о bandes dessinées отдельный разговор. Считается, что это гибель для детей. Начинается, мол, с комиксов и, минуя книги, кончается телевизором. А читают все, от мало до велика; стесняясь, подсмеиваясь над собой, но читают. Вот и я влип. Ах, куплю для Вадика — купил и не смог оторваться. Увлёкся абсурдными историями — а я-то думал, что только стрельба и погони, — и не замечаешь, как время летит... Техника рисунка безукоризненна. От традиционной диснеевской до прекрасного иллюстративно-графического реализма, лаконичного, броского, с лихими ракурсами, полными динамики.

Рухнул я, взяв в руки «Необыкновенные похождения Адель Блан-Сек» — «Адель и чудовище»... Начинается все с того, что 4 ноября 1911 года, в музее естествознания парижского ботанического сада, в 23.45 вылупился из яйца цыпленок ихтиозавра. Вылупился, разбил окна и стал летать по Парижу. Подняты на ноги все, вплоть до Клемансо и Армана Фальера, президента республики. Газеты задыхаются от сенсации. Монстра видели там-то, он похитил того-то и того-то, кто-то его даже сфотографировал. А тем временем в Лионе... И пошло накручивание.

Фантазия у авторов неиссякаемая, но для меня прелесть всех этих нагромождений в самих рисунках. Очень конкретных, привязанных к месту. Узнаешь дома, улицы Парижа, Лионский вокзал, Jardin des Plantes, Pont-Neuf, и сделано всё с превеликим знанием топографии и прочих городских архитектурностей, соткано из мельчайших деталей тех, бэль-эпошных лет — такси, вывески, газеты, моды... Первый класс! Всё вместе я назвал бы документальной фантастикой — милый моему сердцу жанр. Текст и рисунки Жана Тарди, надписи и цвет — Анны Делобель. Жму им руки. Покорили.

Но, допустим, всё это развлечение, всякие эти Адели, похождения пиратов, сыщики и разбойники, но в таких же картинках, и отличнейших, «История Франции». Ну, как ее не выучить. Сама в

рот лезет. На прилавках появились крестовые походы. Куплю! Ну, а заодно и новую Адель — «Демон Эйфелевой башни»...

Что поделаешь, *tomber en enfance*...

(Донос членов семьи: купил не только «Историю Франции» и эту идиотскую Адель, а еще и «Похождения лейтенанта Блюбери», где от сплошной стрельбы и всех этих «BUM!», «BZZZT!», «RUMM!» голова кругом идет. И продолжает утверждать, что рисунки его, видите ли, пленили. Не меньше ста франков потратил, а тут соображаешь, как подешевле кофточку купить.)

Согласен! Виноват! Каюсь! Взорвать бы этот FNAC к чертовой матери! Подговорить, напоить бы какого-нибудь террориста — давай туда со своей бомбой. И что же? Ноги уже несут на угол Сен-Жермен и Сен-Бенуа в магазинчик поменьше, но не хуже. И таких «не хуже», думаю, не меньше тысячи в Париже, а то и побольше.

Но нет, мы не зайдем в магазинчик «не хуже» (называется он, кстати, «Hupé»), Бог с ними, со всеми этими комиксами, все мозги прожужжали, спасу нет, мы пойдем в «Deux Magot». Это рядом, сядем за столик где-нибудь в уголке, где потише, закажем кофейку, две порции *Stocq'monsieur* (зажаренную в гренках яичницу с ветчиной) и тихонько себе побеседуем. О Париже... «Deux Magot» — место знаменитое. Сейчас слава несколько приупала, но в период Сартра и Бориса Виана здесь собиралось все самое интересное, философски-бурлящее в Париже, здесь и рядом, в кафе «De Floge» — родился знаменитый экзистенциализм. Не миновал этого уголка и Хемингуэй. Теперь же назначаю друзьям свидания — я.

Закурим по «Голуаз» и поговорим, значит, о Париже. Как таковом. Постараемся избежать банальностей, как-то: древний и вечно молодой, красивый, притягательный, мечта и центр художников, жемчужно-перламутровые закаты, хотя это и действительно так.

Десятилетний Вадик, сидя как-то в такси и глядя по сторонам, сказал: «Маленький город, но хороший!» Я в этом «маленьком» городе прожил уже два с лишним года. Какие-то районы знаю хорошо, какие-то люблю, какие-то нет. На моих глазах вторгалось уже и вторгается немало чужого, чуждого (только что открылся Центр Помпиду в Бобур, истинными парижанами встречен был в штыки, ну, а как была встречена Эйфелева башня?), разрушаются, сносятся старые дома, нет больше «Чрева Парижа» — *Les Halles*, громадную дыру, «*trou*», на его месте до сих пор не знают, как и чем заткнуть, гибнут, сохнут старые деревья (газы, отходы!), заболели чем-то неизлечимым и были выкорчеваны старые липы на *Place des Vosges*, и всё же... Дух, душа этого немолодого, но всегда юного (ай-ай-ай, и не стыдно?) города все та же.

Есть в нем, в этом городе, одно качество, которое ощущаешь с первой же минуты, первой секунды. В нем легко дышится. И сразу

в нем становишься своим. Можешь быть в чем угодно — в рваных штанах (ну, это модно, допустим), в буннусе, сари, горностаевой мантии, просто в трусах, никто на тебя не обернется (только я оборачивался), никто к тебе не подойдет. Единственно, что осуждается, это если ты войдешь не в те двери в автобусе — вот тут осудят все.

Дух свободы! Вот чем дышишь в Париже. Посмотрите на прохожих, на эту парочку, сидящую на скамейке, а то и просто на траве, на работягу, принимающего свой аперитив у стойки, на школьников, бегущих из школы, на ярмарочного зазывалу, да, наконец, на этих пташек возле Пигаль — как естественны, непринужденны, по-парижски грациозны они. Только возраст, природный стыд и плохой французский останавливают меня, чтоб не пригласить вон ту, в высокие, выше колена сапогах к столику, думаю, тем для разговора нашлось бы больше, чем, ну, допустим, с покойной мадам Фурцевой.

Напротив нас, на той стороне маленькой площади, на паперти Сен-Жермен-де-Прэ, старейшей парижской церкви, какие-то юнцы в масках разыгрывают средневековую мистерию. Стоит небольшая толпа, хлопают. А кончат они, появится фокусник. Смейтесь, не смейтесь, но я не меньше часа стоял возле него и терялся в догадках, как он все это делает, а главное, почему его никто не гонит. Не гонят и художников, расставивших вдоль ограды, чуть подальше, увы, не очень-то оригинальные, такие же, как на Тэртр, на Монмартре, картины, не гонят и труппу молодых акробатов, куврыкающихся прямо на тротуаре (нарушая порядок и движение пешеходов!), и пожирателя огня, горячей пакли — никого не гонят... А в Киеве молодой, здоровый дружинник с красной повязкой вырывает из рук жалкой старушки корзинку с фиалками, фиалки в урну (любит чистоту, порядок), а старушке: «Чтоб духу твоего здесь не было, спекулянтка чертова! Марш отсюда!»

Да-да! Я уже предвижу, слышу ваши возражения. Вы уже бывали на Пигаль, заглянули в секс-шопы, ахнули, развели руками, а может и плюнули, возможно даже и фильм какой-нибудь «порно» посмотрели. Ну, как же это можно? А вот, оказывается, можно. Крутят себе эти самые «порно», кто хочет смотрит, кто не хочет, не смотрит. И никакого ажиотажа, никаких очередей, залы почти пустые. Не могу сказать, чтоб я был в особом восторге от этих фильмов — слишком уже всё долго и однообразно — а вот на американский «Секс о'клок» пошел бы и ещё раз. Авторы фильма (он документальный) сидят в крохотной квартирке молодой негритянской или пуэрториканской семьи, задают вопросы. Рядом в колыбели попискивает дитё. Хозяйева мило улыбаются, застенчиво отвечают на вопросы. «Ну, как, — спрашивают жену, — как вы к работе своего мужа относитесь?» Та пожимает плечами «Как? Да никак». «Но приходит он, вероятно, усталый, утомленный?»

Супруги переглядываются. «Да нет, — отвечает жена, — не жалуясь...» А работа молодого человека заключается в том, что он всю ночь занимается на эстраде любовью, а зрители смотрят... И тут же отвечаю на ваш вопрос — и работу показывают тоже! Ну и что?.. Вот когда великий Пазолини в своем последнем фильме «Сало», смакующем зверства и издевательства фашистских изуверов, целую часть, которая так и называется «Merde» («Дерьмо»), посвящает тому, как это самое вещество едят из тарелок, а потом, не вытерев ртов, целуются — вот тут даже я, человек терпеливый и не очень брезгливый, развожу руками. А фильм, нужно сказать, был принят левой, добропорядочной прессой весьма одобрительно. А по-моему, это вне искусства, хотя и Пазолини. И мне жалко покойного режиссера и его адептов. Но запрещать, зачем запрещать?

М-да, — вижу я, как вы переглядываетесь, — странно как-то все у вас получается. Не очень-то прогрессивно. Всё-то вам в этом капиталистическом мире нравится. Один только Пазолини не угодил. Вы что ж, за капитализм?

Я за свободу! И больше ни за что! И если выбирать между двумя мирами — тем, где прибыль получает Форд или Рокфеллер, эксплуатируя рабочих и давая им в то же время возможность иметь и машину и собственный домик (да-да, в рассрочку!), и тем миром, где прибыль идет Бог знает кому, псу под хвост, а рабочий стоит в очереди за гнилыми помидорами и должен за это еще благодарить то отца и учителя, то верного ленинца — я за тот, первый мир... А в социализм, с каким бы он ни был лицом, спиной или задницей, не верю ни одной минуты. Кто б его там ни делал — Миттеран, Пальме или сам папа римский, надумай и он увлечься этой модной игрушкой.

Я за свободу! И больше ни за что! За то, чтоб сесть в поезд, самолет, автокар, дилижанс и поехать, куда глаза глядят, хоть на край света, хоть к самому Иди Амину. За то, чтоб русский рабочий, тот же оружейник из города-героя Тулы, не ковал оружия для этого самого Иди Амина, ангольского поэта или мозамбикского марксиста-ленинца. За то, чтоб ученый, получивший Премию Мира, мог подняться на трибуну университета в Осло и получить её. И в конце концов я просто за то, чтоб подойти к газетному киоску и купить любую газету, которую тебе заблагорассудится, ну, а если случайно не окажется «Блокнота агитатора», не обижаться и махнуть рукой, нет так нет... И, взяв в этом же киоске свеженькую «Франс-суар», направиться бесцельно гулять по Парижу...

За то, чтоб гулять по Парижу — всем, кому хочется!

И Генке Шпаликову тоже... Хотя он уже и не может этого.

— Вика, возьми меня с собой. Возьми меня в Париж...

Не взял я тебя, Генка, с собой. И как не хватает мне тебя здесь.



И почему так глупо устроена жизнь? Почему так редко виделись мы в последние годы? Почему?

Я помню последние месяцы нашей неожиданно опять вспыхнувшей дружбы. Долго, долго не виделись и вдруг ты ввалился среди ночи, в каком-то плащике и, конечно же, на-підпитку. Ты изменился, очень изменился. Нет, ты не был Дорианом Греем. Следы не очень правильной, не очень размеренной, разложенной по полочке жизни легко можно было прочесть на твоём лице. Ты, увы, потерял свою былую стройность, но глаза-щелочки были всё те же — немножко меньше, чем раньше, но живые, ироничные и грустные.

Я помню эти весенние дни, последнюю мою весну в Киеве. Мы провели ее вместе. Неизвестно почему, но киевская студия Довженко заключила с тобой договор. И даже заплатила деньги. И за что? За сценарий какого-то фильма о повзрослевших суворовцах, которые приехали на какую-то встречу, перепились, и никаких контактов ни с кем у них не получилось. И вот за это, за этот антисоциалистический антиреализм тебе выдали аванс.

Ах, Генка, Генка... Я обращаюсь сейчас к тебе (нет, это не литературный оборот, я не буду перечислять твои заслуги, как это делается в юбилейных посланиях Союза писателей), нет, я просто хочу поговорить с тобой, прикоснуться к тебе. Давай что-нибудь вспомним...

Где и когда мы с тобой познакомились? Все у того же Марлена? Ну да. И опять же на каких-то именинах, любил он их, что поделаешь. Нас послали за пополнением. А может, мы и сами вызвались. Мчались по каким-то переулкам, боялись, что закроют магазин... Таким я тебя и запомнил — легким, быстрым, проворным, в эту очередь, в ту, в кассу, веселым, смеющимся. Мальчишка! Мальчишкой ты для меня и остался на всю жизнь.

Нам с тобой тогда было очень весело. Почему? Тебе от молодости, от того, что работал вместе с Марленом, в которого ты тогда влюблен. Мне? Бог знает от чего, может, от того, что тебе было весело. Ох, как был ты тогда молод, как всё у тебя было впереди. И ты верил. И я тогда еще (в сорок-то с лишним лет!) тоже.

А потом? Потом больше пьянствовали... Что бы поговорить об искусстве, о композиции сценария, о построении сюжета, так нет: «У тебя сколько есть? У меня десятка. Так... Заскочим к Люке, он, по-моему, вчера что-то получил. А потом к Лёшке». И шли к Люке, потом к Лёшке, на Южинский. Кривой переулок, всегда мокрый, в лужах, двор, две тесные комнатки, коридор с телефоном, на котором всегда кто-то висит. Комнаты принадлежали лешкиной маме, а она была режиссером у Марлена, поэтому там всегда кто-нибудь да околачивался.

Там же, в одной из этих комнат, и было сочинено (и написано на обоях!) знаменитое стихотворение, начинавшееся со слов: «Как-

то все слегка острое...ело!» Дальше шло какое-то объяснение, почему же именно мы находимся в этом состоянии, и, насколько я помню, виновницей всего была всё она, голубушка, дорогая наша и любимая... Ну а дальше стишок был под общий хохот переписан на бумажку, а бумажка оказалась потом почему-то в экземпляре сценария, который пошел куда-то на утверждение. Ох, и смеху было...

А Малеевка? Тихая, заснеженная Малеевка? Вы с Марленом в двадцатый, сотый раз переписывали и дописывали злополучную «Заставу Ильича», иногда писали, но больше «трепались»\*), ходили на лыжах, у тебя это куда лучше, чем у меня, получалось, стремительно съезжал с разных горок, а я больше трюх-трюх среди кусточков. И на лыжах же отправлялись в «Сельпо», и Марлен пытался возмущаться, а мы говорили что-то насчет леса и волка и искали посуду, а мама как всегда волновалась, взяли ли мы со стола закуску. Взяли, взяли, не беспокойся...

Сельпо-сельпом, но однажды мы, гады, распили марленово средство, которым он зачем-то растирал ноги. Как, бедняжка, он потом сердился. Ничего, завтра восполним...

А Внуково... Ты об этом нашем милом Внуково где-то потом, в стишках своих упомянул, а я даже рассказик написал. Зачем-то наврал в нем с три короба — как трудно, мол, было достать билет для какого-то лейтенанта с пацаном, как все отказывали и в конце-концов носильщик за пятерку всё сделал. Билет достать, действительно, было невозможно, и достали мы его через носильщика, но никакого лейтенанта с пацаном не было, а было два бездельника, которые вздумали на денек смотаться в Киев, окунуться в Днепр. А потом был и Днепр, и теплая водка, и какие-то знакомства, пассажирский катер, спаивание команды и клятвы верности до гроба.

Да, Генка, теперь все только и говорят, ах, какой он был талантливый, ах, ах... Да, был талантливым. И писал стихи, которые нигде не печатал. И сценарии, которые иногда ставили, иногда и не ставили. И хорошие, и плохие. И фильм даже был поставлен. Режиссер Шпаликов — «Долгая счастливая жизнь» с Инной Гулая и Кириллом Лавровым. Один из лучших кинематографических дуэтов, которые я знаю. Он не имел успеха. У нас не любят грустных картин. Ни начальство, ни зрители. Там, в одной из «массовок» где-то и я мелькаю. «Сядь, Вика, за столик, прошу тебя. Надо ж, чтобы они вели свой диалог на фоне какого-нибудь ханыги. Ну сядь, что тебе стоит...» И я сел. К Шукшину в фильм не попал, а к Шпаликову, вот, повезло.

А последняя наша прогулка с тобой по Киеву. «Ну, вот, теперь ты мне покажешь Киев». И я водил тебя по тем самым киевским

---

\*) Все ищу чем бы заменить это столь употребительное сейчас полужаргонное слово и не нахожу. Болтали? Нет, не то.

улочкам и переулочкам, не загаженным ещё последующими напластованиями, с двориками и лесенками, покосившимися заборами, скрипучими калитками, и в одном из таких двориков ты остановился вдруг перед врытым в землю столиком и сказал: «Ставлю ломаный цент против десятидолларовой бумажки, что не могло такого в жизни быть, что некий классик за этим столиком не опохмелялся...» И что ж, пришлось мне сбегать за бутылкой пива, и, кажется, это была наша последняя бутылка.

И вот, Генки больше нет. Повесился. На полотенце. В своей комнате Дома творчества в Переделкино. В ноябре 1974 года.

Он пил. Много. Очень много. Лечился. Недолечивался. Вшивал. Потом с помощью «друзей» за тридцатку взрезывал. И опять пил... Тогда, весной 1974 года, я чуть ли не силком сводил его к врачу. Он обещал выдержать до конца. Не выдержал. Опять запил.

В последний раз, у стойки кафе в гостинице «Украина», он клялся мне, что пить больше не будет. Но... «Как не пить? Как? Вика, скажи, как это у тебя получилось? Не могу я... Не могу я ни ЦДЛ, ни ВТО, ни Дома журналиста, ни «Мосфильм», ничего...» — где-то мы уже это слышали — а? — и вдруг сквозь тоску улыбнулся: «Возьми меня в Париж. Ей-Богу, честное пионерское, завяжу. Ну, иногда только с тобой, в каком-нибудь бистро, пивца какого-нибудь ихнего, светлого...»

На этом мы и расстались. Я усадил его в такси и больше не видел.

О смерти его узнал уже в Париже. На похоронах были только его друзья, товарищи самые близкие. Те самые, о которых он писал:

Ах, утону я в Западной Двине,  
Или погибну как-нибудь иначе,  
Страна не пожалеет обо мне,  
Но обо мне товарищи заплачут.

Я не «взял» тебя, Генка, в Париж. И мне тебя здесь очень, очень не хватает. Не хватает твоего юмора, тонкого, иногда грубоватого, но такого нашего, русского, или московского, или пацанского шестидесятых годов, того, которого не понять им, моим французам, или англичанам, считающимися королями юмора. Ты не был «хохмачом», сыплющим остротами, просто юмор был твоей природой, и человек, лишенный его, сам собой выпадал из круга твоих друзей. Ты был хорошим поэтом — так во всяком случае говорят люди, знающие в этом толк. «Ни дня без строчки» не было твоим лозунгом, я даже не знаю, когда у тебя это всё рождалось. По утрам, когда ты был в Киеве, я находил в почтовом ящике твои каракули на ресторанных салфетках. Они все у меня хранятся...

Сейчас, сидя за стаканом пива, того самого, светлого, ихнего, я вспоминаю многие наши с тобой вечера, ночи, утра и не могу вспомнить дня, часа, минуты, когда нам с тобой вместе было бы скучно. Даже когда изнывали по разного рода понятным причинам. Тоскливо, мучительно, но скучно?

Последние наши дни в Киеве, несмотря на то, что ты, негодяй, нарушая курс лечения, пил по секрету от нас, несмотря на то, что я кричал на тебя (а теперь жалею, не надо было бы кричать) и не давал выпить, я вспоминаю сейчас эти дни, как дни радости. Радости, потому что после какого-то перерыва (ты в Москве, я в Киеве, я в Москву, ты — куда-то) мы опять были вместе. И я познакомил тебя с моими друзьями. И они полюбили тебя. А ты их... И все это без всяких ЦДЛ, ВТО, «Мосфильмов»...

Сидя у меня на кухне, ты пел свои песенки, стуча пальцами по столу. А ту самую, про Двину, мы почему-то записали под траурные звуки панихиды из Нотр-Дам. Нам тогда казалось это очень смешным. Тебе всегда хотелось смешного...

И не все понимали, что это желание несколько не обедняет человека, — быть серьезным не самое главное в жизни.

И только в последнюю нашу встречу у тебя что-то не получилось с юмором.

Не до него, не до юмора тебе было тогда.

Гена, милый мой Генка... Я не проводил тебя в последний путь и не поднял свой стакан на поминках, но здесь, в Париже, я часто вынимаю кассеты, записанные у меня в Киеве, на кухне...

И слушаю тебя... И вижу тебя.

Генка Шпаликов, Геннадий Федорович Шпаликов, талантливый, умный, тонкий, забулдыга, пьяница, человек, которому так много было дано и который умел давать нам, но не додал, Генка Шпаликов, который пил потому же, почему пили многие русские таланты, даже гении, — ушел из жизни, сам себя увел, потому что не мог дышать.

Не хватало воздуха... Без него поэту жить нельзя.

Нет, не получилась наша прогулка по Парижу. Показал десятка два витрин, поехал, поехал, уселся за столик в кафе и, как всегда, ударился в рассуждения. И как всегда, всё кончилось на грустной ноте. И, как ни грустно, на ней же и продолжу.

Уходят, уходят, уходят друзья...

Вот и Севка Ведин ушел. Пришло письмо из Киева. Умер Сева Ведин. Вышел из больницы, напился и умер.

Севка Ведин... Хозяин Крешатика. Так он сам себя назвал. И таким он и был. Самый добрый из всех людей (мужчин, должен оговориться), которых я знал. А может, и единственный. Веселых, умных, обаятельных, талантливых на моем пути встречалось множество, а вот добрых? Севка был добрым, добрейшим, наи-

добрейшим. Все для других, всё для друзей. А себе? Себе вот не очень получалось.

(Был еще один, нет, словом добрый там не отделаешься, но о нем впереди, когда заговорю о главных людях моей жизни.)

ВЕДИНОГО ЯЙЦА НЕ СТОИТ! Знаменитая киевская «хохма». Сначала я узнал ее, а потом и его самого, журналиста, фронтовика, самого остроумного человека в Киеве и... заведующего киевским отделом АПН — Агентства Печати «Новости».

АПН? Я вижу круглые глаза. Да ведь это ж самое что ни на есть... Да, самое что ни на есть. И вот он был заведующим этим «самым что ни на есть», и именно потому, что оно было и остается таким, его вышвырнули за борт, и умер он если не под забором и не то что всеми отвергнутый (каждый по-своему его любил, его нельзя было не любить), но в общем-то почти в одиночестве.

Каким он был журналистом, я не знаю. Кажется, хорошим. Так говорят о нем друзья, которые с ним работали. Но это было давно. Очень давно. Когда я с ним познакомился, он уже не писал. Думаю, что просто разучился. То ли надоело, то ли лень-матушка одолела, то ли просто противно стало жевать эту жвачку — не знаю, — но при мне он ни одной строчки не написал. А по секрету скажу, по-моему, и не прочитал. Тоже надоело. Но поговорить... Вот что он уж очень не прочь был.

Было в Киеве время (о! это блаженное время, даже не верится, что оно было...), когда можно было зайти в одну из маленьких контор, имеющих отношение к журналистике или к какому-нибудь другому виду массовой информации и, взглянув в глаза присутствующим, промолвить:

— Ну, так как?

И почему-то сразу же решалось «как».

Дальше шли вариации — гастронм, продмаг, соседняя пивная точка, буфет. Посуда из шкафа, сейфа или заветного ящика письменного стола... Закуска все та же — икры, семги и колбасы салами что-то не припомню. Сервировка тоже без серебра и фарфора. Настроение бодрое, почти как у космонавтов.

В любой стране представители самой древней профессии — журналистики и примыкающих к ней других профессий, как-то: писатели, художники, артисты, любят поболтать. В нашей стране тоже любят, и называется это потрепаться. Клубов, кафе фактически нет (о судьбе киевских «Ливерпулей» я уже писал), дома мешают жены, дети, обычный семейный страх, вот и появились на свет такие точки. (Корбюзье, подразумевая, очевидно, нечто другое, называл их «точками высокой интенсивности».)

С годами количество их стало постепенно уменьшаться. Последней из них, этих точек, была резиденция Всеволода Венедиктовича Ведины на Крещатике, 8 — АПН — маленький, бывший магазинчик (вход с парадного) большого, с «лидвалевским» фасадом

дома, в котором в далекие, дореволюционные времена находился «Российский для внешней торговли банк».

Если не всегда инициатором, то вдохновителем, организатором, руководителем, королем, тамадой и душой всех этих встреч всегда был Севка. Грустить, ныть, на что-нибудь жаловаться в его компании было невозможно. Он излучал из себя нечто такое, что грусть, тоска и все прочие отрицательные эмоции сами по себе рассасывались.

Да и сама внешность его располагала к благодушию и терпимости. На старом языке это называлось сангвиник — рыхлый, крупный, со всегда улыбающейся и всегда розоватой физиономией, в пиджаке, с трудом стягивающемся на животе, он сидел за своим столом, засыпанным бумагами, и если не сыпал остротами, то звонил по телефону. За другим занятием застать его было трудно, если отбросить третье, основное.

Публика в его заведении была более чем разношерстной. В одном из таких заведений, давно умершем, на Большой Подвальной, все в общем друг друга хорошо знали — Севкино же находилось на самом что ни на есть бойком месте города, как говорили в старину, на пересечении торговых путей, поэтому всякий, кому некуда было девать времени (а кто пошедрее, то и пятерки), заглядывал к Севке на огонек. А огонек всегда теплился, то вспыхивая, то притухая, но никогда не угасая.

Была еще одна (и довольно многочисленная) категория людей, кроме просто любителей выпить и потрепаться, — это те, кому Севка помогал. Он всегда кому-то в чем-то помогал. Всех он в Киеве знал, все его (в период просперити, в основном) любили и связями этими он пользовался для бесконечных прописок, устройств на работу, в институты, в университеты, для получения квартир, пенсий и, конечно же, в разного рода делах, связанных с вытрезвителями. Почти всегда в общей веселой, соперничающей в островах и сыплющей анекдотами компании где-то в уголке сидел скромный, молчаливый, несколько ошарашенный всем происходящим бывший друг-однополчанин, или друг этого друга, или его зять, или тесть и, терпеливо жуя селедочный хвост, покуривая ждал своего часа. И этот час приходил. Забуддыжество забуддыжеством, но ни на одну минуту, ни на секунду, ни днем, ни ночью, не забывал Севка о своем друге-однополчанине, или его зяте, его тесте.

Одновременно этих зятей и тестей было несколько — два или три как минимум, — и где-то в разгар веселья, подмигнув в уголок, Севка брал трубку и с кем-то, прикрыв рот ладонью, тихо журчал по телефону. Кроме фронтовиков с третьего и четвертого Украинского или друзей по варшавской комендатуре, Севка опекал целое семейство каких-то цыган-музыкантов, юного эфиопа (Али из Сомали), у которого не хватило денег для перепечатки своей юри-

дической диссертации, какого-то прошалыгу-жука Жукова, которого приласкал, а тот его весьма бойко потом продал, брата знаменитого певца Паторжинского, державшего когда-то хор в Париже и приехавшего умирать в родной Киев, и бесконечное количество разных способностей художников, которым устраивал выставки в крохотном своем помещении. В кое-каких делах опекал он и меня. И моих друзей. И друзей моих друзей. Отказа не было. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Сотрудников своих он тоже опекал. Было их немного — человек 6-8, но всех их без исключения он обеспечил квартирами. Только себя не обеспечил. Разойдясь с женой и сойдясь, на свое горе, с одной хамкой (при всей своей относительной доброте более мягкого определения найти ей не могу), жил с ней и ее довольно великовозрастным сыном в четырех метрах какой-то полуразвалюхи на Красноармейской улице.

Хозяин Крешатика... Да, хозяин. В солнечные, весенние дни его всегда можно было обнаружить на отрезке Крешатика между бывшей Царской (потом III Интернационала, потом Сталина, потом Ленинского комсомола) площадью и площадью Калинина (ранее Думской), на правой его стороне, где знаменитые рыбный, винный и фруктовый магазины, два ресторана (один «Красный мак», другой, к стыду своему, забыл), газированные воды, есть автомат-пиво, коммиссионный, булочная, писчебумажный магазин, а в самом начале еще и прокуратура. Вот здесь всегда он и прохаживался, держа кого-то под локоток или просто подпирая запрещающую что-то пешеходам перегородку и посасывая пивцо из уличного на этот раз автомата, в окружении полудюжины поклонников и поклонниц.

Иногда он вдруг исчезал. Стоял вот только что рядом с тобой, шутил, острил и — вдруг! — нету. Был и нету. Растворился. И полчаса, час его нету. Объявляются поиски. Туда, сюда, в «Красный мак» — да, да, только что здесь был, выпил стаканчик вина и... Бежим на ту сторону в «Столичный», в «Дніпро» — заходил, заходил, пропустил коньячок и... Через час порозовевший, такой же приветливый и веселый, опять с кем-то под ручку на обычной своей стороне между прокуратурой и почтамтом.

Все завмаги были его друзьями. Рыбный, фруктовый и винный — главными. Рыба в нашей стране это всё! Селедка, вобла, все виды копченых. Деньги не имеют значения. Важно, чтоб была рыба. А она-то, проклятая, плавает себе где-то в Тихом океане и в руки не дается. В Севкины давалась. И очень он любил дарить ее друзьям. И за это его тоже любили.

Не любило его только ЦК. Ну, что это за работник, что за руководитель? Все мы не прочь пропустить свой стаканчик, но нельзя же так уж открыто, вызывающе. И вообще — не контора, а проходной двор. Несолидно. Не по-партийному.

Расправиться с ним было трудно, уж очень был популярен. К тому же заслуги, неплохо воевал. И все же...

Рухнул Севка, в общем-то, на новом помещении для своего агентства. Оно долго и основательно строилось. И строилось на западный манер. Весь первый этаж бывшего адресного бюро на углу Трехсвятительской переоборудован был по первому разряду. Кабинеты, вестибюль, холл с какими-то раздвижными стенками, несколько фотолабораторий, библиотека и даже собственный бар-ресторан в подвале, на который возлагались особые надежды. Всё делалось художниками, архитекторами, со вкусом, со знанием дела, по всем правилам иностранных оффисов. Ну и, само собой разумеется, на всё это нужны были сметы, счета. А считать-то Сева не умел, да и не любил. Короче, повисло на нем что-то с некоторым количеством нулей, а заодно и всю старую мебель растаскали кто куда мог.

Да, все Севу любили. И ахали, что он много пьет, не бережет себя, что так нельзя, что надо, в конце концов, взяться за ум, надо как-то по-дружески... И ходили к нему в больницу, а он все чаще и чаще туда попадал, и по-прежнему в дни его разных юбилеев (а он любил их отмечать) выпускали забавную стенгазету со всевозможными фотомонтажами и коллажами, одним словом, любили... Но когда сверху дано было указание — Убрать! Назначить нового! — все сочли это вполне разумным, а новый начальник (бывший друг и собутыльник) прочитал ему нотацию, велел «прикрыть клуб» и начать работать, и на этом, став рядовым сотрудником, Севка кончился. Работать, т. е. писать нужное для АПН показушно-рекламное свиństwo, Севка уже не мог, да и не хотел.

В этот-то период, внешне еще более или менее благополучный — у него был еще собственный кабинет, но принимал он уже в нем озираясь, — я с ним и расстался.

Пить более или менее он перестал, острить еще пытался, рыбу доставал, но воздух из него вышел. Ходить ему уже было трудно, волочил ноги, поминутно останавливался, потирал сердце (и что-то по поводу этого обязательно остря), друзья постепенно рассосались, бывшие подчиненные в рот ему уже не смотрели (надо было заглядывать в другой, сидевший в большом кабинете, сразу налево), выполинявшие всё по его звонку начальники отделений милиций как-то к нему охладели, мэр города, товарищ Гусев, принимавший его раньше без очереди (даже когда «я в Совете Министров»), что-то все чаще и чаще оказывался то в этом самом Совете Министров, то в ЦК.

Я в наследство оставил ему свою квартиру. С мебелью, с обстановкой. Заключил с ним договор, как с поднаимателем, всё честью провел через нотариуса, ходил с ним к паспортистке, к управдому и скажу прямо — больно на него было смотреть. Он не умел быть просителем, это у него не получалось, это был не его стиль.



Он, конечно ж, провожал меня на аэродром, убивался, что забыл фотоаппарат (последнюю неделю он замучил меня своим фоторепортерством, снимал у всех подъездов, у каждой пивной, виноват, квасной, бочки, на фоне всех гастрономов) и так же, как я, пустил слезу, и долго мы мяли друг друга в мужественных своих объятиях.

На этом всё кончилось.

Ни на одно письмо, ни на одну открытку он мне не ответил, к телефону не подходил. Витька с Милкой раза два до своего отъезда в Париж заходили к нему, даже ночевали, но он совсем уже угас, обо мне старался не говорить, озирался по сторонам. Хамка его запустила квартиру, всё завалено было грязным бельем, невытой посудой, работал он уже каким-то рядовым инспектором в Управлении по охране авторских прав и вот, попав в очередной раз в больницу, вышел из нее, за ним не углядели, выпил стаканчик-другой (с кем, кто эта сволочь?) и умер.

И не стало Севы. И лишился Крещатик своего хозяина.

Кто был на похоронах, не знаю. Известно только, что хамка его на поминках перепилась, веселилась, а друзья, или бывшие друзья, потихоньку растаскивали всё, что под руку подвернулось на память о... А Бог его знает о чем, о ком.

А Севы нет. Не уберегли...

Грустно...

Что-то уж больно часто стало появляться это слово в моих записках.

Да, грустно... Вероятно от того, что вспоминаю больше о своих друзьях, которых нет уже на свете. А о живых? О живых не скажешь, они все там, дома. Один Сахаров из моих знакомых, да Татьяна Ходорович ничего не боятся, а остальные...

Даже жена Сахарова, Елена Боннэр, на что уж бесстрашный человек, даже она на аэродроме Орли, перед посадкой в самолет, повела как-то плечами и вздохнула: «Ох! Как подумаешь только, что через три часа Москва...» Это не был страх, упаси Бог, но это была такая смертная тоска, такой понятный стон, а ведь она любит Москву, привыкла к ней и жить в ней будет до тех пор... До каких? Всему ведь есть предел.

В большом конференц-зале университета в Осло, когда я сидел и слушал такое спокойное, достойное выступление Елены Георгиевны, а потом норвежский король, немолодой уже, симпатичный и немного даже застенчивый, жал ей руку, я думал — о, Господи, да что же это за страна такая, в которой человек, так много сделавший для нее и награжденный за это тремя высочайшими наградами, вместо того, чтоб находиться здесь, на торжестве, посвященном именно ему, должен вместо этого мокнуть где-то под дождем, у дверей суда, куда его не пускают, хотя там судят его товарища.

Сахаров... Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот о ком можно и хочется сказать несколько слов, зная, что он не испугается, не огорчится, а может быть ему будет даже приятно.

Как ни странно, но с ним и женой его, Люсей, как зовут ее ближайшие друзья, я познакомился не у них, а у себя дома. Как-то позвонил у меня телефон. Снимаю трубку и слышу: «Говорит академик Сахаров. Мы вот собираемся с женой на один денек к вам, в Киев. Утром приехать, вечером уехать. Как вы на это смотрите?» На следующее утро они уже звонили у наших дверей.

Самое забавное в этом визите было то, что именно в этот день был куплен телевизор и принесли его целой оравой, как раз в момент, когда вошли Сахаровы. А так как приехали они, как говорится, инкогнито, то весь этот час, пока устанавливали телевизор, мы втроем, прислушиваясь, сидели у меня в комнате, боясь даже нос высунуть.

Единственный из моих друзей, познакомившийся тогда с Сахаровым, был Славик Глузман. С ним же мы и провожали наших гостей в тот же вечер на вокзал. «Кто этот такой удивительно симпатичный мальчик?» — спросили меня Сахаровы. Тогда я мог только ответить, что это действительно симпатичный молодой человек и что он мой друг. Было это, по-моему, в 1971 году. У Сахаровых можно уточнить — тот приезд их в Киев был просто-напросто их маленьким, однодневным свадебным путешествием.

С тех пор, в каждый свой приезд в Москву я всегда заходил к ним, в их крохотную квартирку на улице Чкалова и принимаем был в той самой, знаменитой кухне, которая теперь уже обошла все телеэкраны мира. Это не очень удобно, понимаю, кухня маленькая, а кроме меня еще какие-нибудь гости или родичи, но до чего ж это уютно, до чего по-московски. Кроме самого Андрея Дмитриевича, одной из составных этого уюта, неотъемлемая его часть — Руфь Григорьевна, люсины мать, малюсенькая, поразительно неунывающая, с которой, если сам Сахаров занят, и ведутся длинные вечерние разговоры за чашечкой чая с вареньем.

А как-то я попал, то ли удачно, то ли неудачно, но как раз, когда привезли из роддома появившегося на свет внука. По этому случаю пропущено было определенное количество грамм. Поскольку кроме меня гостей не было, а молодые родители куда-то ушли, и Люся вместе с ними, допивать остался я один. Не думаю, чтоб я особенно переборщил, тем не менее Андрей Дмитриевич одного меня не отпустил. Метро уже не работало, такси тоже не было, и весь путь от Курского вокзала до проспекта Калинина мы проделали пешком. Не знаю, как Андрею Дмитриевичу (он человек деликатный, непьющий и на друзей не жалующийся), но мне эта ночная прогулка (как и всякая, а эта особенно), доставила только удовольствие. О том же, что весь обратный путь мой любезный хозяин про-

делает в одиночестве, я, конечно, тогда не подумал. Все мы, пьяницы, в общем хамы.

Еще одна деталь. Может, и не очень значительная, но меня очень тронувшая. После двухсуточного обыска у меня на квартире, первым, кто позвонил, был Сахаров. КГБ-исты ушли где-то около трех утра, а в восемь уже раздался звонок: «Как дела? Все мы беспокоимся.»

Если меня спросят — какой же он, Сахаров? — я немного стану в тупик. Мягкий, скажу, деликатный, застенчивый, не болтливый, с юмором, очень приветливый. Но, по-моему, он все время находится где-то в себе. Он и слушает, и даже внимательно, и отвечает, и сам говорит, но где-то внутри идет своя жизнь, свои мысли. Думаю, что это своеобразная самооборона, некое ограждение, умение сосредоточиться даже в кругу людей. Люся как-то сказала: «Убьют его демократы. Не советская власть, а демократы. Ведь всем им надо с ним говорить. И их много, не считаешь. А он всех выслушивает, отказывать не умеет...»

Кроме того, он не умеет еще массы вещей. Например, подойти к железнодорожной кассе, вынуть свою книжечку Героя Социалистического труда (трижды!) и сказать — дайте мне билет. В Киеве, на вокзале, это пришлось делать мне (упаси Бог, он лучше умрет!), так же, как уговаривать проводника, чтоб их двоих поместили в один вагон, билеты-то дали, но в разные вагоны...

Ну, и жить по лжи тоже не умеет...

Когда я был на фронте, я мечтал об ордене. Когда получил, очень ему радовался. Через десять лет, когда тов. Гречуха вручал мне орден «Знак Почета» вместе с другими писателями ко дню 300-летия воссоединения Украины, мне было уже безразлично. За какой-то последующей медалью я уже просто не пошел в военкомат. А вот Брежневу в 70 лет не лень ежедневно, целую неделю подряд напяливать на себя все эти монгольские и ГДР-овские ленты, да еще всех своих друзей-врагов вокруг этого ломберного столика собирать.

Думаю, Сахаров ни разу в жизни свои звездочки не надевал. Я, признаться, свою единственную лауреатскую медаль все-таки несколько раз привинчивал, правда, только в тех случаях, когда надо было идти к ректору Университета или Политехнического института, просить за детей моих еврейских друзей. А вот лучший мой друг, Александр Евдокимович Корнейчук, приглашая меня совершить поездку к знатным хлеборобам, очень удивился, когда я спросил его: «Что ж, сядем мы в ваш шикарный лимузин при всех орденах и медалях и поедем к труженикам жизнь узнавать?» — «А ты что, не заслужил эти медали, чего ты их стесняешься? Раз дали, носить надо. Я, вот, ношу».

(Ну и под занавес, в скобках, раз уж я коснулся своего любимца, эпизод, рассказанный мне Стейнбеком. Александр Евдокимович

очень любил о себе так говорить: «Я, как Председатель Союза писателей, могу сказать вам следующее...», или «Я, как член Совета Мира, утверждаю, что...» или «Как член ЦК КПСС, я не могу согласиться...», или «Как депутат Верховного Совета СССР, я могу вас уверить...» ну и т. д.

И вот переводчица Стейнбека, давась от смеха, рассказывала мне в присутствии самого Стейнбека, как он, выслушав какую-то бесконечную тираду Корнейчука, обратился к нему с вопросом: «А могу ли я спросить у Вас, как у председателя Союза писателей, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета и члена Совета Мира, где у вас тут уборная?» Я ахнул: «Ну и что ж, вы так и перевели? Переводчица улыбнулась: «Ну, не совсем, приблизительно».)

Сахаров еще молод, ему пятьдесят с чем-то, не больше. Но здоровьем особенно похвастаться не может. И те, кто считает его врагом № 1, делают все, чтобы расшатать его еще больше. Но не получится. В нем, таком мягком и скромном на вид, заключена такая внутренняя сила, такая целеустремленность и вера в правильность и нужность своего пути, что бороться с ним невозможно. Его нельзя запугать, застрашать, переубедить. Его нельзя сломить. Никому и никогда это не удастся...

И тут я опять возвращаюсь к тем, у кого не хватило сил бороться.

Вася Шукшин, Гена Шпаликов, Сева Ведин... Разные люди, разные судьбы, разные возрасты (44, 38, 50...) и почти одинаковые концы...

Первые два были писателями. Слава первого из них разлетелась по всему Союзу (похороны его превратились в некую молчаливую демонстрацию преклонения перед правдой), у второго славы вообще не было, была скорее известность, и то в своем тесном кругу, третий был просто выходящим из ряда вон рядовым. Но всех трех я знал. И любил.

Все трое не вписывались в рамки. Каждый по-своему. И все трое пили. Опять-таки каждый по-своему, но все неумеренно. Каждый из них что-то заглашал.

Заглашал и Есенин. Заглашал и Фадеев. Только Маяковский не пил...

Когда мне на Западе начинают говорить что-то насчет алкоголизма, я только пожимаю плечами. Нет его на Западе, что бы мне ни говорили. Приводите цифры, статистику, рассказывайте мне сколько угодно об автомобильных авариях, связанных с употреблением алкоголя, — я только пожимаю плечами, в спор не вступаю.

Да и вообще это интеллигентное слово — алкоголизм — к России неприменимо. Там просто черное, повальное пьянство...

В России пьют, потому что так веками заведено, говорят люди, верящие в силу традиций. В России пьют с горя — говорят нена-

вистники советской власти. В России пьют, потому что только выпивши, человек чувствует, что ему всё нипочем, — говорят люди по натуре трусливые.

Кто прав? Все! А лучше всех подытожил эту неразрешимую проблему один старик, с которым меня свело знаменитое наше «на троих» в одной из московских «деревяшек» (тогда, в 50-х годах, не было еще этих отвратительных, у всех на виду, «стекляшек»). «Эх, сынок, сынок, — вздохнул он, по-отечески глядя на меня. — Душа просит, потому и пьем...»

Вот оно, душа, l'âme slave misterieuse, как говорят французы.

Но, может быть, самое страшное в этом нашем горе, это то, что народ спивают. В Советском Союзе нет статистики. Но иногда какие-то цифры чудом пробиваются. На страницах хотя бы той же «Литературной газеты». Выясняется, что по сравнению с проклятым царским временем мы пьем чуть ли не в три-четыре раза больше. А ведь и тогда не одним квасом пробавлялись. Для нашего самого прогрессивного в мире правительства торговля водкой, спиртом, — одна из основных статей дохода. А само всенародное пьянство — лучшее средство затуманить мозги. Ясный, трезвый мозг — вот чего больше всего в жизни боятся те, кто пытается из 250-миллионного народа сделать народ роботов. И вот тут-то они, руководители наши, где-то смыкаются с этим самым народом, который роботом быть отказывается, но к трезвому, непьющему человеку всегда относится с подозрением. Верно сказал Вася Шукшин: ну, как я к ним трезвый подсыду, сразу за стукача примут...

И тут я делаю протiwоестественный, на первый взгляд, неожиданный вольт на 180°.

В странах, подобной нашей, а наша в этом смысле на первом месте, без водки просто нельзя, только она дает возможность поговорить по душам. И даже не наедине (а властям это, кстати, тоже надо). Зайдите как-нибудь вечером в Дом кино — сейчас это главный московский клуб — и послушайте... А если попадетесь вам в руки книга Л. Владимирова «Россия без прикрас и умолчаний», написанная лет десять тому назад, прочтите там странички, посвященные Дому журналистов, беседу автора с неким влиятельным международником.

За своей рюмкой видный журналист этот выворачивался наизнанку, издаваясь над своими собственными писаниями в газетах.

— И вообще, какие мы с тобой гнусные твари! Не обижаешься? Правильно. Про себя я точно знаю, что тварь. Гнусная. Э, да и ты не лучше. Ты о достижениях передовой советской науки, а я о миролюбивой внешней политике. И за это нам дают здесь посидеть и покурить «Винстон». Или прокатиться в Париж, ужаснуться буржуазному разложению. Выпьем!

«Журналист этот, — заканчивает Л. Владимиров свой рассказ, — всегда говорил тихо, но я тем не менее постоянно оглядывался

вокруг. Не может ли кто-нибудь с соседнего столика поймать хоть словцо из его страшных высказываний. Именно страшных, ибо подобные вещи не говорятся в СССР даже в семейном кругу. Человек находил мрачное удовлетворение, какой-то свой выход в том, чтобы высказать точку зрения, полярно противоположную официальной. И при этом смертельно рисковал.»

Это всё к тому же — душа просит...

И, наконец, рискую быть проклятым всеми порядочными людьми — не было бы водки, не было бы и Венедикта Ерофеева, с его блистательной, страшной, умной, а где-то веселой, пропитанной насковозь юмором книгой «Москва-Петушки», по-французски переведенной (для пущей привлекательности) «Moscou-sur-Vodka» — Москва сквозь водку...

Да, сто́ит Москва водки — добавлю я, перефразируя веселого французского короля — и кладу голову на плаху. Тут Ерофеев имеет полное право гневно меня перебить: «Только ничего не понимающий в пьянстве француз может так бездарно озаглавить мою книгу. Ведь в книге-то моей водки как таковой, в общем-то, и нет. Господи, как они примитивны!» Согласен, не спорю, перевести надо было бы «Москва сквозь «слезу комсомолки»...

Но пока топор еще только занесен, разреши мне, читатель, поведать тебе еще одну историю из этого же цикла. Не то что очень уж веселую, скорее грустную, но поскольку речь в ней пойдет обо мне самом, а я тоже не безгрешен, каюсь, и дальнейшим вину свою все же искупил, послушай-ка ее и посочувствуй, если ты человек пьющий, а если трезвенник, не очень осуждай. Называется эта история:

### *КАК Я ПРОПИЛ ВАЛЕГУ*

Был у меня в армии связной, ординарец Валега. Ему было девятнадцать лет, мне тридцать три. Он простой деревенский хлопец, с Алтая, я городской, уже не хлопец, инженер, капитан. И оба мы друг друга очень полюбили. В книге «В окопах Сталинграда» я, как говорится, его увековечил. А Юра Соловьев, прекрасный ленинградский артист, сделал то же самое в фильме «Солдаты».

О том, как писался «образ» Валеги в повести, как воссоздавался в фильме, я давно уже рассказал в очерке «Три встречи». Потом, через несколько лет появился в журнале «Советский экран» еще один очерк, как встретились мы, уже в жизни, с Валегой, через двадцать пять лет после разлуки в медсанбате под Люблиным летом 44-го года. А вот о том, что произошло между этими двумя очерками, я никому до сих пор не рассказывал. Стеснялся.

Самое забавное, а может быть и трогательное, что произошло в моих отношениях с Валегой, это то, что после войны не я его

обнаружил, а он меня. <sup>11</sup> вовсе не потому что прочел «В окопах Сталинграда», а просто так, по старой памяти. «Что ж ты, батя, — говорили ему подростские дети, — всё о каком-то там капитане рассказываешь, взял бы да и разыскал его». Вот он взял и разыскал. Через киевскую милицию — всё, что он знал обо мне, это то, что я из Киева и мне столько-то лет. Я послал ему книгу, и завязалась переписка. Он мне, я ему. И вот настал, наконец, день, когда я получил от него письмо — мол, собираюсь в отпуск к вам в гости. Я в восторге, жду. Выехал. С женой и внуком. Пересекают Сибирь (а живет он в поселке Бурла, Алтайского края), приезжает в Москву. Из Москвы телеграмма — выезжаю поездом таким-то... И вот тут-то вся вина в наших идиотских железнодорожных расписаниях. Выбрал он поезд, приходящий в Киев в семь утра. Я всю ночь не спал, ворочался с боку на бок. Подумать только, завтра сожму в своих объятиях того самого Валегу, с которым ну и т. д... В шесть часов я уже был на вокзале.

Ну, вокзал, сами знаете, что такое вокзал. Жду, томлюсь, маюсь, поглядываю на часы. Время ползет. Подошел к стойке. А за стойкой, как обычно, и собеседник. Делюсь своей радостью. Ну, раз так, давай еще по одной. Короче, к приходу поезда я уже был более или менее готов.

Дальше восстанавливаю по рассказу самого Валеги, рассказанному мне уже потом, когда я приехал к нему на Алтай.

— Ну, что ж, идем мы, значит, по перрону и вижу, бежите вы нам навстречу. Я сразу вас признал, хоть и изменились малость и в гражданском, а не военном. Бежите, значит, улыбаетесь, смеетесь, рубашка расстегнута... А я чемоданы тащу. А вы, значит, брось ты свои чемоданы, пускай хозяйка постережет, а мы с тобой сейчас, сразу же, пока там дома соберут, свои первые сто грамм, фронтовые, за друзей, так сказать. Я говорю хорошо, но все же чемоданы, жена, пацан... А ну их на х..., говорите вы, подождут, не умрут! Я вот уже очередь занял. Ты стой, я сейчас принесу, не уходи... И побежали... Ну, а жена, сами понимаете, как увидела, говорит: это что ж и есть твой хваленый капитан, писатель... Ханыга это, а не писатель. Видали мы таких. Ну и повернула меня на 180° — к сестре своей двоюродной, она тут же, неподалеку, в Белой Церкви, тоже собирались к ней заехать... Так я вас и видел, а вы меня... Жены, что подлаешь, они-то уж всё знают.

Когда рассказывалась мне эта печальная история, всё было уже позади, сейчас я уже был сам гостем Валеги, приехал в Бурлу, и не один, а с Юрой Соловьевым и фотокорреспондентом «Советского экрана». Всё вспоминалось с юмором, даже той самой женой, которая все знает, но тогда, в тот день, на вокзале... Я метался по всем залам, по перронам, дал объявление по радио. Короче, с той самой проклятой рюмочки завелся я на три дня, и клял себя, и проклинал, и готов был прямо в Днепр. Головой вперед...

Вот такие бывают истории. А теперь, подвиньте корзину. Палач, я готов, руби голову.

\* \* \*

Нет, не топор, лезвие гильотины опустилось на мою шею (я все же во Франции), и голова полетела в корзину. А душа на небо.

Многие думали, что я попаду в ад, но я очутился в раю. Писать о нем не буду, хотя и соблазнительно, посоперничал бы с Данте Алигьери (пытаюсь же с Герценом) и в роли Вергилия не отказался бы выступить Твардовский (я его там видел под каким-то райским кушем со стаканчиком безалкогольного нектара в руках, но он с кем-то беседовал, не хотелось мешать), расскажу-ка лучше о другом.

Без толку бродя по скучным, подстриженным, почти как здесь, в Фонтенбло, аллеям, наткнулся я на местный ОВИР. Слово за слово, и попросился я на землю. В командировку, так сказать, дней на десяток, с обязательством вернуться. Разрешили. А так как день в раю приравнивается чуть ли не к десяти годам, попал я на свою родную планету где-то уже к концу столетия. И попал в очень интересный период.

Совсем недавно умерли наследники Андропова, ставшего после смерти Брежнева Генеральным секретарем, и к власти, наконец-то, пришли технократы. И в этот-то период, когда они только поделили между собой посты и стали выпускать свои первые директивы, я-то и спустился на землю.

Спустился где-то под утро, прямо на Красную площадь. И что ж я вижу. Мавзолея нет. Вместо него детская площадка, качели, всякие там горки. И дворник поливает дорожки.

Подхожу я к нему.

— А где, говорю, Владим Ильич покоится сейчас?

— А в Пекине, — говорит, — поменяли его на какую-то «пятерку разбойников». Вместе с мавзолеем. Разобрали его в одну ночь и туда, в Китай.

— Хорошо, — говорю, — значит, отношения с Китаем приличные?

— Да как вам сказать. Ругаются по-прежнему, но воевать не воюем.

Сразу стало легко на душе.

— Спасибо, — говорю, — дедушка, успокоил... А где тут, про-сти за нескромный вопрос, выпить можно?

Он с удивлением на меня посмотрел.

— Ты что, сынок, с луны свалился?

— Почти что, — отвечаю, — из дальних краев я.

— То-то и видно... В России теперь не пьют. Все спортом занимаются. Даже вытрезвители все позакрывали. Клиентов нет.



Один только на всю Москву и остался, около Казанского вокзала, так, на всякий случай...

— Значит, случаи все-таки бывают?

— А почему нет, бывают, конечно... А ты что, очень выпить хочешь?

— Да. Не прочь.

— Нет, брат, — говорит, — не получится. Забудь. Погуляй лучше по Москве, достопримечательности посмотри.

И пошел я гулять по утренней Москве.

Вышел на Театральную площадь. Всё как будто на месте. И Большой театр, и Малый. И Островский по-прежнему в своем кресле сидит. А вот Маркса нет. На его месте что-то из светящихся лучей крутится. Подошел поближе. Откуда лучи идут, непонятно, но очень красиво переплетаются. И вдруг вижу, в какой-то момент, в переплетении этих разноцветных лучей появляется лицо — кого бы вы думали — Сахарова. Улыбается и говорит, совсем своим голосом, что-то про то, что все достижения науки должны идти на благо человека, а человек должен этими благами разумно пользоваться, ну и еще что-то в этом роде... Погас Сахаров, медленно растаял в своей улыбке, вроде как кот из «Алисы в стране чудес», лучи опять стали крутиться и вскоре на месте Сахарова появился Солженицын. С бородой, как у Черномора, до самой земли, я сразу и не узнал. А голова, как бильярдный шар, совсем лысая. Голос его высокий я сразу узнал, но что он говорил, не понял, говорил он по-английски, русский, очевидно, забыл...

Постоял я около этих лучей минут десять, всё ждал, не появилось ли я, но так и не дождался. Появлялись какие-то незнакомые мне физиономии, и среди них один раз только Буковский промелькнул.

Так и не дождавшись себя, пошел я мимо Александровского сада в сторону Москвы-реки. Прохожу мимо манежа и вижу: громадная, через весь фронтон вывеска-плакат «Всероссийская выставка социалистических художников-нереалистов». Кассы еще закрыты, посмотреть не удалось, но около входа висит объявление: «Филиал выставки — Кузнецкий мост — в 10 ч. вернисаж художников конформистов-сюрреалистов». Ну и ну, думаю, развивается искусство. Подождем до десяти часов, посмотрим.

Вышел я к Москва-реке, она всё такая же, течет между гранитных берегов, а по бокам всё высокие, стеклянные небоскребы, совсем, как на пляс-Дефанс в Париже. Постоял я на мосту, поплевал в воду и стал искать, где же метро. Метро не нашел, но обнаружил на набережной газетный киоск, открылся уже. Подошел. Опять-таки, почти как в Париже. Тут тебе и «Монд», и «Экспресс», и «Нью-Йорк таймс»... Попросил по привычке «Фигаро» и «Правду». «Фигаро» подает, а «Правды», говорит, нету.

— То есть как нету?

- А вот так, нету.
- Почему ж это нету?
- Как почему? Не выходит «Правда», и всё.
- А что ж выходит?
- Вот, пожалуйста, выбирайте. «Социалистический вестник», «Голос солидариста», «Русский инвалид», «Благонамеренный», «Свобода», «Социаль-демократ», «Русь», «Свободный конституционалист», «Вольный крестьянин», «Маяк демократии», «Степь донецкая», «Черное знамя», «Бакуинец», «Болтун», «Русский космополит», «Сионист-ассимилянт», «Литературная газета».
- О! Дайте мне «Литературку».
- Берите. Как раз свеженькая. С продолжением мемуаров Дымшица.
- Какого еще Дымшица? Критика или...
- Да был такой лет двадцать тому назад. Единственный еврей на всё правительство. Драпанул потом в Израиль. А вот сейчас его записки вышли. Очень любопытно...
- Взял я «Литературку».
- Что ж, — говорю, — «Правда» совсем не выходит?
- Совсем.
- А как же орган компартии называется?
- Компартии? Вот это да... Нет ее больше. Разбежались все. Я почувствовал, что у меня шевелятся волосы.
- Как это так, разбежались?
- Вы что, с того света?
- Из рая я. Вот откуда я, — и даже малость рассердился.
- То-то и видно... Взяли газету и идите. Не мешайте тут людям.
- Люди, действительно, стали подходить и брать, кто «Русь», кто «Свободу», кто этот самый «Маяк». Какой-то явно еврейской внешности человек подошел и купил «Сиониста-ассимилянта».
- Я не выдержал и подошел к нему.
- Простите, не можете ли вы мне объяснить, что это такое сионист-ассимилянт? За что ваша газета воюет?
- Воюет? Почему воюет? Никто ни с кем не воюет, — удивился человек с явно еврейской внешностью.
- А евреи с арабами?
- Виноват, вы что, из психбольницы?
- А они еще есть, психушки? Для кого же?
- Для таких, как вы...
- Я пошел на мировую.
- Ну, зачем же раздражаться. К вам подходят и вежливо спрашивают...
- Что же вас интересует? — смилостивился человек с внешностью.
- Вот это непонятное мне сочетание сиониста и ассимилянта.

— Что ж тут непонятного. Это орган евреев, мирных, добропорядочных евреев, которые понимают, что сионизм вещь серьезная и как добропорядочному еврею надо его уважать, за это отцы и деды боролись, но там, на земле отцов, они поняли, что будет сложно, надо в синагогу ходить, по субботам свечи зажигать, входить в какую-то из партий, а они в них не разбираются, а здесь, теперь, пятая графа уничтожена, в университеты детей принимают, чего ж не ассимилироваться. У меня вот зять полгода как уже в Копенгагене в посольстве работает...

— Спасибо, — сказал я, — теперь понятно. А если не трудно, еще один вопрос. «Русский космополит» — что вот это значит?

— Тот же еврей. Из потомков тех, кто были при Сталине. В честь их газета так и называется. Они отличаются от нас только тем, что добиваются, чтоб еврейский театр опять открыли, Госет, а по-нашему и в Таганку ходить уже неинтересно.

Сделав вид, что всё понял, я поблагодарил, спросил, где станция метро, и потихоньку пошел.

По ошибке из метро вышел не в Охотном ряду, а на следующей станции. К моему удивлению, она оказалась не «Дзержинской», а «Никольскими воротами».

Поднялся я наверх и вышел прямо к первопечатнику Федорову. Место знаменитое. Когда-то здесь недозволенной литературой торговали. Интересно, где теперь продают. Какие «Гулаги» в моде.

Не успел я сесть на скамейку, развернуть «Литературку» и начать читать статью «Константин Федин и Николай Тихонов. Еще раз к вопросу о гибели русской интеллигенции», как рядом со мной на скамеечку присел молодой человек в черной на молниях курточке, в которой на Западе ходят плэй-бои и педерасты.

Закурив нечто марихуанное, не глядя на меня, спросил:

— Интересуетесь?

— Чем?

— По глазам, что ли, не видно? Имею.

— Самиздат? — робко спросил я.

— Так точно.

— Ну что ж...

— Тогда за мной.

Мы поднялись по лестнице под аркой. Не дойдя Никольской, свернули в подворотню.

— Держи, — он вынул из-за пазухи пол-литра. Родную нашу, с бело-зеленой этикеткой поллитровку.

— Два восемьдесят семь плюс рупь.

— Как, по-старому? — удивился я.

Он тоже удивился.

— Можно подумать, что ты из Новой Каледонии.

Я отсчитал положенную сумму из выданных мне командировочных и малость замялся.

— Видите ли, я не москвич...

— Был бы москвичом, к дяде Феде не приходил бы... Интересносья «Дё маго»? Могу помочь.

Мы вышли на Никольскую, свернули направо, потом налево, еще раз направо, юркнули в какое-то парадное, прошли через заднюю дверь, длинный какой-то коридор и совершенно неожиданно оказались в просторном, очень уютном дворике. В дворике стояли вкопанные в землю столы, а за столами сидели тихие, улыбающиеся люди, а милая, уютная бабушка разносила им по кусочку хлеба и половинке луковицы.

Господи ты Боже мой... Как в старое доброе время у Киевского вокзала. Коммунизм не коммунизм, но просто как при Александр свет Трифоновиче в юные наши годы.

Подошла к нам бабушка, дала один стакан на двоих, «больше, детки, нету, рада бы, да побили все», и по ломтику хлеба с солью и луком.

— Так что, с приездом, дядя? — парень налил полстакана. — Ну, как у вас там на Соломоновых островах?

— Скучно, — сказал я, — амврозией закусываем. Будь здоров! Он тоже выпил. Вынул пачку.

— Закуривай. Хуан-Мари.

— Спасибо. Я «Голуаз».

Выпили еще по маленькой.

— Так что, — говорю, — сухой закон у вас?

— Да вроде. Дирижаны наши решили больше народ не спавать.

— А как же концы с концами сводят?

— Частная торговля. Колхозы распустили, вот и сводят.

— Капитализм, значит, или НЭП?

— Называется это теперь децентрализованный демократизм.

— А кто же руководит этим демократизмом?

— А никто. У вас там, на островах Туамоту, газет, что ль, не читают?

— Да далеко они, — ответил я неопределенно.

— У нас теперь электронные машины всем заведуют.

— Ну и как?

— Как положено. Жалуемся. Русский человек своими хозяевами всегда недоволен.

— И ты недоволен?

— Мне-то что. На мне еще пятна социализма. Таким, как ты, божьим одуванчиком помогаю. Иллюзию незабываемого прошлого создаю... А жена, конечно, ноет.

— Чего ж ей не хватает?

— А ты сказку про рыбака и рыбку знаешь, товарища Пушкина?

— Столбовой дворянкой хочет она стать или царицей?

— Да это полбебды бы... Поедом меня ест, что я дешевый участок на той стороне луны прозевал.

— Нужна ей та сторона. Там же холодно.

— Вот и я говорю. А она уперлась. Новожиловы и Петрики получили, чем же мы хуже. Да и вообще... Принести еще, что ли? За мой уже счет.

Он вскочил и исчез.

Я огляделся вокруг. Рядом оказался немолодой уже человек, разрезавший ножом кусочек творога, очевидно из дома принес.

— Угощайтесь, — приветливо сказал он. — Молодой человек за подкреплением, что ли, пошел? — Он посмотрел на часы. — Через четверть часа участковый уже придет. Вы не из Киева?

— Был когда-то киевлянином. Вы как догадались?

— Южные у вас интонации. По акценту.

— Неужели до сих пор? А я уже давно оттуда. Собираюсь вот съездить.

— Виза уже есть?

— Какая виза?

— Как какая? В Украинскую Народную Республику.

Лихой парень в курточке уже открывал вторую бутылку.

— Круг друзей расширяется?

Мой сосед замотал головой.

— Я — точка. Свое выпил. Хватит. Закусывайте творожком.

Мы выпили, закусили творожком. Парня, как оказалось, зовут Валерой, и, кроме водки, он промышляет еще билетами на порнофильмы.

— С этим у нас еще плохо. Своей кинопромышленности еще нету, не знаем, с какой стороны подойти, а на западные всех сразу не пропустишь. Ввели ограничения. Вроде карточной системы.

— Кто ж ввел? Электронные машины?

— Да всё они, проклятые. Что-то там подсчитали и получилось по 2,37 койко-места на рыло.

— Как же это понять?

— А вот понимай, как хочешь. Есть еще вопросы?

— Есть. Как у вас, например, с выборами. За кого голосуете?

— А за кого хочешь. Только никто не хочет. На прошлых выборах — когда они были, кореш, в прошлом сентябре, что ли? — списков было сто с чем-то, куда ни кинь, везде избирательные участки, выбирай за того, выбирай за этого, а к концу дня, смотришь, никто не пришел.

— Кто ж победил?

— Тетя Маша победила. Знаешь, сколько бутылок собрала?.. Ну, давай по последней. Товарищ Безмолвных на горизонте.

В конце двора действительно появился некто в милицейской форме.

— Прости, пока он не подошел еще. А с армией как у вас?

— С армией как положено. Наводчик зорок, разведчик смел.  
— Ясно. Ну и последнее. Как это у вас вместе взятое называется?

— Россия...

Экссессов не было никаких. Разошлись тихо, степенно, растыкав по карманам окурки.

Я распрощался со своими приятелями.

— Спасибо за компанию, — сказал хозяин творога.

— Будь, — сказал парень в курточке, — привет президенту Филиппин.

Мы разошлись в разные стороны. Я пошел по Никольской в сторону Кузнецкого моста, авось открылась выставка сюрреалистов-конформистов. Вышел на Лубянку, или как она в мое время называлась, на площадь Дзержинского. Посмотрел налево, всё честь-честью, «Детский мир», направо — Политехнический музей. Посмотрел прямо. А где же Железный Феликс? Нет его. Вместо него скверик, а в скверике столб, кол. А на колу мочало...

Начинай сказку сначала.

— Виктор Платонович, а, Виктор Платонович?

— М-м-м...

— Проснитесь...

— А я что? Заснул?

— Да вроде бы... Мы решили вас уже не тревожить. Немножко прогулялись, сходили к Сене.

Я тряхнул головой. Слегка гудит. Всё то же «Де маго», все те же китайские болванчики у стенки, на улице солнечно,людно.

— Приснилось что-нибудь хорошее?

— А Бог его знает, хорошее ли. Выпил, по-моему, лишнего.

— А ну, дыхните.

Дыхнул.

— Что-то родное...

— Родное... Для того, чтоб в свой Егупец поехать, нужна виза.

— Ничего не понятно.

— Думаете, мне понятно? Даже на всех пресс-конференциях я всегда начинаю с того, что прошу не спрашивать меня о будущем России, это, мол, специальность Роя Медведева и других, поумнее меня. А тут, вдруг, бац, футурологические сны, да еще такие розово-идиллические...

И понял я в то утро, после того сна или видения, Бог его знает, как это назвать, что ничего в будущем понять невозможно, а мне-то уж, во всяком случае, устройством грядущей государственной системы заниматься не стоит.

И пошел я, с горя, в то утро в Бобур — самое замечательное, самое знаменитое, самое интересное сейчас в Париже место.

В самом центре Парижа, в двух шагах от башни Сен-Жак и Отель-де-Виль, на бывшем пустыре (паркинге), сейчас нечто очень странное, кубическое, вернее, параллелепипедное, состоящее из труб (ярчайших цветов), стекла и каких-то растяжек. Называется это — Культурный центр Жоржа Помпиду. Сколько в нем этажей, я не совсем понял, то ли пять, то ли четыре. Во всяком случае, на втором и третьем музей современного искусства, на четвертом какая-нибудь выставка, сейчас Марселя Дюшана (Duchamp). На других этажах что-то техническое, что-то для детей (говорят, очень интересное и веселое) и громадная библиотека, в которой, и говорят и пишут, есть ВСЁ. Подходи к полкам, бери, что хочешь. Выносить нельзя — книги назлектризованы или намагнетизированы, выносишь — начинают гудеть!

В эти, другие отделы, я не заходил, знакомился только с искусством. И посмотрел еще «Археологию города», вещь очень и странную, и непонятную. В центре колоссального холла-вестибюля на весь этаж открытый подвал (sous-sol), в нем узенькие коридорчики, в которые ведут железные лесенки. В коридорах разные вещи. В одном, например, масса разнообразнейшей обуви. За стеклом. В другом хирургические инструменты. В третьем оружие, разные винтовки и ружья. В четвертом ты ходишь по прозрачным ящикам, в которых, как камешки на пляже, пилюли, лекарства. А в одном из коридоров в стеклянном кубике на веревочках маленькая счетная машинка франков на 150. Говорят, это то, что останется от двадцатого века. Может быть... Не интересно. Все ходят и пожимают плечами. Я тоже.

А на втором и третьем этаже — искусство. Живопись и скульптура.

— Ну, были вы уже в Центре Помпиду?

— Был.

— Ну, и как?

— Интересно.

— Неужели нравится?

— Я не сказал, что нравится...

Интересно. Очень даже.

Главное, просторно и много воздуха. И вокруг Париж. Со всех сторон Париж. Крыши, крыши, крыши, Эйфелева башня, Сакр-Кёр, Монпарнасская башня, одним словом, весь Париж.

Ну, а искусство?

Начнем с того, что у каждого свой вкус. Свой вкус и свой образчик, кто любит попадью, кто свиной хрящик... Я человек в летах и консервативный. Когда-то любил всё левое, боготворил Корбюзье, сейчас больше люблю Левитана, «Мир искусства» и помещицы виллы-ампир, с колоннами, круглой клумбой, тополевой аллеей и видом на вьющуюся внизу речку и дальние, голубые леса. И вечерний звон...

Тут, в Бобур, в Центре Помпиду, ничего этого нет. Но есть другое, тоже заслуживающее внимания. А иногда и не заслуживающее, но забавное, или непонятное, или совсем уже непонятное, но ходишь, смотришь.

За последние два года я повидал достаточное уже количество выставок. Видал и немецких романтиков, и символизм нашего века, и множество «arts contemporains» — современного искусства. И, рискуя быть обвиненным во всех мыслимых грехах (отсталость, узость, непосевание за веком, то самое впадение в детство, просто некультурность), со всей ответственностью признаюсь — что-то не очень мне это новое нравится. Искусство, конечно, развивается и шагает, может быть даже семимильными шагами, но куда — не знаю. И зачем, тоже не знаю.

На этих двух огромных, окруженных Парижем этажах, много прекрасного. И того, что у нас дома не увидишь. И ранний Пикассо, и Матисс, и Кандинский, Малевич, Ларионов, Гончарова, даже Петров-Водкин и кустодиевская купчиха (ей-Богу, лучшее из всего!), и ходишь по этому просторному пространству и ни на кого не натываешься (и не потому, что мало публики, ее много, но и пространства много), и садишься в кресла, смотришь, задумываешься...

Удивляешься все-таки, до чего ж изобретательна человеческая башка. Казалось бы, дальше уже некуда, а вот, оказывается, есть. На одной выставке (не на этой, на другой) я видел, например, некое устройство, где на какую-то раскаленную сковородку капала вода и, конечно же, шипела. А рядом — трубы: проведешь пальцем — гудят. А в другой скульптуре, нажмешь кнопку и откуда-то доносится голос... Ганди. При посредстве лазера, как выяснил я из висевшего рядом объявления. И, наконец, идет человек и толкает перед собой столик на колесиках и продает пирожные, розовые какие-то. Ты покупаешь, и, оказывается, это тоже экспонат выставки. Ну и так далее, корреспонденту «Советской культуры» есть где порезвиться... Но вот перед одним произведением швейцарского скульптора Tinguely я даже сел в кресло и долго его рассматривал.

На большой террасе, за стеклом (подойти нельзя), на фоне парижских крыш и труб, стояла машина. Немыслимое количество разных размеров колес, зубчаток, рычагов и поршней. И все это движется. На месте. И скрежещет. И к тому же ржавое. Крутится, суетится, взад-вперед, и какая-то еще цепь болтается... Сидел и смотрел на это сооружение, и думал — что ж это напоминает? И сострил потом. Вот так мы, русские, в Париже. Всё куда-то спешим, стремимся, ссоримся, и всё на месте! Сострил и испугался. Нет! Не надо. Зло и несправедливо. Отказываюсь от своих слов... И все же сидел и смотрел, до чего ж все-таки швейцарец додумался.

И захотелось мне вдруг Репина. Да, да, Репина! Нет, не «Запорожцев» (Сталин, кстати, очень любил, и острил, и картинку из «Огонька» у себя повесил), не Ивана Грозного, убивающего своего



сына, не «Крестный ход» («Вернулся» же я люблю до сих пор), а репинские рисунки, наброски Льва Толстого. Мне они бесконечно дороги. Да, думаю, и всем. Толстой на пашне, за столом (тем самым!), просто так в толстовке («А кто этот старый хрен в толстовке?») — карикатура из старого «Крокодила» или «Смехача»...

Последняя четверть двадцатого века. «Страна готовится к 60-летию Великого Октября». Чего только не было за эти шестьдесят лет... Литература все-таки что-то дала, не прошло мимо, не буду перечислять. А живопись? Я уважаю и Ларионова, и Гончарову, и многих из ныне здравствующих художников, но мне очень нужен портрет Пастернака последних его лет (в Оксфордской галерее есть он молоденький, в голубой косоворотке, работы его отца), Анны Ахматовой, Мандельштама, Сахарова, наконец...

Война дала все-таки прекрасных художников (больше, правда, в графике, в иллюстрации) — Ореста Верейского, Богаткина, Климашина, метчайшего из метких, снайпера Соифертиса. А коллективизация, ГУЛаги? Может, один только Свешников в какой-то степени.

Ходишь здесь по всем этим contemporain'ным выставкам, больше посмеиваешься. Ходишь по московскому Манежу — голова пухнет. А ведь есть все же и неплохие портреты и милые пейзажи. А жизнь? А жизнь? Можно двадцать раз критиковать передвижников и считать, что Миро лучше Федотова, но в живописи, кроме цветовых пятен, самовыражения и эмоциональных воздействий должно быть то, чем мы живем, чем мучаемся, о чем думаем, о чем без конца говорим на своих кухнях. Я ищу этого художника. Где он?

Мне дорог художник, который любит жизнь. Я долго ходил по громадному парку Густава Вигеланда, в Осло. Сотни скульптур. Дело всей его жизни. Может быть, их даже слишком много. Может, они даже напоминают (количеством, композицией, но не безвкусицей) вучетичевский Мамаев курган, но, пожалуй, нет в этом парке ни одной скульптуры, перед которой бы не хотелось постоять, посмотреть, подумать. Человеческая жизнь. Детство, отрочество, юность. Любовь, дружба, ссоры, обиды, радость, счастье, горе, старость... Смерть.

Пусть не обязательно эпопея, не сага, не философия. Пусть собственная жизнь, свой мирок. Грейнд-Ма Мозес... Всю жизнь (до ста лет!) рисовала свою ферму, свой дом, двор, домашние праздники, ловлю индюшек для рождественского стола... Или открытый мною только сейчас в Стокгольме Карл Ларсен.

Идея? Да никакой. Опять-таки свой дом, крылечки, комнаты, кухня, дворик, куры топчутся, столяр, какой-то Олаф, строгает доски. Уют, благополучие, цветочки на столе, сына в угол поставили, крохотная, маленькая, замкнутая, но жизнь... И неправдоподобная какая-то достоверность. И как нужно это нам, отученным от правды.

Я нарочно взял крайность — Гренд-Ма Мозес, Ларсена. Но как может искусство, художник пройти мимо жизни страны, тоже где-то с цветочками и лужайками, но омытой слезами и кровью последних лет. Я люблю Ореста Верейского, считаю его в чем-то не уступающим (конгениальным?) Твардовскому (как — далекий пример — Дорэ Сервантесу или Джон Тенниел Кэроллу, автору «Алисы»), и все же прекрасный фронтовой быт Верейского, улыбка Теркина не могут заменить убитых, сотнями замерзших и занесенных снегом на крохотном пространстве между нашими окопами и водонапорными баками на Мамаевом кургане; не могут заменить вереницы наших пленных сорок первого года, оборванных, худых, еле волочащих ноги; евреев, стариков и старух, в Бабьем Яру; пожары Восточной Пруссии...

Мы заговорили о войне. Пожалуй, стоит еще раз о ней вспомнить.

Я как будто знаю ее хорошо. Провоевал с августа сорок первого до июля сорок четвертого. Знаю и окопы, и блиндажи, и госпитальные койки, промесил ногами песок и грязь бесконечных дорог отступления от Харькова до Сталинграда. Но я не знаю двух вещей, из которых тоже состояла война, — плена и покорения побежденной страны. Ни того, ни другого в нашей, советской литературе в общем-то не было (лучшее о плене — рассказ Леонида Волынского «Сквозь ночь»). И на то и на другое наложено было наше обычное «табу». Пленные — изменники и предатели, а не жертвы предательства Сталина, а о мародерстве и насилии армии-освободительницы само собой писать как-то не к лицу.

Скажу о себе. Я был офицером Красной Армии и до сих пор питаю к ней любовь и уважение. Более того, она для меня родная. Нет ничего ближе для меня, чем мой друг-фронтовик, чем Ванька-взводный, чем красноармеец, боец, «колышек», как называли мы его на своем идиотском телефонном коде. Солдат! (Первое время после введения этого старорежимного термина мы относились к нему иронически, как к погонам — «Эй, солдат, иди сюда!» — это несерьезно, шутливо). Солдат! Как много в этом слове. И смелость, и добродушие, и хитрость, и любовь к жизни, и презрение к смерти, и желание обмануть её, а заодно и тебя, свое начальство, и само отношение к начальству, человеку городскому, пусть образованному, но не умеющему отличить рожь от пшеницы (я, во всяком случае), и отношение к врагу, немцу, «фрицу» — непонятному и злому, когда он в своих окопах или в кабине «Мессера», и жалкому, вызывающему сострадание, пленному, в обнимку со своим, набитым черт знает чем сидором, сидящим у костра на берегу Волги...

Родной ты мой «березовый колышек» (в отличие от «горелого», не в обиду ему будь сказано, не понимающего по-русски узбека или казаха). Я навеки полюбил тебя, деревенского парнишку в не-

лепо торчащей на голове пилотке или серой ушанке в майскую жару (во время харьковского наступления 42-го года мы все были в ушанках, а до того в лютую зиму, в запасном батальоне, под Сталинградом, обмундирование было х/б — хлопчато-бумажное — и ни признака белья), в ботинках на два номера больше и вечно разматывающихся обмотках, ленивого, всегда голодного и «не перекурить ли нам этого дела, товарищ капитан?», а в общем-то вытянувшего всю войну и водрузившего знамя (я знал потом их обоих — и Егорова, и Кантарию — хитрые мужички) на самом Рейхстаге. Ну, как тебя не полюбить, защитничка нашего, победителя?

И вот, когда до меня, до моего киевского окружного госпиталя, донеслось, что ты, мой «колышек», где-то там, в Восточной Пруссии, ведешь себя не так, как мне хотелось бы, насилуешь «фрав», вспарываешь перины и тащишь все, что ни попадет тебе под руку, — мне стало как-то не по себе.

Я не видел всего этого, я только слышал. И не верил своим ушам. Потом понял, что это было. И стал искать оправдание. Мол, победители, дорвались до вражеского стана, всплыло все поруганное немцами у тебя дома. И все-таки не верилось. Хотя... Я помню случай в Сталинграде. После конца нашей Сталинградской войны я бродил по местам бывших боев. И наткнулся на какой-то разрушенный дом. В нем вповалку лежало человек двадцать раненных немцев. Жалкие, слабые, в окровавленных повязках. Я дал им закурить, что-то там сказал утешительное и пошел. На обратном пути я опять зашел к ним. Все они были мертвы. Убиты. Кто-то из наших пришел, увидел и «ах, гады!» автоматной очередью вдоль и поперек... Это единственный акт жестокости, который я видел за всю войну. Бессмысленный, тупой, бесчеловечный...

Ну, а там, в Восточной Пруссии?

Да, было... Но стоит ли об этом писать?

И вот, пожалуйста, я перешел в стан своих врагов. Об этом можно, об этом нельзя! Соцреализм во всей своей красе.

И с понятной тревогой, уже здесь, через тридцать лет после войны, взял я в руки «кирпич» Лёвы Копелева «Хранить вечно» (До этого я без всякого восторга, с трудом прочел солженицынские «Прусские ночи»). Я не одолел всего «кирпича» (хотя он этого заслуживает), и прочел только военные страницы. И должен признаться, читал взхлеб. Я не думал уже о том, можно или нельзя, передо мной проходила жизнь, та самая жизнь, от которой никуда не денешься. Страшная, как сама война. Думаю, нет в мировой литературе книги, которая так ярко и безжалостно нарисовала бы нам образ советского политработника, во весь его рост, тупого, лицемерного, жестокого и жадного. На фоне этого трусливого, надутого, как индюк, солдафона-алкоголика бледнеют все жестокости дорвавшегося до бабы, сующего в свой вещмешок часы и

тряпки костромского или рязанского пацана, впервые увидевшего Европу.

Миля Забаштанский, полковник, копелевский начальник — хитрый, неглупый и сволочной — это уже литературный образ. А рассказ его, как он женился (... «Ну, в личных делах есть фотокарточки, так что не вслепую выбирал. Скоро надыбал одну — работает в промкооперации, техсекретарь, машинистка, член бюро ячейки, анкета подходящая, родители из бедняков, вся семья без пятнышка, характеристика хорошая, на личность приятная...»), прямо хоть по радио читай, в любую хрестоматию не стыдно вставить.

И тем обиднее мне было читать в «собственном» «Континенте» (№8) статью М. В. «О времени и о себе», так поверхностно, недоброжелательно и оскорбительно пишушем о человеке такой нелегкой судьбы, о страшной эпохе предвоенных лет, о которой М. В. слышал-то краем уха.

Книга Л. Копелева именно и ценна тем, что написана она бывшим идейным комсомольцем, ставшим на войне идейным политработником, — были и такие.

Сила книги в ее невероятной искренности, в умении и бесстрашии (а как это трудно!) рассказать о себе то, в чем не всегда и себе признаешься. Исповедь, может быть, самое прекрасное, что только может дать литература.

И я удивляюсь, как не выпало перо из руки автора статьи о Копелеве, когда он писал: «Методы разложения противника — главная специальность героя — всё те же: демагогия и ложь, хотя б он в них и верил... Автор вынужден пересказывать нам многочисленные споры, разговоры, где герой выступает человеком, чуть более разумным, чуть более порядочным и чуть более жалостливым к тем, кто и так уже разгромлен. Но это «чуть» такое малое, а разговоры и мелкие стычки столь отвратительно советские, коммунистические — с обеих сторон — что читатель словно купается в грязи.»

Да, скажу я — все мы были тогда советские. И не стеснялись этого слова, этого понятия, а гордились им. Не будем лгать. Гордились им! Для нас ТОГДА (трижды подчеркиваю это слово) «советское» было синонимом борьбы за справедливость, синонимом всего героического и несокрушимого, иными словами ПРАВДЫ, и на пилотках у нас была красная звездочка, та самая, что и на крыльях наших ИЛов, насквозь прошитых вражескими пулями штурмовиков, так смело проносящихся над нашими головами навстречу почти верной смерти — из десяти в лучшем случае только пять возвращались потом домой, дымящиеся, дырявые... И тем горше, что это слово стало сейчас синонимом лжи, обмана и насилия, — во время войны мы об этом забыли, закрывали на это гла-

за, вспоминали в прошлом не 37-й год, а молодость нашу, которую хотели у нас отнять те, с ненавистной нам свастикой.

Но писать сейчас, через тридцать лет, о Копелеве, как о лжеце и демагоге, оперируя к тому же словом «чуть» (а за что, позволительно спросить, он сел, этот демагог?), писать о каком-то «купании в грязи» — просто неприлично.

Я знаю фронт, но я не знаю тюрьмы и лагеря. И никогда я не позволю себе, например, судить и тем более осудить человека, который, сидя еще за решеткой, вынужден говорить или писать не то, что мне хотелось бы. Я не имею на это права.

Впрочем, в какой-то степени имею. Повторяя слова Буковского, скажу — все мы были за решеткой. А я еще и за двойной. Партия — тоже тюрьма. Очень своеобразная, но тюрьма.

Я только что закончил книгу Говарда Фаста «Голый бог». Она всколыхнула во мне многое. И хотя я касался уже этого в первой части моей книги, я вынужден опять вернуться к тому, что было самым сложным в моей (моей ли только?) жизни, — к партии, к коммунизму.

Нынешнее русское поколение не помнит уже Говарда Фаста. А может и просто не знает. В Советском Союзе сделано все, чтоб этот популярный американский писатель, в свое время у нас издававшийся миллионными тиражами, лауреат международной Сталинской премии Мира, навеки был забыт, вычеркнут из литературы.

Почему?

Приведу просто два абзаца из предисловия к русскому (мюнхенскому!) изданию «Голого бога»:

«В советском «Энциклопедическом словаре» в 1955 году об авторе этой книги — американском писателе Говарде Фасте — написано:

«Родился в 1914 г., видный общественный деятель, коммунист. Автор исторической трилогии, посвященной войне за независимость Америки (1775—1783) — «Гражданин Том Пейн» (1943) и другие. На материале истории США 19-го века написан его роман «Последняя граница» (1941), описывающий зверское истребление индейцев американскими властями. В романе «Дорога свободы» (1944) показана мужественная борьба негритянского народа... Романы «Кларктон» (1947), «Подвиг Сакко и Ванцетти» (1953) и пьеса «30 серебряников» (1951) рисуют классовую борьбу в современной Америке. В романе «Сайлес Тиберман» (1954) показана судьба честного американца, профессора, ставшего борцом против пропаганды войны, организуемой правительственными кругами США. Фаст — смелый борец за мир и демократию, автор боевых статей и очерков по важнейшим вопросам политики и литературы. В 1953 г. Фасту присуждена международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами»...

А 30 января 1958 года о том же Говарде Фасте московская «Литературная газета» пишет:

«Говард Фаст, картинно, в расчете на шумную рекламу... пишет письма, статьи, целые книги, доказывая, что он был слеп, но прозрел... «На! — сует он самодельный микроскоп в руки истории, — гляди, как раздеваюсь я догола и ковыряю душевные нарывы свои!»... Он прямо заявляет, что не терпит демократию социалистическую и обожает капиталистическую, он отказывается от революционной борьбы, предпочитая ей, да и то робковато, гомеопатические дозы реформизма, он не доверяет социалистической законности... а сверх всего уснащает платонические разговоры о «братстве» прокисшим соусом националшовинизма... Он в бешеном экстазе оплевывает бога, которому только что поклонялся... И некому сказать ему при этом: послушайте, Говард Фаст, выпейте бутылку кока-кола... погуляйте по Бродвею... и, приведя нервы хотя бы в относительный порядок, поймите: в области художественного творчества вы человек не без таланта, но до титанов общественной мысли вам далековато... Меняйте себе партийный билет на чековую книжку Манхэттен банка и живите, как можете, не впадая в дешевку самопреувеличения... Но до Говарда Фаста доводы разума дойти не могут... Он никогда сильным логическим мышлением не обладал»...

Что же произошло? Почему советская печать сменила свое отношение к писателю? Произошло то, что, пробыв 13 лет в рядах коммунистической партии США, Говард Фаст в 1957 году окончательно порвал с интернациональным коммунизмом и вышел из партии...»

Мы после войны зачитывались Фастом. «Последняя граница», «Дорога свободы»... Его издавали, переиздавали, инсценировали. Потом он попал в тюрьму. Свою, американскую. В годы расследования «антиамериканской деятельности». «Где Говард Фаст?» — гневно восклицал тогда Эренбург, пригвозждая к позорному столбу американскую общественность. А потом XX съезд. И Фаст исчез. У нас, конечно. Только через два года появилась та самая статья в «Литературке», которая приведена выше. Потом опять ни слова. Пропал. И навсегда...

Через двадцать лет после ее написания я прочитал книгу Фаста. Пожалуй, никогда не читал я подобного. Да, он оплевывает бога, которому только что поклонялся, но не в «бешеном экстазе». Никакого экстаза нет, есть горечь и сознание совершенной чудовищной ошибки. Ему невероятно тяжело. Тринадцать лет он был коммунистом, причем более чем идейным. Искренним, прямым, мучительно переносившим всю тупость и ограниченность своей партии и ее вождей. И вот, после «секретного доклада» Хрущева, всё окончательно рухнуло. Он вышел из партии. Это было скандалом, сенсацией. Но мы об этом ничего не знали.

И вот сейчас я узнал. Через двадцать лет!

Что делает, что пишет сейчас Фаст, я не знаю. Возможно, до сдачи этих строк в печать узнаю, но пока не знаю.

Почему меня так взволновала эта книга? Да потому, что мы оба, я и Фаст, писатели, ровесники (он 1914-го года, я 1911-го), оба совершили одну и ту же ошибку, вступили в партию в одном и том же 1943 году, оба выбыли из нее — он в 1958 году сам, а я в 1973 году не совсем сам — оба почувствовали невероятное облегчение и... Вот тут-то и начинается различие. И основное — американская компартия и КПСС, США и СССР.

«Голый бог» имеет подзаголовок — писатель и коммунистическая партия. Но в книге не только об этом — о человеке, писателе и тупой машине. Там и о самой этой машине. Американском ее варианте. Я же позволю себе сказать кое-что о советском ее существе. Когда моя книга будет переведена на иностранные языки (а я думаю, что так будет), надеюсь, что прочитавшие ее коммунисты многое поймут и решатся на нелегкий, но единственно возможный для честного человека шаг — вернут свой партбилет.

Прочитав книгу Фаста, я понял, что американская компартия так же тупа, ограничена, догматична и жестока (нет, тут не угнаться!), как и наша. Она микроскопична, но влиятельна, к ней прислушиваются так называемые прогрессивные круги. Вожди ее так же напыщенны, самоуверенны и аморальны, как наши. С той только разницей, что у них есть старший брат, от которого они не хотят отстать, а у старшего брата есть бывший младший, но по размерам куда больше его, ставший заклятым врагом. Кроме того, старший брат сильнее, подчинил себе целую страну, а потому и опаснее.

Теперь по существу. О нашей партии. Той самой, в которой я пробыл тридцать лет (Фаст только тринадцать, и не выдержал) и знаю все ее тайны, всю подоплеку, всё фарисейство, грубо выражаясь, знаю, как облупленную.

Нет в мире партии более сильной, чем Коммунистическая партия Советского Союза, и в то же время более слабой.

Нет в мире партии более беспринципной и лживой.

Нет в мире партии более дисциплинированной и в то же время растленной, хотя и сказал о ней когда-то Роберт Рождественский «самая поэтичная партия»!

И, наконец, нет в мире партии, которую так бы дружно ненавидели в народе, даже сами члены партии.

(Спешу в скобках оговориться — когда я говорю «нет в мире партии», я вычеркиваю из этого мира Китай, т. к. ничего ни о нем, ни о его партии не знаю, кроме того, что она во много раз больше нашей. А насколько и как она сильна, и растленна — в этом не сомневаюсь! — не знаю.)

Итак, поговорим о каждом из перечисленных выше утверждений отдельно.

Да — партия сильна. Сильна, потому что проникла во все поры жизни. Советов, тех самых, от которых пошло слово «советский» и в которые каждые сколько-то там лет выбирают депутатов, — нет. Есть рай-, гор-, обл- и крайисполкомы этих советов со своими секретарями и чиновниками, но самих советов нет. Ни трудящихся, ни рабоче-крестьянских, ни красноармейских, никаких. Вместо них рай-, гор-, обл-, крайкомы партии. Они всё решают. Верховных Советов тоже нет. Есть президиумы, председатели этих президиумов, есть ничего и никогда не решающие депутаты, в Киеве есть даже очень помпезное здание с куполом, построенное Наташей Чмутиной, моей однокурсницей (хотя автором проекта считается академик В. Заболотный), называемое Сессионным залом Верховного Совета, но в нем в основном, чтоб не пустовало, проходят разные конференции и съезды, в том числе и писателей. Верховный Совет выпускает Указы, но составляются они в ЦК партии — в Киеве в длинном, сером, с беззвучными коридорами и громадными кабинетами, здании на Банковой (ныне Орджоникидзе) улице.

Одним словом, Советской власти — нет. Понятие это — анахронизм.

Есть Партия. Та самая, которую не принято даже называть Коммунистической. Партия и все!

Сильна она еще и тем, что есть у нее то, чего нет ни у американской, ни у какой-либо другой компартии буржуазного мира, — у нее есть КГБ. Что это такое, объяснять не будем. Ясно.

Все вопросы в стране решаются (и разрешаются) партийными руководителями. На всех этапах. От секретарей первичных парт-организаций (одним из которых и я был когда-то), но это по мелочам, до Генерального секретаря (что он решает сам, что ему подсказывают, а что заставляют делать — не знаю, туда не проникаешь). Партия везде. Она все видит, все знает, все решает. Заодно и думает за всех. Твое дело — выполнять.

В этом сила партии.

В чем же ее слабость? Не задумываясь, отвечаю — в ее трусости. Она боится всего. Прежде всего народа. Своего собственного народа. Боится, чтоб он, Боже упаси, не узнал того, что ему не положено. Поэтому читай, что дают, и слушай нашу очередную передачу «О делах сельских тружеников» или «Дневник соцсоревнования». (По абсолютно непонятным причинам не глушат сейчас Би-Би-Си и «Голос Америки». Загадка. Я бы глушил...) Кроме того, она боится диссидентов, молодых поэтов, Пушкинскую площадь, а до этого «Маяковку», и, конечно же, Сахарова. Солженицына выдворила тоже из страха. Но больше всего она, они (руководители) боятся друг друга. Брежнев Суслова, Суслов Кириленко,



Кириленко Андропова, ну и т. д. Не боятся только Подгорного, а он, бедняжка, боится всех. Уж больно он, как у нас говорилось, не Спиноза. Думаю, что даже не Ванька Жуков, ни в каком возрасте ему такого письма на деревню дедушке не написать... Как его пускают в разные Египты и прочие африканские Сомали, одному Богу ведомо. Возможно, в последний раз он чего-то там напутал, а Кастро наябедничал, вот и прогнали. И как, без всяких объяснений. А народ? А что народ? Чего там ему объяснять. Был Подгорный и нету — один чёрт. В общем-то верно.

Кроме того партия (она же Советский Союз) боится Китая. И Америки тоже. Дорогой Дж. Картер — знайте это. Ужасно как боится. До дрожи в коленках. Но хорохорятся. Не верьте приличной внешности Добрынина. Он вручает вам ноту протеста, а коленки дрожат и ладони потеют.

(Ниже я расскажу об одной встрече с довольно крупным партийным чиновником ЦК партии и как он испугался, когда я на него прикрикнул. Но это позже.)

Второе — нет в мире партии более беспринципной и лживой.

Принципов у этой партии никаких. Есть «учение Маркса-Ленина» (Сталин, шедший через следующий дефис, отпал — вот вам и принципиальность), которое с удручающим однообразием, ежегодно, в который раз, изучают все снизу доверху и на которое всем (и руководителям тоже) в высшей степени наплевать. Кроме него, ничего нет. Был когда-то «Краткий курс» — святая святых, коран коранов, но сейчас о нем и вспоминать неприлично. Теорий никаких ни в каких областях нет. Соцреализм? К определению Энгельса «Типические характеры в типических обстоятельствах» добавлено «в своем развитии», а на съездах с трибуны призывают к тому же «правдиво освещать и воспевать ратный или мирный созидательный труд самого передового в мире советского человека»\*. Вот вам и вся теория литературного процесса. В архитектуре же (тоже ведь искусство) и вовсе исчезла теория. Был когда-то конструктивизм, функционализм, а сейчас? Не помню уже на каком съезде архитекторов и кто из архитектурных руководителей сказал: «Социалистический реализм в архитектуре — это строить быстро, хорошо и экономично». Что говорят сейчас, не знаю. Думаю, что ничего. Проектируют и строят, заглядывая в иностранные журналы. Пожалуй, лучший выход из положения.

К вопросу о принципиальности относятся и принципы политические. Всю жизнь мы поносили Гитлера и фашизм, точнее с начала тридцатых годов. Потом на Сессии Верховного Совета в сентябре или октябре 1939 г. тов. Молотов сказал, избегая слова «фашизм»: «Западные державы объявили войну национал-социализму. Но на-

---

\* Кто-то где-то спросил — а если нечто героическое сделает, допустим, голландец, будут ли говорить «Это мог сделать только голландский человек»?

ционал-социализм это уже идейная категория. Разве можно воевать с идеей?» Потом эта идея, ставшая опять фашизмом, захватила пол-России и дошла до Сталинграда.

Последовательности нашей («последовательная миролюбивая внешняя политика») диву даешься. Покоренная Прибалтика — самоизъявление народа, Западная Украина, Белоруссия и Буковина — воссоединение, а Газа и Иерусалим — оккупация. Корея искусственно расколота, Вьетнам после тяжелой войны воссоединился, а Германия — упаси Бог! — два суверенных государства и единой немецкой нации нет. Нет, и всё! Две немецких нации. А между ними стенка и пулеметы.

О лжи... Ею пропитано все. Газеты, радио, художественная литература (за очень малым исключением), собрания, митинги, школа, вся жизнь.

Не буду вдаваться в подробности, советскому читателю это известно, для западного же не хватит страниц, расскажу лучше о том, что советский читатель не знает. И я не знал. Узнал, прочитав Говарда Фаста.

Я позволю себе привести довольно большой кусок из «Голого бога», он стоит того, чтобы его прочесть:

«На вечере я был в числе маленькой группы, которая разговаривала с Борисом Полевым. Разговор касался советских писателей и того, что они делают в настоящее время, — и так как Полевой не говорил по-английски, то переводил мой старый друг, русский язык которого был безукоризненным. Безукоризненность его языка в данном случае была очень важна, потому что после этого я несколько раз проверял точность всего сказанного. Кто-то спросил Полевого, не может ли он нам сообщить какие-нибудь сведения о еврейском писателе Квитко. Мы объяснили Полевому, что уже некоторое время ходят слухи о его аресте в числе других еврейских писателей и даже о его насильственной смерти. Может ли Полевой рассеять эти слухи раз и навсегда?

Полевой сказал, что может и что слухи эти, конечно, обычная антисоветская клевета. К счастью, он, Полевой, в состоянии опровергнуть ее, потому что Квитко в настоящее время живет в том же доме, где и он, Полевой. — Какое же может быть лучшее опровержение слухов? — сказал Полевой. Нас всех это очень обрадовало, и мы вздохнули свободно. Мы спросили, что Квитко делает, — и Полевой нам ответил, что он заканчивает перевод и собирается писать новую книгу. Он добавил, что виделся с Квитко перед отъездом в Америку и что Квитко просил передать привет его американским друзьям.

Так ответил Полевой — и при этом было слишком много свидетелей, чтобы это можно было отрицать. Но после отъезда Полевого и после XX съезда партии из еврейско-польских коммунистических газет мы узнали, что Квитко уже много лет не

было в живых, что его замучили и убили, как Фефера и Бергельсона».

Я тоже знаю Бориса Полевого. В свое время мы даже симпатизировали друг другу. Он редактор журнала «Юность», и на него в общем-то никто не жалуется. Дурных поступков его я не знаю, а в одном деле он мне даже помог. Это когда в Киеве попытались запретить сделанный по моему сценарию документальный фильм «Неизвестному солдату». Полевой вместе с Твардовским и Сурковым посмотрел его и защитил. Фильм вышел на экраны.

И вот оказывается, в Америке Говарду Фасту и другим писателям он сознательно и в полной уверенности, что служит верную службу, беззастенчиво лгал. Я даже вижу, как он это делал. Очень убедительно, с улыбочкой своего в доску парня, придумывал несуществующие детали. Вот в чем ужас партии. Это она сделала его таким, человека в общем-то не плохого и скорее доброжелательного, чем злого.

Фаст и Полевой обменялись потом письмами. Фаст написал первый, Полевой ответил. Очень длинным, водянисто-дружески-дипломатическим письмом. Заканчивалось оно так: «Эх, старина, как хорошо было бы нам встретиться за рюмкой водки или виски — всё равно чего — и потом, по старому интеллигентскому обычаю, говорить и спорить до поздней ночи, не обращая внимания на зевки и злые взгляды жены...» О чем же спорить? О соцреализме? О Маресьеве? О дискриминации негров в Америке? О росте безработицы? О героизме Красной Армии? О чем же тут спорить?

«Я буду по-прежнему с нетерпением ждать Ваших писем, — пишет Фасту в своем последнем письме Полевой, — потому что я твердо верю, что мы оба, — да, мы оба, я уверен в этом, — имеем много общего и связаны общим делом благородной борьбы за мир и прогресс».

Сколько лицемерия и лжи в этих словах, и как на этот крючок ловятся Говарды Фасты, Ромен Ролланы, Бернарды Шоу, Фейхтвангеры... «Сталин — это Ленин сегодня» сказал не кто иной, как Анри Барбюс, человек, в честности которого никто не мог усомниться.

Фаст ответил на это письмо Полевого. И спросил о Квитко. «Почему Вы должны были лгать — так ужасно и так преднамеренно?» Ответа не последовало.

Есть еще один факт, из той же области, из той же книги:

«Я вспоминаю приезд советской делегации на конференцию, имевшую место в отеле Уолдорф, в Нью-Йорке, в 1949 году... Во время заседания литературной секции конференции Мэри Маккарти спросила Фадеева, что произошло с рядом советских писателей, имена которых были перечислены. Фадеев не только дал честное слово советского гражданина, что все упомянутые писатели живы и здоровы, но и, не задумываясь, перечислил их должности и описал

характер работы, которой был занят каждый из них. Он рассказывал, где они живут, когда он их видел и как они смеялись над «капиталистической клеветой», что их преследуют. Его ответы были так убедительны и изобиловали такими подробностями, что нельзя не отдать должного творческой фантазии, проявленной в его рассказе гораздо более ярко, чем в его книгах...

И, тем не менее, всё это от начала до конца была ложь. Об этом я узнал из рассказов польских и русских коммунистов восемь лет спустя. И все те лица, о которых Фадеев говорил так убедительно и с таким знанием подробностей, в то время, когда он говорил, были уже умерщвлены, замучены, расстреляны или находились в тюрьмах, где их пытали и били и откуда им не суждено было выйти).

Я думаю, добавить нечего...

Нет в мире партии более дисциплинированной и растленной.

Да, дисциплинирована. И результат этой дисциплины то, что Советский Союз при всех своих провалах вышел в первый ряд индустриальных держав мира и стал если не первой, то второй страной по силе своего вооружения (впрочем тут не только дисциплина, тут и горы трупов). Но построена эта дисциплина в основном на страхе. Была такая пьеса Афиногенова «Страх». Как она попала на подмостки Художественного театра, до сих пор непонятно. В этой пьесе профессор Бородин (вроде бы академик Павлов) говорит:

«Вместе с партийными товарищами мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. Общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследованных является страх. Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика и потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты. Да, да... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения».

С последним я не согласен. На высоком месте больше денег и возможностей, но страха не меньше. И вот этот страх движет всей колоссальной машиной, именуемой государством, которое скрипя и разваливаясь, но движется все же вперед.

(В институтские годы я позволил себе на какой-то дискуссии процитировать этот монолог Бородина, утверждая, что и нами, студентами, движет страх, боязнь получить дурную отметку, поэтому мы с легкостью выполняем требования профессоров — от нас тогда требовали, после конкурса на Дворец Советов, отказаться от

конструктивизма и перейти на колонны и портики. Мне за это тогда крепко досталось, и за диплом я получил троечку!)

Итак — дисциплина построена на страхе...

Простите, а энтузиазм? Вспомните. Двадцатые годы. Люди отказывались от всего, ехали... Да, ехали и доехали, как сказал мне один старик-колхозник, когда я пытался говорить ему нечто подобное... Нет энтузиазма, давно нет. Только в газетных статьях о принимаемых приветствиях родному ЦК на очередном митинге или собрании писателей. И романтика БАМ'а только в «Комсомолке» да бодрых песнях по радио. БАМ — та же дисциплина. Иными словами, подчинение приказу. Не поедешь — исключим, прогоним, накажем. Есть решение — выполняй. А так как выполнить в большинстве своем невозможно (читай Л. Владимирову, как он работал на автомобильном заводе), в дело вступает обман. А обман — отец разложения, растления.

(В армии мы тоже ввали. Количество сбитых вражеских самолетов было по крайней мере в десять раз меньше, чем указывалось в сводках Информбюро. О каждом упавшем в Волгу немецком самолете доносил каждый батальон, сделавший по нему два выстрела из винтовки: «метким ружейно-пулеметным огнем сбит вражеский самолет». В полку три батальона, в дивизии три полка. Вот дивизия и сбивала девять самолетов. А сколько дивизий было в 62-й армии? Но там, в штабе, знали, что врут, срезали, но десяток все же оставляли.)

На высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Ой ли? Там-то она особенно и страшна. Ведь тогда ты лишаешься всего. Партийный пост — это благополучие. Именно пост, а не членство. Членство иной раз и боком вылезит — исключенный из партии, это похуже бывшего «лишенца». А пост — это пост. И власть, и возможности, и чем он выше, тем бесплатнее жизнь и лучше лекарства, с определенной ступени и заграничные. Если верить Земцову (а он уж очень близко к кормушке стоял), то за право сесть в кресло секретаря райкома нужно и солидную пачечку выложить.

Помню, как довольно крупный киевский руководитель, снятый со своего министерского поста, рассказывал не без юмора: «Теще моей в поликлинике воткнули шприц в задницу, но лекарство так и не впустили — увы, не положено уже, вставайте...»

Ну и, наконец, о самом сокровенном, о любви к партии. Тут, между прочим, какая-то путаница. Сокровенное это как раз то, о чем во всеулышание не говорят (ну, разве что за пол-литрой), — и это отнюдь не любовь, это и есть та самая ненависть, о любви же только на собраниях.

Со всей ответственностью говорю — среди 16 миллионов членов партии нет ни одного, кто хоть на минуту, на секунду верил бы в Коммунизм. Есть люди, которые слепо верят в нужность

того, что они делают, есть еще, и в достаточном количестве, сталинисты, считающие, что делается даже недостаточно, но человека, верящего в сияющую зарю коммунизма (может быть еще в сумерки, в ночь...), — нет. Ни одного. Даже там, в Кремле.

Я не говорю о западных коммунистах, я их просто не знаю, но думаю, что Берлингуэр — у него такое интеллигентное, усталое, невеселое лицо — тоже не верит. Верит во что-то другое — я его, не знаю почему, может быть за это усталое лицо, идеализирую — но называет почему-то коммунизмом: Пусть даже с «евро», но коммунизмом.

В народе же, в простом, как мы иногда говорим, и не в простом, слово «партия» вызывает ненависть. Может быть, только молодежь, и то определенная ее часть, относится к ней безразлично или с иронией. О комсомоле вообще говорить не будем — это фикция, необходимый принудительный ассортимент, с которым расстанутся без мук и переживаний — выбыл автоматически...

Вероятно, для полноты картины, надо было бы сказать и о неизлечимой нашей болезни — словоблудии, об инфляции слова, с везде развешенных лозунгах, которые сетчаткой уже не воспринимаются, об издательствах, которые вынуждены сокращать свои планы, т. к. бумага идет на брежневскую болтовню, но тут уж надо писать целую книгу. Был, кажется в Австрии, до оккупации естественно, опубликован труд известного ученого Клемберера: «Lingua Tercia Imperia» — «Язык третьего райха». Вот надо было бы, чтоб и у нас нашелся такой Клемберер. Книга была б на расхват. Впрочем, передовицы в «Правде» лучше и короче не стали бы.

Вот в кратчайшем, наикратчайшем изложении сущность этой «самой поэтичной в мире» партии.

И тут же я слышу вопрос — но ты-то, ты, очевидно, всё это знавший и раньше, тебе ж было уже 32 года, как ты-то мог вступить в эту «самую поэтичную»?

Я этого уже касался, могу развить. Я никогда не был политиком. До войны были свои увлечения — архитектура (мечтал получить первую премию на каком-нибудь всесоюзном конкурсе), театр (сыграть Хлестакова, о котором Станиславский сказал после того как я ему показал отрывок из «Ревизора»: «Да, конечно, вы с вашим Хлестаковым можете выступить в любом театре...»), а потом расчеховостили, но за первую фразу я крепко уцепился на всю мою недолгую актерскую жизнь), Днепр (мы были нехудшими гребцами и пловцами киевского пляжа тех лет), всякие Военно-Осетинские и Военно-Сухумские дороги с рюкзаками на спине, ну и, само собой разумеется, сидение в обнимку в кустах на днепровских откосах. А жизнь страны шла своим чередом. Трудноперевариваемая смесь съездов, челюскинцев, арестов, перелетов через Северный полюс, процессов, «Юности Максима», войны в Испании,

утесовской «И тот кто с песней по жизни шагает», папанинцев, очередей за маслом, советского павильона на Парижской выставке с мухинской, всех тогда покорившей скульптурой, Хасанских событий (первая и, в общем, выигранная война), моих переживаний с Вронским, которого я «воплощал» на клубных сценах Немирова и Гайворона, хлебных карточек, восхождения на Эльбрус с другом моей юности Локштановым (а через без малого сорок лет выяснилось, что нам и говорить-то не о чем), Гитлера и всего сопряженного с ним, позорной финской кампании (Бог ты мой, третий месяц топчемся на одном месте, в городе половина школ превращена в госпитали — это было в Вятке, тогдашнем Кирове) и, наконец, война, на этот раз настоящая...

Первую зиму я провел командиром взвода запасного саперного батальона в крохотной деревушке Пигуча на берегу Волги севернее Сталинграда. Туда мы пришли пешком из-под Ростова и остались на всю зиму. Учили солдат тому, чего и сами не знали. Настоящий толп и взрыватель я впервые увидел уже в Сталинграде, через год. На весь батальон (а в нем было около тысячи человек) была одна боевая винтовка. На стрельбах (за всю зиму) каждому бойцу полагалось по одному патрону. Окопы (предмет этот у нас назывался «Укрепления и фортификация») в насквозь промерзшем грунте копали деревенскими лопатами. Из восьми учебных часов четыре, а то и шесть, полагалось проводить на воздухе — взвод в наступлении, в разведке, в охране, эти самые фортификации. Морозы были сорокоградусные, а так как белья у солдат не было, я забирал у хозяйки (она была почтальоном) все газеты, и бойцы заворачивали в них свои чресла.

К весне весь рядовой состав был отправлен на Крымский полуостров (по секрету сообщил мне адъютант старший) и там полег костями. Мы же, офицеры, отправлены в боевые части полковыми инженерами (все виды мин и других заграждений я видел только на картинках).

В апреле 42-го года наш полк выступил из станицы Серафимович, где формировался, на фронт. Мы продефилировали по главной улице с развернутым знаменем. Направо и налево от знаменосца шагали два так называемых ассистента с учебными (дырки в стволах) винтовками на плечах. Дальше «С места песню!», строевым шагом весь полк... хотите верьте, хотите нет, с палками вместо винтовок. Вот так, с палками на плечах. Станичные бабы ревели: «И вот так вот вы на немцев? С палками?» А полковая артиллерия — бревна на колесах от подвод, которые тащили четыре полковые клячи. Кто мог это придумать — один Аллах ведает.

Оружие, настоящее оружие (офицеры пистолеты ТТ — тоже первый раз в жизни, бойцы — винтовки образца 1891 года) получили за неделю до начала боевых действий под Терновой, возле Харькова. Учебных стрельб, само собой, не было. Собрать и разобрать

винтовку умели только командиры рот, из кадровиков, попавшие к нам из госпиталей.

Так началось знаменитое тимошенковское наступление на Харьков в мае 1942 года. Чем оно кончилось, известно.

Чем кончился Сталинград, тоже известно. И вот это-то, от паков до 330-ти тысяч пленных паулусовской армии, очень на всех нас подействовало. И внушило веру, ту самую, о которой я уже писал.

Кроме веры, было и еще нечто. Я был в полку единственным беспартийным офицером. Белой вороной. «Ну что ж, капитан (в Сталинграде я стал капитаном), всю картину нам портишь. Самый у нас интеллигентный, с высшим образованием, а... Пора, Пора» — говорил замполит. А командир полка, мягкий, добрый, замучавший нас в Сталинграде своими НП («тут холодно»... «тут слишком высовывается»... «тут перекрыли плохо»..., иронизировал еще: «А может, ты просто меньшевик? А? Признайся.» Мой друг Ваня Фищенко (он же Чумак из «Окопов Сталинграда») еще поддавал: «Да он просто фашист. Вчера в землянке, видел я, марки с Гитлером в альбом вклеивал, он же у нас этот, фила...филотист, что ли». (Я действительно нашел в немецком блиндаже альбом с марками и по вечерам над ним возился.) Вот так это и случилось.

Изменилось ли что-нибудь в моей армейской жизни? Да ничего. Платил только взносы. Ни одного партийного собрания в полку что-то не припомню. Потом ранило. В саперном батальоне, куда я попал после госпиталя, тоже не припомню. Первое, на которое я попал, было то, где меня избрали секретарем парторганизации. В редакции газеты «Радянське мистецтво» («Советское искусство»). Организация наша была маленькая, дружная, год был веселый — победа! — никто никому, как в Киеве говорят, не морочил плечи.

Весь этот год я писал свою первую книжку. На следующий она вышла. И вот тут-то произошло первое столкновение. Без всяких последствий, но оставившее свой первый след. В том самом журнале «Знамя», где напечатаны были «В окопах Сталинграда», в десятом номере, как раз перед самой повестью, опубликовано было страшное, до сих пор не дезавуированное, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это был первый удар по литературе, первая, так сказать, ласточка.

Естественно, из райкома поступило указание — провести собрание на эту тему. Я горжусь этим собранием. Нет, не потому, что я встал и сказал: «Товарищи, мы присутствуем при начале того, что, казалось, никогда уже не может повториться, при начале гибели литературы.» Нет, я этого не сказал. Таких смельчаков, камикадзе в нашей стране мало. И я им не оказался. Но я выкрутился. «Товарищи, — сказал я, — все вы читали последнее постановление ЦК партии. Люди все вы грамотные, начитанные и думаю, что объяснять, что и как, нет никакого смысла. Примем к сведению и руководству. Если есть другие предложения — прошу». Коллектив



наш был маленький, дружный, других предложений не последовало, и мы разошлись. Все собрание длилось (Володя Мельник засек) около двух минут. (Было еще одно, по подписке на заем, оно длилось 45 секунд — хронометрировал всё тот же Володя Мельник). Эти два собрания я отношу в свой актив. В дальнейшей моей партийной биографии таких затыканий амбразур собственным телом (кругом, правда, были только друзья, инструктора райкома почему-то не было) больше не случалось. Мой героизм дальше «воздержался» и не присутствий не шел.

Я говорю об этом сейчас вроде бы шутливо, но всё это далеко не шутки. Бесконечное количество партсобраний, на которых мне за тридцать лет пришлось присутствовать (кругом уже не друзья, Союз писателей), кроме всякой чепухи, отчетов и перевыборов, посвящены были уничтожению, топтанию, разоблачению, выведению на чистую воду, признанию своих ошибок, обещанию больше никогда, ни в чем, ни с кем и сопровождаться гневными (часто от души — думал, что классик, а вот видишь, и не классик!) выкриками из глубины зала «Позор!», «Ганьба!»

В американской компартии, я понял, прочитав Фаста, происходило тоже нечто подобное. Тоже клеймили, тоже обвиняли, тоже заставляли публично признавать свои ошибки, но там не было одного — так пишет Фаст — не было тюрьмы и смерти. А у нас была. И тюрьма, и смерть, и полное забвение...

Ответил я на вопрос о том, зачем и как я вступил в партию? Вроде бы и ответил. А вот как я тянул эти тридцать лет? Зошенко и Ахматова, космополитизм, врачи-убийцы, потом вздох облегчения, смерть Сталина, XX съезд, оттепель — и опять: Польша, Венгрия, Чехословакия... А у тебя в кармане партийный билет...

Да, у тебя в кармане партийный билет. И у шестнадцати миллионов такой же партийный билет. А за рюмкой, стопкой, стаканом водки, шепотом, полушепотом, а после второго стакана — жена делает круглые глаза, машет руками — да, ворует! Да, обманываем! а на что мои партвзносы идут?! Обнесли свои дачи заборами, хлещут заграничный коньяк! А ну, Вась, поставь Галича!.. А утром, опохмелившись, идут воровать, обманывать, голосовать «за»...

Все такие? Нет, тысячу раз нет! Их мало, тех, которые «нет!», но на них смотрят. Учатся. Может, кто-то и завидует. А кто-то жалеет. Но не могут не преклоняться. Есть замечательный анекдот про водку и Сахарова. «Слышал, цену на водку повышают?» «Не может быть, Сахаров не даст!» Анекдот анекдотом, но это и молва, и памятник, хотя и не правда, вот выставили на прилавки «Колос» — шесть-двадцать, и ничего не произошло, Сахаров-то, оказывается, непьющий.

Самое страшное в этой партии, в этом союзе единомышленников, как она называется в уставе, это то, что в ней мышление как

такое запрещено («за то, что позволил иметь себе собственное мнение...»), и второе, что из нее нельзя выйти.

Я знаю только два примера самовольного ухода. Это Елена Боннэр, жена Сахарова (пришла в райком, после одной из демонстраций, где ее оскорбили, и сказала: «Вот ваш билет. Я не против советской власти, но на некоторые вопросы я смотрю иначе, чем сказано в уставе партии. Возьмите билет!») и некий начальник отдела кадров московского телевидения, который сказал нечто подобное, даже резче, на каком-то собрании и тут же был увезен в психушку.

Возможно, и мне надо было так поступить, но я не поступил. И в этом моя вина. Перед самим собой в первую очередь...

Я обращаюсь ко всем, кто носит еще этот билет в своем кармане. Нет, не к членам КПСС — там эта ложь, самообман и — скажем прямо — трусость, не скоро переведутся, и не мне, исключенному, а не ушедшему, давать советы — я обращаюсь к западным коммунистам.

Не верьте тем, кто говорит, что коммунизм — это светлое будущее. Коммунизм — это демагогия и обман. Я не могу даже сказать «красивые слова» — их тоже нет! — красота и коммунизм несовместимы. Придя к власти, они будут в основном всё запрещать. И того нельзя, и того нельзя, а главное, нельзя думать, перечить. Мы у власти, мы стараемся поставить на ноги экономику (ох, уж эта экономика!), а вы тут забастовки устраиваете. Вы же сами против себя бастуете. И начнут вас разгонять тем же самым газом и бить по голове дубинками. Ваша же полиция будет вас же беречь.

Так будет. И нехватит места в тюрьмах и лагерях Гвианы (они там еще есть?), а какого-нибудь Monsieur le Sucre назовут врагом французского, а Mister'a Shugar — английского, Herr Zucker — немецкого народа и отключат у них телефон для начала.

Так будет. Не может быть иначе. Пока Марше и Берлингуэр смотрят на кремлевские звезды и называют то, что произошло в октябре 1917 года, Великой Социалистической революцией. Когда же они событие это назовут настоящим его именем — рождением тирании — тогда можно будет и подумать, стоит ли за них голосовать. Но не раньше. Ни на минуту раньше!

Маленькое примечание, вернее иллюстрация к вопросу о трусости. Выше я упомянул о некоей моей встрече с партийным боссом, на которого слегка прикрикнул. Боссом этим было весьма известное в писательской среде лицо по фамилии Поликарпов. Он был начальником отдела или сектора Литературы в ЦК КПСС (а до этого, если не ошибаюсь, кем-то в Союзе писателей) и главной его обязанностью было поучать, направлять, поправлять и кричать. Иной раз он и кулаком по столу стучал.

И вот я с ним встретился.

Дело происходило так. Как-то, в Киеве, меня срочно вызвали в Спілку, наш Союз писателей и весьма таинственно сообщили, что я должен немедленно сесть в самолет и вылететь в Москву. Меня, мол, вызывают в ЦК партии. Вот вам командировка, отправляйтесь сейчас же...

На следующий день я был уже в немислимых размеров кабинете этого самого Поликарпова. Он сидел за гигантским письменным столом, но когда я вошел, встал и пошел даже навстречу.

Беседа была конфиденциальной. Василий Семенович Гроссман собирался опубликовать вторую часть своего романа «За правое дело», и вот мне, как другу его (было сказано даже «ближайшему»), что мне очень польстило), поручается отговорить его от этого шага.

— Гроссман большой писатель, к его голосу прислушиваются, но печатать его антисоветчину мы не будем. Так и скажите ему.

Я не согласился с ним, сказал, что антисоветчины Гроссман написать не может. Он может высказывать...

Закончить мне не дали. На меня высыпан был весь набор положенных в таких случаях слов — мнение ЦК... мы не можем позволить... советский писатель всегда должен помнить... Мы воспитываем народ в духе... Ваша обязанность как коммуниста...

Тут я сказал что-то насчет того, что моя обязанность коммуниста не учить Гроссмана, а учиться у него...

Что тут последовало... Кулаком по столу... И я кулаком по столу. Не кричите на меня! Я не привык! Пуганый! Я немцев в Сталинграде не боялся, а они за шестьдесят метров от меня были, так вас уж подавно!

И подействовало. Он сразу угомонился. Стал тише. Даже улыбнулся. Ну, чего нам с вами ссориться, мы ж с вами одно дело делаем...

Как там насчет этого одного дела, я спорить не стал, но с того дня аргумент со Сталинградом и немцами за шестьдесят метров взял на вооружение. После этого я еще несколько раз пускал его в ход, и всегда с успехом.

В следующий раз, когда я к Поликарпову попал, — вызван я был, чтоб вставить что-нибудь о французской компартии и рабочем классе в мой очерк «Месяц во Франции», со дня на день ожидался визит де-Голля, — я застал его в другом уже кабинете, значительно меньшем, и в шутливой форме сказал ему об этом. Поликарпов только захихикал и развел руками, начинался уже его закат.

Только так надо с ними разговаривать. И кричать на них надо. И стучать по столу кулаком. Очень действует. Я б хотел, чтоб западные премьер-министры и президенты усвоили эту истину. Только кулаком и по столу — другого языка они не понимают.

Небо чистое, чистое, ни одного облачка. Вечер. Темнеет. Легкий ветерок слегка треплет флаг за моей спиной. Я сижу на камнях, кругом кустарник, маслины. Передо мной, чуть пониже, полукругом люди. Человек пятьсот-шестьсот. Стоят молча, ждут.

На небе, над самым озером, зажглась первая звезда.

Из толпы вышел человек, молодой, кудрявый, с очень впалыми щеками и глазами, которые принято называть горящими.

— Приспустить флаг, — командует он. — Возжечь огонь.

Кто-то пробегает мимо меня, карабкается на камни, и на фоне лилового неба вспыхивает пламя.

— Ровно тридцать пять лет тому назад, 29 сентября 1941 года, в Киеве, в Бабьем Яру раздался первый залп по евреям.

Так начал молодой человек со впалыми щеками, с горящими глазами, Амик Диамант, собравший здесь, на Голанских высотах над Генисаретским озером, всех тех, для кого Бабий Яр — не просто овраг на окраине Киева, замытый и превращенный сейчас в пустырь, а кусок твоей жизни, жизни твоего народа.

Десять лет тому назад, того же самого 29 сентября, в день двадцатипятилетия расстрела, тот же Амик Диамант прикрепил к каменной стене несуществующего сейчас, разрушенного старого еврейского кладбища плакат. На нем по-русски и на иврите было написано: Бабий Яр, 1941-1966. Он провисел недолго, его сорвали. Как закончился этот день, каковы были его последствия, об этом я уже писал.

Через десять-двенадцать дней на месте так называемого «сионистского сборища» поставлен был камень. Сейчас сооружен памятник. Потребовалось тридцать пять лет, чтоб преодолеть что-то упорное сопротивление, появились на месте расстрелянных стариков и старух бронзовые мускулы полуголых борцов и подпольщиков, спокойно и уверенно под дулами пулеметов смотрящих в будущее.

Люди стоят, опустив головы. Они приехали сюда, на Голанские высоты, машинами и автобусами со всех концов Израиля. Совсем недавно кто-то из них еще бросал свои букетики или возлагал венки возле десяти лет простоявшего серого куска гранита, по-своему символизировавшего слова «ничто не забыто, никто не забыт». Сейчас к пылающему факелу молоденькая девушка принесла букет роз, которые просили возложить ее пограничники с ливанской границы, она где-то совсем рядом.

Молодой киевлянин, по имени Виктор, из тех, кого киевская милиция в первую очередь заталкивала в воронки, читает письмо, пришедшее из Киева. И мы видим, слышим, как там, за тысячи километров от нас, собравшихся сейчас здесь, кто-то с трибуны, обтянутой красным, говорит о зверствах, нет, не фашистов, а первых их прислужников, врагов всего прогрессивного — сионистов. А мо-

лодые люди в пиджаках со слегка оттопыренными боковыми карманами зорко следят за другими молодыми людьми, вот теми, с венком, провокационным венком с бело-голубой лентой.

А за спиной моей развевается знамя с голубыми полосами на белом фоне, то самое, с шестиконечной звездой, которое в «Правде» всегда изображается в руках хищного, алчного, в каске, негодяя с крючковатым носом. Агрессор, мать его за ногу...

И стоя под ним, не моим, я вспоминал то, мое, красное, перед которым стоял на коленях, когда 284-ая стрелковая дивизия наша стала именоваться 79-й гвардейской. И думал о том, как оно, под которым столько было отдано жизней, опозорило себя, развеваясь на танках, входящих в Прагу. Оно, которое в 45-м году встречали в Праге криками восторга и радости, стало символом чудовищного вероломства, стало так же ненавистно, как другое, со свастикой в белом кругу, а круг на том же красном полотнище...

Пели молитву. Тоже чужую, непонятную мне, как и многое в этой стране. И горы окружали меня чужие, невысокие, складчатые, сухие над вечерним озером. Но себя я не чувствовал чужим.

За те немногие дни, что я пробыл в этой маленькой, изрезанной границами, окруженной врагами, обуреваемой страстями, верной чуждым мне традициям стране, я понял, что я ей не чужой, как и то, что она близка мне. Чем же? Чем может быть близка мне страна, язык которой я никогда не выучу, религиозный уклад которой мне далек и мирты не похожи на березы? Я стоял у Стены Плача в черной ермолке на макушке и смотрел на старых евреев с длинными пейсами и в белых чулках, и на бледных мальчиков с такими же пейсами, на молодого, светловолосого парня в солдатской форме, на нем тоже была ермолка, и губы его что-то шептали. И глядя на него, в запыленной его форме, и на тех, на автобусных остановках, голосующих на дорогах, чтоб подвезли на субботу домой («Мерзавцы, а кто же в лавке остался?»), я думал о том, что, может быть, это единственные сейчас в мире солдаты, которые, стреляя, знают, во имя чего они стреляют и что защищают. Свою страну, свое право жить в этой стране. Агрессоры, мать их за ногу...

Упаси Бог, не мне судить, хорошо или плохо жить в Израиле. Я был гостем, мне было хорошо. И друзья мои, бывшие киевляне и москвичи, живут, в общем, сносно, не жалуется (впрочем, конечно, жалуется, кто в мире на что-нибудь да не жалуется, будь у моей жены большая кухня, она бы жаловалась на тесную кладовку), но, конечно, кому-то в Израиле плохо. Арабам? Не заметил. Житомирским парикмахерам? Возможно. Но кому-то плохо. Да и бюрократия в этой стране не лучше, чем в других. И даже кто-то взятки берет. Но есть в ней, в этой стране, главное. Все (ну, не все, почти все, большинство) знают, что они работают для своей страны. Что ей сейчас нелегко и что все силы надо отдать ей, СВОЕЙ стране. А в родном нашем Союзе мы не знали, кому мы отдаем свои

силы — партии, Брежневу, Кубе, Анголе? Мой самый близкий друг Илья Владимирович Гольденфельд, он же Люсик, хотя уже и лыс, и сед, говорил мне еще в Киеве, до своего приезда в Иерусалим: «Я не хочу, Вика, чтобы мои знания (он физик) использовались страной, которая продает оружие тем, кто воюет с другой страной, которую я люблю и уважаю, и вот ей — я хочу отдать все свои знания».

Он же, Люсик, возил меня по Израилю.

Он не только друг, он главный шофер моей жизни. Я обязан ему тем, что немного знаю дороги России и Украины. Мы ездили с ним на его «Победу» в Москву, туда и обратно, заезжали в Ясную Поляну, в тургеневское имение, любим вспоминать свою ночевку в Кромах, где по естественной надобности надо было ходить за сарай, т. к. в положенное для этого место в нашей гостинице просто нельзя было войти. Мы совершили с ним, на этот раз в столетнем Пежо или Рено, который ни при каких обстоятельствах не хотел заводиться, весь путь Наполеона к его «Ста дням», от Средиземного моря по дивной красоты горным дорогам до самого Парижа. Проехали Голландию и Бельгию, по бесконечным дамбам, через какие-то заливы. И, подъезжая ночью к Парижу, в первый раз в жизни поссорились — кричали друг на друга, обижались, приглашали в свидетели люсикину жену — ты слышишь, что он говорит, ты только послушай! Мы поссорились чуть ли не на всю жизнь, решая, через какие ворота надо въезжать в Париж! Ну, как вам это нравится? Я знаю, что через Порт-де-Клиши, а он хохочет, говорит, что я не знаю Парижа (это мне-то, мне!), что надо через Сен-Дени, требует, чтоб я еще вытащил план, одним словом, были бы шпаги, не знаю еще, чем кончилось бы. Ах, эти ссоры! Эти парижские ссоры! Витька и Милка никак не могут договориться, какие надо купить лампы в новую квартиру («У изголовья должны быть две лампы — тебе и мне... Зачем две, хватит и одной... Как одной? Я еще читаю, а ты ворчишь... Я ворчу?») и куда девать подаренный стол, который никуда не влезает («В подвал его... В подвал? Такой красивый?... А куда?... Сюда... Сюда? Через мой труп!»). А я, мудрец, только улыбаюсь. Чудаки (через букву «м», как говорит Максимов), угомонитесь, любите друг друга, вы же самые счастливые в мире люди. Вам все только завидуют. Чем занимаются Витька и Милка в Париже, спрашивают криворожские их друзья. Они, видите ли, никак не могут решить, куда поставить стол в своей новой (!) парижской (!!!) квартире. И утверждают еще, что она им, мол, тесна — три комнаты и кухня. А в коммуналку не хотите? Шесть хозяек на кухне, шесть примусов, шесть лампочек над каждым столиком... Ну, уж это малость переборщил. Коммуналок становится всё меньше и в больших городах о примусах уже забыли. Как говорила наша бывшая домработница Ганя: «Одне хороше зробила советська власть — газ придумала.»

И вот, Люстик возит теперь меня по Израилю. Самария, Галилея — от одних названий дух захватывает. Едем на север, вдоль Иордана. Бог ты мой, да наш Ирпень куда шире... А Мертвое море? Самое нелепое, противоестественное из всего, с чем я сталкивался в жизни. Море, в котором нельзя купаться, нельзя плавать! Стой в нем, как идиот, и не шелохнись, иначе, как пробку, перевернет вверх ногами. Пытка!

Но пейзажи, пустыни, горы! Оливы Гефсиманского сада, такие крученые-перекрученые, столетние. Сидишь на кладбищенских плитах, на раскаленных ступенях царственных могил, и охватывает тебя, вроде бы и безбожника, нечто глубокое и в то же время возвышенное, зовущее в прошлое, которое ты толком-то и не знаешь, так как учили тебя не истории, а обществоведению, всяким там чартистам и Робертам Оуэнам. Тебя учили, что никакого Иисуса Христа на земле не было, всё это выдумки церковников («долой, долой монахов, раввинов и попов!»), а ты сидишь на камне и знаешь, что когда-то и Он тут же сидел, и перед Ним были те же стены старого города.

Странно это или не странно — не знаю, не могу объяснить — но на этой палимой солнцем земле, среди поросших сухим мхом песков Галилейской пустыни, под кривой маслиной на каменистом берегу Тивериадского озера, подымаясь ли по вытоптанному миллионами ног ступеням Храма Господня или спускаясь по кривым улочкам Вифлеема, ты всё время чувствуешь Его присутствие рядом с собой, хотя давно уже не веришь и не преклоняешься Ему. Да, чувствовал и благоговел, старый безбожник...

Когда-нибудь, когда я приеду еще раз в Израиль, и не на две недели, а на подольше, я и напишу побольше. Сейчас же сплошной «импрессионизм», впечатления. Одно из них (сильнейших, поразивших, обрадовавших), кроме октябрьской немыслимой жары (и это после первых норвежских заморозков), кроме библейских пейзажей (слово «библейский» хочется вставить в каждую фразу, но я ограничусь только этой, больше не буду), кроме экзотики пальм, кактусов и верблюдов и иерусалимских контрастов — старый город и новые «юго-запады» — так вот, одним из сильнейших, поразивших, обрадовавших впечатлений было то, что, попав в эти библейские (последний раз, прости) пейзажи, в эти крикливые торговые переулочки из «Тысячи и одной ночи», я попал вдруг к себе, в... Киев.

Это было везде и каждодневно (русская речь с киевскими интонациями, те же подписные издания на книжных полках киевского, а теперь хайфского физика (Гарика Квенцеля), на Голанских высотах, где половина съехавшихся были киевлянами, в киббуце на берегу моря, где, развалившись на пляже, говорили о том же, кто приехал, кого не выпускают), но особенно остро почувствовал я это на вечере в Тель-Авиве.

Зал такой же, как где-нибудь в клубе 4-й обувной фабрики, на сцене длинный стол, за столом президиум, в президиуме — я.

О, эти президиумы!

«Есть предложение избрать в почетный президиум Политбюро ЦК КПСС, во главе...» О, сколько было этих глав. Впрочем, не так уж много, всего три. Но каждый раз аплодисменты, переходящие, все встают. Кто не вставал, кто не хлопал? Укажите мне такого. У кого это было — у Солженицына, у Гроссмана? — как на каком-то собрании аплодисменты никак не могли закончиться, председатель не знал, можно ли первому ему прекратить, и так как первым все-таки оказался он, ему, кажется, с собрания пришлось уйти не в одиночестве, а в некоем сопровождении.

Не раз сживал и я в этих президиумах. В компании лучших из лучших. Сидят, борются со сном, что-то иногда записывают, наклонясь друг к другу, что-то шепчут в ухо («Тому слово не давать... Черту подвести после Сидоренко...»), председатель стучит карандашом по графину (однажды Корнейчук чуть не разбил этот графин, когда на трибуне стоял Иван Дзюба), можно в президиуме и закурить, можно и выйти, размять ноги, а то и промочить горло, если собрание важное, с буфетом.

Бывало, что и председательствовал. Не часто, но бывало. Однажды даже предоставил слово Михаилу Александровичу Шолохову. На одном из наших, украинских, писательских съездов. Он был вдребезину пьян, никак не мог найти очки, рассыпал листочки, долго собирал, перепутал, держал вверх ногами. Начальство было очень, очень недовольно. Классик, оказывается, напился где-то по дороге с летчиком, опоздал на два дня, и вот, пожалуйста, лыка не вязал. Так и сошел с трибуны, не закончив, рассыпая листочки по карманам.

Только в одном президиуме я чувствовал себя счастливым (а так всегда дурак-дураком), только один раз я с гордостью председательствовал. Это когда, встав перед умолкнувшим залом, сказал:

— Слово предоставляется уголовному преступнику, известному врагу разрядки, Владимиру Константиновичу Буковскому.

Да, это было приятно.

Может, когда-нибудь выпадет мне счастье испытать еще раз такую радость — предоставить слово Семену Фишелевичу Глузману. Не будем загадывать, но я верю в это.

В Тель-Авиве тоже было приятно. Но не потому, что гость был представлен, как «друг еврейского народа» (так, черным по белому, было написано в объявлении, анонсировавшем вечер), а потому, что чувствовал он себя, как миллион лет тому назад, на 4-й обувной фабрике, на Подоле. Тот же град (правда, других) вопросов, те же, в общем, лица, не было только пары крошечных красных сапожек, которые преподнесли мне тогда.



И вот это «то же» и «те же» особенно как-то подействовало на меня в Израиле. «А вы помните? — подходили люди. — Не забыли?». И помнил, и не помнил, и кого-то забыл, не забывал только одного — сюда, в Израиль, приехали люди, которые спокойно могли жить и работать У СЕБЯ, ДОМА, потому что дом их был там, там они родились, там учились, воевали, получали за это ордена, а потом эти ордена на границе отбирали и заглядывали в задницу, не застряло там колечко золотое, с бриллиантом, наше, советское...

До сих пор не могу понять, что побудило Анатолия Васильевича Луначарского, преподнести двадцатилетнему Victor'у, которого он знал по парижскому парку Монсури в 14-м году, маленькую брошюрку «Об антисемитизме». Вряд ли он мог предположить, что через 35 лет этот самый Victor будет цитировать несколько фраз из этой брошюрки на «сионистском сборище», в Бабьем Яру, в день двадцатипятилетия расстрела...

#### Антисемитизм...

Утверждаю и настаиваю, что самая страшная форма его у нас, в Союзе. Это вершина, недостижимая вершина лицемерия. У Гитлера — еврей гад, его надо уничтожить, и его уничтожали. У нас — еврей брат — спросите Чаковского, Вергелиса, Драгунского, Быстрицкую — но здесь и здесь тебе делать нечего, иди, и сына своего, как бы он там хорошо ни считал, не приводи на экзамен, все равно завалим. Пусть на скрипке учится, к Ойстраху его, или шахматам обучай!

Настаиваю, что в НАРОДЕ антисемитизм явление случайное. Есть ирония, насмешка (и над собой тоже), матючок бывает. Антисемитизм, тот самый, именуемый животным, — это прерогатива мещанства, как в старину говорили, лавочников. Там он лютый, звериный, заразительный — знаменитый доктор Сикорский не был лавочником, но в деле Бейлиса под присягой доказывал, что без крови христианских младенцев еврейю жизнь не в жизнь.

Под нынешним мещанством, лавочниками, я подразумеваю партийный аппарат. Там над «абрамчиками» не подсмеиваются, там их ненавидят, они зло, они основа всех бед, и — звучит анекдотом — но и там вспоминают Троцкого-Бронштейна, Литвинова-Валлаха и всех возможных Рабиновичей, попадавших на революционном пути страны.

Настаиваю, что главные антисемиты — это не те, кто за рюмкой водки скажут: «Не волнуйся за Лёвку, он пробивной, как тот сперматозоид», а те, кто говорят за той же рюмкой: «Какой же я антисемит, вот, признаюсь же, что у нас в полку был один еврейчик, очень даже смелый», а потом, уже не за рюмкой, а у себя в кабинете, стучащий по столу кулаком: «Вы что, из нашего учреждения си-нагогу собираетесь сделать?», это, когда говорят ему, что на это вот место есть хорошая кандидатура, но фамилия на «ман» кончается.

Вчера мне рассказывали про случай в одном из московских родильных домов. Роженица (дочь очень высокопоставленного хама), наотрез отказалась от своего ребенка. «Посмотрите на его нос! (это у трехдневного-то младенца!) Не возьму!» Отец оказался благороднее, хотя тоже сомневался насчет своего отцовства, но высокопоставленные хамы потребовали, чтоб роддом дал справку, что дочь их родила мертвенького, а куда уже денут «мертвенького», дело роддома... Директор больницы потребовал письменного указания. Оно было дано — хоть бы одним глазом на него взглянуть.

...Мы ехали с Люсиком из Иерусалима в Тель-Авив, на аэродром.

Многое уже было переговорено, и в Киеве, и в Париже, и здесь, в Израиле.

— Ну, так как? — спросил я Люсика.

— Что, как? — переспросил он.

— Доволен?

— Только примитив, вроде тебя, может задать такой вопрос.

— А я все же задаю.

— Довольным на 100% может быть только...

— Ну, а на 50?

— Для «доволен» этого мало.

— Ну, а я доволен на все сто!

— Чем?

— Тем, что ты здесь.

Люсик расхохотался.

— А кто мне в Киеве говорил: не уживешься, чужая страна, чужие порядки. Кто?

— Я!

— А теперь, значит, признаешь, что...

— Признаю! И этим тоже доволен. А ты?

— Что я?

— Доволен?

Люсик наклонился ко мне.

— Сказать по секрету? Счастлив...

Теперь я уж расхохотался.

— Блеск! Ну, а теперь поговорим за ваш израильский бардак.

И мы, перебивая друг друга, начали говорить «за» израильский бардак.

\* \* \*

Думаю, что национальный вопрос — самый сложный в нашем «созвездии равноправных».

Он везде сложен — баски, шотландцы, корсиканцы, словаки, хорваты, но в какой стране мира целые народы сажали в грузовики

и везли к черту в зубы? (А тех, в горах, в аулах, до кого грузовики не могли добраться, просто разбомбили — было и такое...)

Сейчас не бомбят, не вывозят, сейчас, наоборот, национальные фестивали и декады (впрочем, это и тогда было), традиционные праздники песни, все в народных костюмах — чем плохо?

А плохо то, что многие считают виновниками всего нас, русских. Оккупанты мы и всё! И в Чехословакии, и в Прибалтике, и в Средней Азии, и в Грузии, и на Украине.

И на Украине... Первый вопрос украинца-эмигранта ко мне, русскому из Киева, — вы кто? «Великонеделимец» или за «незалежну» Украину?

Об этом уже писал. Придется несколько развить — дошли до меня слухи, что кое-кому, кое-что не понравилось в первой части этих записок, там, где я об Украине пишу.

Подозреваю, что не понравился, сочли за клевету, мой рассказ о некотором увлечении возлияниями у нас на селе. Но на селе больше «свят», и «свята» эти, праздники, отмечаются всем селом, ни одной хаты с краю не остается. Да и без «свят» случается... Утром еще так-сяк, или по-украински «сяк-так», а уж к вечеру...

Будто в поддержку мне, моим рассказам, добралась до меня недавно, разными там окольными путями «документальна новела з роздумами» (на украинском языке) одного моего друга с Украины. Новелла с размышлениями о некоем рядовом украинском совхозе и директоре его, хорошем, работающем дядьке, по фамилии Вояк. Картина вырисовывается интересная, хотя и грустная. Очень даже.

Приведу из нее, из этой новеллы, одну только крохотную сценку из главки «Кляті пережитки» (проклятые, значит). Не перевожу, и так понятно будет:

«В один з днів знову сидів я в кабінеті директора. Покликав Вояк секретарку.

— Давай отих.

Увійшли п'ятеро парубків — я їх примітив ще в приймальні біля столика секретарки, тицями якісь папірці.

— Принесли об'яснительні? — спитав директор.

Дружно протягли ті самі бумажки. Вояк узяв, проглянув усі підряд, тоді розмашисто й бистро став на кожшій писати резолюцію. Я дививсь на хлопців. Один — худий, блідний і наче інтелігентний, другий — с тонким красивим обличчям, спокійно дивиться, обо чисто вбрані. Інші троє — явно з перепоею, в одного очи кров'ю залиті, аж згустки по білках, в другого подряпини на носі й на лобі.

— Ну, от так, друзі, — сказав директор. — Зіно, оце в приказ. Цьому — строгий виговор з останнім предупредженієм, чотирьох — на увольненіє. І щоб по обіді духу вашого тут не було! Оце я зараз іду в район, повернусь о четвєртї — щоб жодного не стрів.

Троє мовчки й незалежно залишили кабінет — вони тут, виявляється, після того, як проштрафилися в райцентрі, попали під суд

і дістали условие покарання, відбували тут у «Комінтерні» свій условний строк і оце вже він скінчився, та й в армію всім трьом, дома вже, мабуть, повістки лежать. Забув сказати: всі п'ятеро — шофери.

Той, що одержав догану, вклонився, дякуючи, і теж подався. А п'ятий лишився, став умоляти, пустив сльозу — і директор його «востаннє» простив, переписав резолюцію.

Я зазирнув у ті «Об'яснітельні». Один повіз до райцентру зоотехніка і, поки ждав, зустрів друга по армії, взяли по сто п'ятдесят, попав до міліції. Другий саме ото й побився тоді після свята з дружинником Володею під директоровим парканом. А троє условно покараних серед ночі завітали до завгара з'ясовувать взаємини, чимось він їх обидив, завгар — парубок дужий, ножів при хлопцях не було, та все-таки троє на одного, а під балабасом були добряче, то завгар до них не вийшов, а на ранок написав директорові доповідну.

(«Під балабасом» — то ще один синонім до семантичного ряду «напитися», «нап'янцюватися», «нажлуктатись», «набратись», «нарізатись», «надертись», «насмоктатись», «нализатись» — мабуть, іще згадається, коли посидіти, бо багато слів для означення того чудового процесу видобув наш народ із скарбниць мови своєї. «Ходити під балабасом», «набалабаситись» — це я тільки тут почув.»)

И это не «свято», это будни. И как пишет автор (перевожу по-русски):

«Страшная картина. Две недели в октябре 76-го пробыл я тут, в совхозе, и вот, послушайте, сколько раз директор разбирался с пьяницами. И это всё при мне, а сколько было и без меня... И не думай, читатель, будто совхоз, про который пишу, исключительное явление по пьянству. Везде так, без исключения. Спросите: почему не обращают внимания, не пишут об этом корреспонденты, сельскохозяйственные делегации, которые кто туристами, кто по обмену специалистами гостят в наших селах? Ну, про это и спрашивать не стоит. Само собой, при иноземных гостях пьянство как-то прикрывают. И не только пьянство, а так еще выставить себя умудряются, что даже специалисты-агрономы живут и месяц в колхозе, и два, а разобраться в самой реальности не в силах...»

А я добавлю — и не только на Украине такое. В России, может, и пострашнее. На Украине хоть сало есть (всяк все-таки своего кабанчика «годуе» — кормит, значит), а закуска, как известно, дело серьезное — жир обволакивает стенки желудка.

Но пьянство пьянством, самогон самогоном (уж больно он, черт, дешевый!), а дело не только в этой, охватившей весь Союз нерушимый от Белого до Черного (а может, от черного до белой, с маленькой буквы?), от Тихого до... Бог его знает докуда, до берлинской стенки, всю Родину нашу необъятную, поглотившей беде. Беда эта и повод, и следствие. А основа всех основ — ярмо.

И тут уж спорить грех, кому хуже — украинцу или латышу, узбеку или казаху, молдаванину или финну.

Од молдаванина до фина  
На всіх языках все мовчить...

*Т. Шевченко*

«Финляндизированному» финну все же лучше — хоть и Кекконен, но все же демократия — но любит он русского не больше, чем латыш или узбек. А вот русскому, пожалуй, хуже всех, может хуже даже, чем еврею, хотя за него, русский народ, и подымался однажды тост и к дипломатической или партийной карьере препятствий у него никаких. А хуже потому, что ходит он — и рязанский колхозник (вспомним того секретаря обкома, что Героя Соцтруда при Хрущеве получил, а потом пулю себе в лоб пустил), и мурманский рыбак, и уральский рабочий — всё под той же советской властью. И если не думает он днем и ночью о свободе украинского или эстонского народа — то только потому, что и своей не имеет. И кабанчика к тому же, чтоб «погодувати», где-нибудь на ярославщине тоже не имеет, и с курами-гусками тоже плоховато.

Русского, русское в Прибалтике, в Чехословакии, в Польше не любят, потому что оккупация, в каждой стране на свой манер, но пришла из Москвы. И русская речь — речь не освободителя, как казалось чехам или полякам к концу войны, а покорителя, как увидели они сейчас. И русский, советский для них, для большинства, одно и то же. А это не одно и то же...

Смею утверждать, что на Украине (а прожил я там всю свою жизнь) ненависти в народе к русским нет. И слова «москаль» не забыли (хотя и не говорят вслух) только разные Андріи Малишки и ему подобная интеллигенция из писательской среды, стоящей у штурвала соцреализма. В украинском народе — утверждаю! — нет ненависти к другим народам, ни к русским, ни к евреям, ни к цыганам. Он ненавидит власть, партию — это да! — хотя и примирился, прилачился к ней, знает, как обмануть. И с приусадебного своего участка (1%!) кормит картошкой, помидорами и огурцами всю страну (хотя домохозяйки и ругаются, что на Бессарабке, в Киеве, всё втридорога).

И опять-таки утверждаю (бо знаю!), как ни тяжело это признать, что вопросы «незалежності» и «Відокремлення» (независимости и отделения) деревенского дядьку волнуют куда меньше, чем где достать гвоздей или как вытащить своего Олесья или Петра из милиции, куда он угодил на 15 суток — дал в морду сыну председателя сельсовета.

Грустно, но так... А горстка тех, кто действительно олицетворяет собой украинскую культуру (не Дмитерко же, не Козаченко, не Богдан же Чалый), для кого Украина это Украина, а не УССР, одна из пятнадцати равных, сидят за решеткой. Светличный, Стус,

Сверстюк, Мороз, Чорновил, Лупынис. Их стойкостью, их силой гордимся все мы — и русские и украинцы.

Вряд ли кто-нибудь из них спросил бы меня, или Войновича, или Максимова, или Володю Буковского, «единонеделимцы» ли мы. Думаю, что просто неловко было бы такое спрашивать.

Я русский. Во всех поколениях. (Что-то с материнской стороны, среди прабабушек было «заграничное» — шведское, итальянское.) всю жизнь прожил на Украине, в Киеве. Ни разу, ни в семье своей, ни среди друзей, ни моих, ни семьи моей, не слышал я дурного слова о стране, о народе, среди которого жили. Даже в нелегкие для русских годы «украинизации». Мать и тетка с увлечением взялись за изучение украинского языка («А почему они раньше не знали?» — спросит не в меру яростный оппонент. — «А потому, что в городе жили, и вообще-то больше за границей, так почему-то заведено было тогда»), и обе блестяще сдали на первую категорию.

Когда я учился в школе, ей-Богу, никто из нас не интересовался, кто по национальности его сосед по парте (теперь только соображаю — Приходько был, значит, украинец, Муня Бергер — еврей, Сребницкий — русский, а может и поляк, а Гааг? Вот и не знаю. Кто ж он такой был?). Хорошо это или плохо, но мы были интернационалистами. А может, космополитами?

На Украине я прожил всю жизнь. И родился, и учился, и влюблялся (самой красивой, кстати, была чистойшей воды украинка, Наталка), и воевал, и первый танк увидел на берегу Оскола, а ранен был на Донце. И, если в детстве не очень любил Нечуя-Левицкого, то потому же, почему и Тургенева — их обоих «проходили». А Довженко не люблю так же, как и Эйзенштейна, — оба они, пусть и талантливые (тем хуже!), но из кожи вон лезли, чтоб угодить...

А Украину люблю, потому что люблю Украину (бедный Сосюра, как ему досталось за это, за его «Любить Украину»). Люблю, за что и били Сосюру, белые мазанки и стрыхи (их всё меньше и меньше). «Село на нашій Україні неначе писанко. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, білють хати, а на горі стоять палати...» Люблю украинских парубків и дівчат, красивые они. Люблю украинскую песню. И под хмельком всегда пускаю слезу, слушая «Коли розлучаються двоє, за руки беруться вони...» Люблю своего Ваньку Фищенко, командира пеших разведчиков, хулигана и алкоголика, но верного друга. Люблю Митьку Поправко, соседа моего по госпитальной койке, тоже не дурака пропустить по одной, а то и по две, а сейчас дважды, а может уже и трижды деда... Я никогда не говорил с ними, а они со мной, о «незалежності», но если она им и их друзьям нужна, я тоже за нее. Я как народ. Что ОН скажет.

И мне тогда будет легче. В моем «Titre de voyage» написано, что во все страны могу ездить «sauf URSS» — кроме СССР. Значит, в Киев нельзя. А тогда можно будет. Вот только когда это будет? Доживу ли?

Поговорили о евреях, русских, украинцах. Не настало ли время сказать несколько слов о французах, ведь я сейчас среди них живу.

О них говорят по-разному. Первая эмиграция, вторая, третья, сами французы о себе (может быть, критичнее всех). Критикуют их все. (Только моя мама не критиковала, любила, противопоставляла их всегда швейцарцам.) «Французы? Испанцы куда симпатичнее», «Французы? Предпочитаю англичан.» И всё же все едут во Францию. И живут в ней.

Францию — державу — изображают в виде женщины в фригийском колпаке, серьезной, холодной, неприступной. Кто избрал эту даму в виде символа? Во всяком случае, не француз. Слышал я, что какой-то скульптор лепит сейчас, то ли для монет, то ли для бумажных денег, профиль Брижит Бардо. Это уже более по-французски.

А что значит «по-французски»?

Всю жизнь для меня это был некий блеск, легкость, неприужденность, юмор, галантность, вопросы чести, gentilhomme-ство, своеобразный кентавр из д Артаньяна и мопассановского Бель-Ами. «Красное и черное» тоже французы. И Тартарен — тоже. Одним словом, нечто не угрюмое, скорее с улыбкой на лице, чем с нахмуренными бровями.

Оправдались ли эти мои ожидания?

Прожил я в среде французов два с половиной года, а в общем-то и не знаю. Круг моих друзей в основном русский, или франко-русский, язык мой хромает, к более тесному общению не располагает («Что вы, что вы... Вы делаете такие успехи!» Черта с два успехи, кое-как шкандыбаю, путая все глагольные времена...) И знаю я француза, в общем-то, скорее вприглядку.

Понял я, что он скорее замкнут, чем общителен. Не навязчив, в чужие дела нос свой без приглашения не суёт. Не враг собственности. Расчетлив. Цену деньгам знает. Не так болтлив, как я думал. (Впрочем, когда смотришь телевизор, видишь, что болтлив, могут часами сидеть «за круглым столом» и, как говорят у нас, не закрывать рта.)

К слову, должен признаться, попав в Англию, я был поражен словоохотливостью сдержанных, как я думал, флегматичных англичан. Куда там... Ехали мы как-то по английским дорогам. Запутались. Остановили некоего путника, шедшего нам навстречу. Не буду преувеличивать, но думаю, что он отвечал минут семь! Если восстановить, получится следующее. «Вы видите то дерево? Нет, не то, с развесистой кроной, а несколько левее его, метров так на пятьдесят-семьдесят. Так вот. Не доезжая до него метров сто, а может и немного меньше, вы увидите придорожный крест. Сразу за этим крестом будет дорога, очень красивая, обсаженная то ли буками, то ли вязами. Не обращайтесь на нее внимания и поезжайте дальше. За ней будет вторая дорога, тоже направо, вроде проселоч-

ной. На нее тоже не сворачивайте, а сверните на третью. Когда свернете, увидите вдаль что-то вроде замка. Я говорю что-то, потому что это вовсе не замок, а ферма. До этой фермы минуты три-четыре езды. Когда вы до нее доедете, вы увидите справа... » После этого еще три минуты рассказа, милая улыбка, приподнятая шляпа, и мы вконец запутались.

Француз не так обстоятелен, объяснит и покороче, и понятнее, и шуточку подпустит, но опять это смотря какой француз — нормандец или провансалец. Две большие разницы, как говорят одеситы. Кстати, одесит и ленинградец тоже две большие разницы — между прочим, бывают одеситы и русские...

Француза, точнее парижанина, я знаю больше по кафе и метро. И там, и там сижу и присматриваюсь, прислушиваюсь.

Именно в метро я обнаружил очень ценное качество французов — спокойствие и вежливость. Как-то попал я в дни забастовки. Поезда ходили, но с большими интервалами. Перроны набиты были до отказа. Как у нас, в Москве, в часы пик. И вот подошел поезд. Выплюнул часть пассажиров и стал набирать новых. Молча, без единого слова начали втискиваться. Втиснулись. Двери захлопнулись. Половина осталась на перроне. И опять-таки ни звука, ни слова...

Где ругань, мат, где знаменитое «Куда лезешь, вагон не резиновый. Не нравится, бери такси!» Где всё это, родное, московское? Нервы, нервы не те. Нет нашей советской озлобленности, грубости — первое, что бросается в глаза иностранным туристам.

Французы считают, что у них нервы тоже расшатаны, самая модная болезнь — это депрессия. А я говорю («не для стенограммы» — как бывало говаривал незабвенный наш Никита Сергеевич) — с жиру бесятся. Постояли бы в очередях (после работы-то), поискали бы яйца и колбасы, потаскали б всё это в двух авоськах (если нашли), потискались в троллейбусах и метро, обрывая себе и другим пуговицы (а где их, пуговицы, после достать?), вот тогда и поговорим о нервах. У вас свои заботы, знаем, *implôts* — налоги одолевают и вообще инфляция, но каждую пятницу в машину и на лоно, а летом яхточка или в Грецию — Вы куда летом собираетесь? На Майорку. А вы? Мы на Мартинику — вино там, не оторвешься...

А в Тбилиси, говорят, мне из Москвы писали, кроме кисляка ничего не найдешь. В Тбилиси...

Не ворчи, Некрасов, не жалуйся, не клевети на французов. Любишь же их! Ну, люблю, что поделаешь. Люблю сидеть в кафе на Сен-Жермен и смотреть на прохожих, на сидящих за столиками. Приятное зрелище. Молодежь. Свободная, непринужденная и одета весело как-то, разнообразно. Непринужденная... Это первое, что бросается в глаза нам, скифам. Очень здорово подметил это всё тот же Л. Владимиров в своей книге «Россия без



прикас и умолчаний». Глядя на целующуюся парочку, мы внутренне возмущаемся — нашли место, дома не нацеловались! И в этом всё наше (да, наше) неистребимое ханжество. Мы, конечно, осуждаем супружескую неверность, но это — видели, сидят в метро и целуются — еще больше. Некрасиво, не положено.

Так же (опять же у Л. Владимирова), как и отношение к деньгам. Неловко открыто сказать, что ты переходишь на другое место потому, что там больше платят. Ты об этом думаешь и, конечно же, радуешься, но говоришь, что там интереснее работа. Ханжа и всё. А француз не ханжа — любит деньги и говорит об этом. А мы тоже любим, но говорим, что не в деньгах счастье, плевали мы на них. Но не плюем.

А знаете, почему я еще люблю французов? Потому что они говорят по-французски. О французский язык! Слушаю и не наслушаюсь. Даже эти полуинфантильные интонации с повышением к концу фразы. Сколько в них приветливости. Даже в этих заученных «Merci, monsieur» в устах булочницы.

Что делать — в немецком мне кажутся все слова утомительно длинными — Strassenbahnhaltestelle, например, обычная трамвайная остановка, в английском мучает г не как г и что «а» читается как «е», «е» как «i», «i» как «ай», а во французском... Впрочем, и во французском свои идиотства. Ну почему, короткое, сжатое «Жак» по-французски Jacques, да еще во множественном числе, и Georges во множественном, кроме метро George V (английский король не Жоржик, что ли?). И уж совсем загадочный umlaut на ü в Montparnasse-Bienvenue. Говорят, что знаменитый строитель парижского метро Fulgence Bienvenue очень любил рассказывать всем происхождение этих двух необъяснимых точек в его фамилии. Судя по его внешности, уютный старичок с седенькой бородкой, он, вероятно, очень подробно и со всякими примерами об этом рассказывал. Прекрасный язык!

Прекрасный язык! Ничего меня в нем не раздражает. Даже то, что житель Fontainebleau (т. е. я сам сейчас) называется Belifontain'ом, а чудесного, живописного Монако — монегаском. (А по-русски, кстати, как?) Ну что ж, у нас тоже есть свои куряне, пермяки и архангелогородцы.

Да здравствует же великий французский язык! И да будет стыдно мне, познавшему его даже раньше русского, и забывшему его, и оправдывающему всякими жалкими оправданиями свои ничтожные успехи в его освоении.

Но есть одно, что во Франции для меня более чем невыносимо, чего боюсь, как огня, всяческими ухищрениями стараюсь избежать. Это французский обед. Классический французский обед, на который письменно или по телефону приглашают за две недели, и собраны будут именно этого круга, этих интересов люди, и местоположение гостей тоже будет продумано, и всё будет очень,

очень мило, с аперитивом, с орешками в гостиной, а потом «прошу к столу», а на нем уже зажжены свечи и всё немислимо красиво расставлено, разложено, нарезано, благоухает, и нам, с другой стороны планеты, становится страшно, а вдруг не тем ножом что-то там разрезал или от растерянности выпил то, в чем пальчики положено полоскать.

И часа полтора или два сидишь за этим столом, ведя ни на минуту не прекращающуюся беседу о том, о сем, о качестве того или иного блюда на столе, проявляя особый интерес к методу самого приготовления, об особенностях поданного к столу вина, ну и, конечно же, о немислимой в этом году парижской жаре и о том, кто, куда и как собирается в августе поехать. И никто почему-то от этого потока слов не устаёт, и звенят бокалы, вилки и ножи, передаются из рук в руки блюда с индюшкой или салатом, и очень удивляются тому, и долго об этом говорят, что в России салат едят не отдельно, а вместе со вторым, а сыр вообще не принято за обедом, здесь все просто застывают с открытыми ртами — а когда же? вечером за чаем? — и недоуменно пожимают плечами. И вот тут-то, когда вы уже переполнены и тайно расстегнули верхнюю пуговицу на штанах, с очаровательной улыбкой предлагают — вам какую, *Stolitchnaïa* или *Vyborova*?

Но не радуйтесь, напиться не удастся, все вдруг встанут (вы, конечно, уроните салфетку на пол и испугаетесь) и удалятся в соседнюю комнату пить кофе и курить. И еще долго-долго вы будете сидеть в той комнате, изнывая от желания всех убить и выпрыгнуть в окно, и пить кофе, зная, что ждет вас бессонная ночь, и соглашаться, что это действительно бесчеловечно так взвинчивать цены на кофе (о, эта Бразилия, наш приятель недавно оттуда приехал, рассказывает...), и, хотя вам и этого приятеля хотелось бы обезглавить или четвертовать, вы еще не менее часа будете сидеть на этой идиотской, низкой кожаной подушке, с которой только после третьей попытки можно встать, и всем будет абсолютно ясно, что вы не уходите, хотя уже далеко за полночь, только потому, что вы просто не можете себя оторвать от всех этих милых, интересных, таких небанальных людей, что вы готовы были просидеть всю ночь, и вообще это один из самых удачных, получившихся вечеров за последние три-четыре, нет, что вы, шесть месяцев... Приходите, приходите... Спасибо, теперь вы к нам... О-о-о-ох!

А вот в кафе — это по мне. Вы встретили в метро приятеля и он сказал вам: «А не пообедать ли нам вместе?» И вы откладываете свое дело на час (вы, русский, не привыкли еще в это время обедать, ложитесь поздно, встаете еще позже), но приятель вам симпатичен, и знает он тут тоже симпатичное местечко, и вы идете без всякой опаски. Мне нравятся все парижские кафе! Все без разбора! И «мое» на углу, с неизменным Робером, и против *Institut des Beaux-Arts*, тесное, набитое студентами и молодыми художниками,

где, чтоб выйти из своего угла в туалет, нужно поднять всех соседей и никто на тебя за это не обижается, и другое, где-то возле бывшего «Чрева Парижа», двухэтажное, с длинными столами, с ковбоями и медными тазами на стенках, и тонушую в полумраке, тихую «Лондонскую таверну» на рю дю Сабо, возле Сен-Жермен-де-Пре, где пиво только английское, но водку можно достать всех сортов. И самое обычное, угловое, вроде «моего», куда забегают на перерыв рабочие с соседней стройки, где в эти часы всегда весело и шумно, где за стойкой проворно орудует хозяин или его жена и, как правило, путается под ногами и лает громадный хозяйский пес, а у витрины очередной балбес громыхает в настольный футбол. Вы это кафе прекрасно знаете по французским фильмам, возможно впервые именно в нем встретились с Жаном Габеном..

Жан Габен умер. Ушел из жизни, из мирового кинематографа может быть самый французский из всех французов. Я отсылаю всех, кто его любил, к книге Инны Соловьевой — там сказано о нем всё, мне нечего добавить. О себе же скажу — я боготворил его. И молодого, не находящего себе пути в жизни из «Набережной туманов» или «Пепе ле Моко», и строгого отца семейства в «Окраине Парижа» (это там, в кафе, на стуле, изображал он своего сына-велосипедиста) или необщительного, старого, обманутого вроде бы Клемансо в сименоновском «Президенте». И, конечно же, на всю жизнь остался в нашей памяти загадочный, обаятельный преступник или убийца «У стен Малапаги», фильма, перевернувшего всех нас, где мы и понятия не имели, кто этот замечательный, полюбившийся нам актер, а у Габена, уже всемирной знаменитости, это был чуть ли не двадцатый фильм.

Ах, Габен, Габен... И Фернандель, и Бурвиль, и Жерар Филипп. Нет уж их никого. Тех, по которым узнавали и полюбили мы Францию.

А теперь я в кино не хожу. Так, иногда, если уж очень о чем-то говорят. Может быть, потому что, ходя дома, у себя, на «заграничные» фильмы, мы знакомились, упивались (или наоборот?) такой незнакомой, чужой, непривычной жизнью, а теперь она рядом с тобой живая? Может, поэтому? Может, оно просто измельчало? Или я постарел?

Вот так-то...

Ну, а по поводу д'Артаньянов, Бель-Ами и Тартаренов, ты где-то в начале о них говорил? Встречался ли ты с ними? С д'Артаньяном, прямо скажу, нет. С мопассановским Дюруа? В метро, на улице видал похожих, усатых, довольных собой, в душу же не заглядывал. Ну, Тартареном, по-моему, немножко я сам стал...

Ладно, а французенки, парижанки? Те самые, о которых вся мировая литература. И Ренуар, Дега, Тулуз-Лотрек?

Смущенно потупляю взор. Приедь я сюда лет на тридцать-двадцать раньше, может. А сейчас... Сижу в том самом сен-жер-

менском кафе, смотрю, люблюсь. И поднимаясь от своего дома вверх, к метро Пигаль, поглядываю, будто так, невзначай, на крашенных и некрашенных блондинок в юбочках чуть пониже пула и сапогах выше колена...

Да, есть в парижанке любой профессии, любого возраста то, что привлекало в ней всегда и всех, от Тулуз-Лотрека до русских князей и представителей третьей эмиграции мужеска пола, как бы они от этого не отрекались, врожденное, с молоком матери, изящество, непринужденность и умение любую тряпку превращать в туалет. И еще что-то...

Вот идут двое. Он и она. Сразу и не поймешь, кто из них девочка. Оба в джинсах, оба длинноволосые. Идут в обнимку. Остановились, поцеловались. И плевать им на всех. И прохожие не оборачиваются. Только я внутренне улыбаюсь и завидую.

\*

P. S.

Случилось так, что я совершенно неожиданно окунулся во французскую жизнь. Волею судеб занесла меня нелегкая (операция — появился на теле еще один шов) в небольшой госпиталь маленького уютного эльзасского городишки Альткирх. Всё медицинское было проделано доктором Герстом на самом, как у нас говорят, высоком профессиональном уровне, а после госпиталя две недели я «прокантовался» в гостеприимном, истинно французском доме доктора Клотца. Дом великолепнейший, двухэтажный, сад со всякими там разноцветными ирисами и цветущими рододендронами, отдельная комната, тишина, покой, красота. Но главное — дух дома. Хозяин — Пьер — негромкий и ироничный, с утра до вечера в госпитале, она, Габи, Габриэль — хозяйка, всегда веселая, изящная, красивая, почему-то никогда не устающая (раз в неделю — йога, может поэтому). И еще две мамы — его и ее. И немислимых размеров, страдающий одышкой пес, Юрий («Доктор Живаго!»). И еще один непременный член семейства — Володя Загреба, молодой врач из Ленинграда, инициатор, вдохновитель и один из участников вмешательства в мои внутренности. К слову скажу, что французы полюбили его не только потому, что он хороший анестезист, а потому еще, что умеют учуять и оценить то хорошее, что бывает все-таки у нас, русских.

Прожил я в этом доме две недели и наконец-то узнал, что значит жить у Христа за пазухой. Вот именно так, как у Клотцев. Даже ненавистный французский обед был здесь мил и уютен, а это уже говорит о чем-то важном, поверьте мне.

Нет худа без добра. Две эти недели (а до этого и госпиталь, но там было не так блаженно) окончательно убедили меня в том, что французы именно такие, какими я их представлял себе — см. Доску Почета: люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в гла-

зах. Ко всему этому добавлю еще, что милые хозяева мои во время войны принимали самое деятельное участие в Соппротивлении и было им тогда не больше семнадцати лет... А я всё еще ищу д. Артаньянов...

\*

На этом дифирамбе французам и закончить бы. Вот, мол, как хорошо и уютно мне здесь, во Франции. Но как-то так получается, что писания мои прерываются всё время чтением, а прочтенное к чему-то возвращает и появляется что-то новое, задевающее тебя, будоражащее, и весь строй вещи нарушается.

Вот и сейчас этим новым, будоражащим оказалась книга, ответ Владимира Лакшина Солженицыну. С обоими я знаком, обоих с интересом читал («Теленка» даже дважды), к тому же неплохо знаю и «Новый мир», все перипетии его нелегкой жизни при трех редакторах (Твардовский, Симонов, Косолапов). Триумфальное появление «Ивана Денисовича» происходило буквально у меня на глазах, а «По обе стороны океана», за которые мне крепко потом досталось от Хрущева, напечатаны были в том же № 11 за 1962 г., в котором и «Иван Денисович».

Не хочется мне сейчас вмешиваться в полемику (то ли это слово?) между Лакшиным и Солженицыным. Хотя мера субъективности обоих видна мне как никому другому. Сверхъестественный эгоцентризм одного, в очень искренней, но, увы, не всегда справедливой и корректной книге, вызвал вполне понятную реакцию другого. Первый не очень-то стесняется в выражениях и эпитетах по отношению к живым еще персонажам своей книги, второй, будучи одним из них, вполне естественно обиделся (и за себя, и за своих друзей), но, защищаясь, отходит, увы, от истины.

Вот об одном из этих очень огорчивших меня «отходов» в книге Лакшина я и хочу сказать несколько слов.

Речь идет об Анне Самойловне Берзер, не только сотруднице, как сообщает нам Лакшин, а и заведующей в свое время отделом прозы «Нового мира».

Вряд ли кто-нибудь может обвинить меня в нелюбви к Твардовскому или «Новому миру». Твардовского я любил и даже преклонялся перед ним (и до сих пор преклоняюсь), несмотря на частые ссоры и конфликты. К тому же очень многим ему обязан, со времен «Окопов Сталинграда». «Новому миру» я тоже многим, почти всем обязан, начиная с 1954 года. Печататься в нем было честью, и этой чести он меня удостаивал. Одним словом, любил люблю и горжусь тем, что был приобщен.

Но... Будем говорить начистоту, — были на этом солнце и кое-какие пятна. Культ личности, например. Был, что поделаешь, это и Лакшин признает. Заслуживала ли эта личность культа? Да. И всё же культ есть культ, со всеми своими изъянами. «Началь-

ство» (а оно, увы, было именно им и дистанции с «рядовыми», т. е. редакторами, придерживалось весьма строго) тщательно оберегало Главного. И всегда (ну, скажем для мягкости, почти всегда) поддакивало ему. Кто очень уж рьяно, кто тоньше и умнее — тот же Лакшин, например. Возражал, и даже часто, один только Александр Григорьевич Дементьев, который, кстати, частенько заступался и за меня в наших нередких спорах с Трифоничем — помню, помню, никогда не забуду.

И было в «Новом мире» два этажа (в новом помещении, в тылах кинотеатра «Россия») — верхний и нижний. Верхний — «они» — Редколлегия, нижний — «мы» — редакторы и авторы. И притягательным центром, магнитом нашим на этом этаже была Анна Самойловна Берзер или просто Ася, как звали и зовут ее все в Москве. К пяти часам, к концу рабочего дня, ежедневно (!) к ее столу, у окна, в большой комнате направо от лестницы, стекалась вся «прогрессивная» литературная Москва. Узнать о судьбе рукописи, выслушать указания Главного или цензора, а в основном посудачить, «что слышно?». Войнович, Коржавин, Лева Левицкий, Домбровский, я, грешный, — эти, как правило, почти как на дежурство, кроме того, всегда кто-нибудь из приезжих (тогда, да и не только тогда, бег в «Гастроном»), иной раз удостаивал вниманием и Александр Исаевич (бега в «Гастроном» тогда не было). Но ни разу я не видел в этой комнате ни Твардовского, ни Лакшина и вообще никого из верхнего этажа. Туда ж поднимались как на Олимп.

Верховным Главкомандованием, штабом, мозгом и тем органом, который заведует хитростью и изворотливостью, был верхний этаж. Сердцем и душой, во всяком случае «прозы», был нижний, а в нем Ася. В пятчасовые наши «файф-о-клоки» все мы рады были перекинуться словечком, но, когда доходило до «дела», мы умолкали и слушали Асю. Под «делом» подразумеваю «дела» литературные. Не задумываясь скажу — лучшего редактора в Москве (а значит, и на всем земном шаре), чем Ася, нет. Иностранному читателю этого не понять, но в нашей стране все знают — без редактора нельзя. Институт этот, редакторов, придуман для того, чтобы писатель не наломал дров. Он — писатель — творец, витает в облаках, многого не понимает, вот и необходимо направлять его, подправлять, подсказывать правильное, не давать отклоняться. И, как правило, он — редактор — трус и перестраховщик, верный исполнитель указаний свыше. Но есть и другая разновидность, довольно редкая — редактор-друг, товарищ, единомышленник и в чем-то тоже хитрец. Вот таким редактором и была Ася. К тому же умным, с безукоризненным вкусом и настоящей, высокой культуры. О себе скажу — все ее замечания принимал безропотно, не пикнув. Из-под ее руки твоя рукопись выходила компактнее, лаконичнее, всю воду она выжимала безжалост-

но. К слову сказать, и у Александра Исаевича тоже. Отсутствие рядом с ним теперь Аси очень чувствуется.

И вот об этом-то человеке, без которого не было б той прозы, которая и создала имя журналу (кстати, не говоря уже о Солженицыне, Шукшин тоже на совести Аси, а сколько еще других), В. Лакшин позволил себе сказать: «Амбиции ее были велики, притязания обширны — куда больше той скромной роли, которую она в редакции выполняла... Она не испытывала безразличности к двойной игре, хотела понравиться авторам за счет редколлегии, плодила среди них опасения, недоверие, переносила слухи и тем еще больше осложняла положение Твардовского и журнала...»

Я похолодел, прочитав эти строки. Стало как-то стыдно за автора их. Ведь это сказано о человеке, для которого «Новый мир» был всей его жизнью, а Твардовский кумиром, при всех его слабостях и незаслуженно прохладном отношении к нему, т. е. к Асе. Да, Твардовский не всегда разбирался в людях.

В истории с «Иваном Денисовичем» В. Лакшин тоже малость передернул. Честь мундира, что поделаешь. Прав Солженицын. И я тому свидетель. Да, Ася обыграла редколлегию — ту самую, которая оберегала Александра Трифоновича от всего опасного и взрывного, — и положила рукопись на стол. Ручаюсь головой, окажись рукопись не в Асиных руках, а допустим, Кондратовича или даже самого Дементьева, не попала б она пред светлые очи... Гибель журнала, побойтесь Бога, он нам дороже всего, а А. Т. такой увлекательный...

Нет теперь этого журнала. Осталась одна обложка. А был! И свое великое дело для русской литературы сделал. И тем обиднее, что человек, так близко стоявший к кормилу этого корабля, столь незаслуженно и несправедливо обидел одного из лучших и преданнейших членов его команды.

Но мы-то, первый этаж, знаем, как было на самом деле. И запомнили, Ася! На всю жизнь!

Весна вторглась в мой дом, в мою комнату. Уже давно, дней десять, как распустилась она в виде крохотных, бледно-зеленых листочков на подобранных мною в парке и поставленных в воду ветках каштана, а сейчас и под моим окном на старом каштане появились зеленые лапки. А ведь это середина марта. На календаре 18 марта — День Парижской Коммуны. Когда-то мы его праздновали, не ходили в школу. А сейчас за два с половиной года не удосужился даже на Пер-Лашез сходить, поклониться Стене Коммунаров. Забыли мы их. Всё забыли. Другую Коммуну строим...

В открытое окно влетают запахи улицы, больше бензина, чем распускающихся деревьев, и всё же весна.

Кончай работу! Сложи свои карандаши (второй уже десяток исписал), положи на листки бумаги что-нибудь тяжелое, чтоб не

разлетелись, ножницы, например, и на двор. Дышать, дышать! Ногами подвигать! Засиделся...

И я отправляюсь в прощальное турне по милому, тихому городку, приютившему меня на два с чем-то месяца этой незаметно как перешедшей из зимы в весну незабываемой поры года. Уже знакомые дома в два-три этажа, с ровными, скучными фасадами, с обязательными, почти всегда закрытыми ставнями, с примелькавшимися магазинами, гаражами, вывесками. «Aux myosotis». — «У незабудки». Цветы. Здесь в этой витрине я впервые в жизни увидел живую орхидею, цветок Оскар Уайльда, вставленный им в петличку и ставший с тех пор неким символом. А чуть дальше мой любимый «Antiquités», правда, смотрю только, не покупаю, хотя каждый раз, проходя, гляжу, стоит ли еще соблазнительный, длинный, деревянный стол, почти такой же, как у нас в Марлотт. Стоит, всё стоит, и рядом с ним огромные кузнечные меха каких-то там времен на металлической подставке-решетке. Три с половиной тысячи! А вот всего за сто франков сегодня только появился и посреди тротуара поставлен — ветхий, вроде обитый кожей, со ржавыми замками сундук из «Острова сокровищ». Дублонов, ни двойных, ни простых, увы, уже нет.

А вот и моя булочная, направо газеты — «Bonjour, monsieur, au revoir»...

Кончается моя прямая, как стрела, Rue de France, налево Grande Rue, Крещатик, но нету почему-то очередей у местного «Ювелир-торга» (а! вероятно, чешский хрусталь со двора дают), а у магазина, где торгуют мясом (почему-то никак не назовешь его мясной лавкой), у порога, прямо на тротуаре распростертый олень, с закинутой головой, с закрытыми глазами и ветвистыми, покрытыми плюшем рогами-вешалкой. А иногда и царь лесов валяется, кабанище с такими вот клыками. Еще квартал и ружья, ружья, ружья, двустволки, кинжалы, пистолеты. Сюда бы Гелия Снегирева или еще одного нашего общего киевского друга, который скромно о себе говорил, что только в трех вещах он знает толк — в лошадях, вине и оружии. Они вот постояли бы, поцокали языками, поговорили бы на своем непонятном мне охотничьем языке (думаю, что у каждого из них в их биографии зайца два, а то и больше есть), а я что, только глазами хлопаю, я даже в ворону из своего ГТ не попал.

А если пройти мимо церкви, на соседнюю, параллельную улочку, есть там магазин для chevaliers, наездников. Это уже высший свет... Молодой граф Оливье Лорагюз д'Антрег (навек запомнилось мне это гордо-заманчивое имя из «Пожирателей огня» Луи Жакколию, роман начинается с того, что он, граф, обнаруживает у себя на письменном столе, в шкатулке, черный шнурок туговдушителеев, знак, что от приговорен к смерти...), ласково похлопал своего верного любимца по крупу и, легко вскочив в седло,



ровной, неторопливой рысью направился в сторону замка виконтессы Виолетты дю-Мон де-ла Кур...

Я подолгу рассматриваю все эти седла, стремена, бархатные наездничьи шапочки с гербами и вензелями, изящные стэки с рукоятками из слоновой кости в виде лошадиных голов и невольно вспоминаю, как проклят я был своими конными разведчиками, которых уговорил как-то разрешить мне поехать вместе с ними куда-то, и как, проехав 40 километров (впервые верхом!), потом раком добирался до своей хаты, начисто стерев задницу себе и спину бедной кобыле, на всю жизнь, думаю, запомнившей незадачливого советского мушкетера. Разведчики не простили б мне этого, не начнись наше великое наступление на Харьков.

Сворачиваю на Парковую улицу, по гулкому булыжнику — Двор Генриха IV — и выхожу к озеру с лебедями. Замок с его флюгерами и острыми крышами остается позади.

Весна, весна...

Не наша, о нет. Никаких капающих сосулеч, никаких веселых ручейков с первыми бумажными корабликами... Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и гомон народа и стук колеса... Ничего этого нету. Всю зиму трава зеленая. И вечнозеленые кустарники вдоль дорожки. Бреду, по этим дорожкам. Никого. Один. Везде, везде листочки. Крохотные, чуть-чуть побольше на незнакомых мне деревьях и кустах. Склонились древние ивы... Они совсем уже зеленые. И такое же светлое, нежное, пушистое на кленах, — по-моему, это клены. А платаны, гиганты в два-три обхвата, еще голые, только шарики висят. Даже я при плохом своем обонянии (курю!) улавливаю этот запах весны, сырой земли, листочков и легкого ветерка, смешивающего все это вместе.

Сосны, кедры и что-то очень-очень высокое, пирамидальное, хвойное, не секвойя ли?

Английский парк с бархатными лужайками вливается в регулярный, французский, версальский. Партеры, пруды, каналы, бесконечные, уходящие в перспективу ряды голых еще подстриженных деревьев — кто из Людовиков придумал это дикое кощунство?

Сажусь на лавочку. Закуриваю. Хорошо. Птички щебечут. А какая-то, из дальнего леса у-у, у-у, кукушка не кукушка...

Пруд. Гладкий, гладкий. И дрожат в нем розовые облака и крыша королевского замка. Вокруг зеленые пирамидки подстриженных кустиков. Версаль, маркизы, Александр Бенуа...

Как-то гуляла по Версалью группа советских туристов. То ли писатели, то ли художники. Смотрят, сидит на скамеечке старичок, что-то рисует. «Смотри, старый хрен сидит. Можно подумать, что Александр Бенуа»... Старичок услышал, потом выпустил свои мемуары — вспомнил этот случай. Это был Александр Бенуа.

Вот и я, как и он, сижу на скамеечке, покуриваю. А может, тоже взять альбом, потряхнуть стариной? Давно собираюсь, даже угольки купил и какую-то особую пастель, после которой не надо фиксировать...

Но это потом, в следующий раз.

А сейчас...

Тучки небесные, вечные странники...

Нет у вас родины, нету изгнания...

А вот и есть! И хвала ему! Изгнанию!

Был вот мальчишка. Московское детство, Сокольники. Отец в лагере. Потом на фронте. Погиб. И понесло пацана по стране. Всё повидал, всё познал. И решетку, и колючую проволоку, и тайгу, и черную ночь, и водку, и дружбу, и цену деньгам, и дружбе тоже. И стихи писал. Хорошие. «Нам атомный шантаж не нужен, идем мы смело сквозь огонь и шквал. У нас в руках великое оружие — тысячелистый марксов «Капитал»... И крутило, выжимало, било по башке, носило, как щепку, по всей стране. И вынесло...

И завтра я его увижу. Ну как? — спрошу. — Нормально...

А не будь его, контрабандиста и чифриста, не преодолел он всю муть и грязь, не увидь он сквозь сплошной туман некую звезду путеводную, не говорили бы сейчас в Москве — «Достал!» — «Достал!» — «Дашь на ночь, кровь из носа, завтра принесу...», и не листали бы, не листали этот маленький, беленький томик (а их уже двенадцать, а говорили, не вытянет, не выдюжит), да, не будь на свете этого несколько располневшего, с усталым лицом мальчишки из Сокольников, не было бы этих томиков «дашь на ночь» и других, в голубых обложках, без атомного уже шантажа, огня и шквалов, а дороги, поезда, снег, вьюга, встречи, разлуки с людьми, сердцами, оборванными жизнями, дорогами, ведущими в неведомое, с горькими расставаниями и прощанием из ниоткуда.

Да, я за изгнание, коль Родина (та самая, с большой буквы пишущаяся), мальчишку этого назвала врагом и вытолкнула в три шеи. Я за изгнание!

А вот и Родина!

Был молод, красив, преуспевающ. И дядя — знаменитый писатель, из тех, что по два романа в год про честных, принципиальных, несгибаемых. Сам стал писать. В Союз приняли. А потом спутался с негодями, не с теми водку стал пить. И сказал ему тогда всё понимающий дядя: рви с этими гадами, разоблачи на весь свет, вот тебе моя рука. А он не захотел. И прогнали его отовсюду. И жена испугалась, бросила. И болен он. И пишет. И опять не то, не для народа. В грязном белье копается, прошлое ворошит, которое никого не интересуется.

И еще о Родине.

Тоже был молодым, тоже красивым. Даже очень, говорят. Девушки тех лет, малость повзрослевшие, вспоминают — викинг,

глаза, как озера... Стихи писал. Читали люди, похваливали. А потом, с кем не случалось, сдружился с тем самым змием, зеленым. Стал загибаться. Но не оставили его друзья в беде. Не те, с которыми пил, дружил, а настоящие, знающие, где правильный путь. И повели его по этому пути. И как идти по нему, рассказали. И пошел он. Вернее, сел в кресло. Даже сразу в несколько. А в одном из них сидел недавно еще большой человек и большой поэт. А теперь в нем он, распухший, расплывшийся, и не озера уже глаза, а щелочки, но видит он ими зорко, ошибок не допускает, умеет черное от белого отличить и других этому учит. А стихи? А Бог его знает, никто их уж не читает...

И проходят мимо меня судьбы. Одна, другая, третья. Живых, мертвых, полумертвых. Чучела орлов, львов, шакалов, гиен. Лауреаты, соцгерои, солдаты мира... Но среди них, как оазисы, островки среди моря ровного асфальта, зеленые побеги, листочки, а иногда и тополек, чудом выросший из каменных развалин. И верю я, что островки эти сольются, превратятся в архипелаг — не тот, страшный, другой — и зашумят над нашими головами могучие кроны деревьев, когда-нибудь и в два, и в три обхвата...

Весна, весна...

Всё распускается. Кусты покрылись белым, точно изморозью. А эти подстриженные, тугие, веточка к веточке, листок к листку, лабиринтом вокруг полянки. И пахнут они югом, Крымом, Ялтой... И хочется петь... И стихи писать...

Раскрылся розовый бутон,  
Приник к фиалке голубой,  
И легким ветром пробужден,  
Склонился ландыш над травой.

Пел жаворонок в синеве,  
Взлетая выше облаков,  
И сладкозвучный соловей  
Пел детям песню из кустов.

Цвети, о Грузия моя,  
Пусть будет мир в твоём краю,  
А вы учебою, друзья,  
Прославьте родину свою...

Красиво, правда? И трогательно.

Но почему Грузия? Ведь ты во Франции сейчас...

Во Франции, во Франции. Но писал-то их не я. Писал другой и давно. А прочел я их недавно, года три тому назад. Лежали они

под стеклом в большом музее в городе Гори. И напечатаны были в журнале «Иверия», в 1893 году. И подписаны Сосело...

Говорят, автор их пришел к знаменитому грузинскому поэту и показал свои стихи. Тот прочел будто и сказал: «Нет, не твое это дело, выбери другую дорогу.»

И юноша выбрал, пошел другой дорогой.

А мама его, когда он стал царем, всё жаловалась, вздыхала: «Так хотела я, чтобы ты стал священником, так хотела»...

Какой страшный конец. Под занавес и вдруг об этом, о нем Кончил бы могучими кронами дерев.

Нет, не кончу могучими кронами дерев. Кончу страшным. Самым страшным, что мне приходилось читать. А сокольническому мальчишке и видеть, и слышать...

Повстречался ему на жизненном его пути, в недрах Сибири, малый, истопник у начальства, на вольном хождении. И не пожаловался, а наоборот, вот послушайте:

«Чего я в своей деревне не видал, макухи, что ли? Сколько себя помню, досыта не ел, в черном теле держался, а здесь хлеба от пуза, рыбы от пуза, опять же уважение: «Вася, будь друг, сделай, Вася, голубчик, не забудь, принеси». Голубчик! А ты говоришь! В деревне-то я, окромя мата, и не слыхивал ничего. Что ни говори, а для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде, как для вас дом отдыха. Норму выполнил — пайку отдай, свое отработал — и на боковую. А в колхозе, как левая нога у начальства захочет. Захочет — даст, захочет — не даст. Иди в лес, серому волку жалуйся, вот и вся конституция.

— Все-таки — на свободе.

— А чего мне с нее, с этой свободы, юшку пить или щи варить? Много я ее в колхозе видал? Паспорта нету, в город съездить — и то председателю за справку бутылку ставить надо, чуть что — в зубы, а гульнешь с горя, участковый здрасте-пожалста, за широebinу и в район. Нет, братишка, даром она мне не нужна, твоя свобода, видал я ее в гробу, в белых тапочках, я жрать хочу...»

Читали ли вы, слышали ли вы, видали ли вы что-нибудь более страшное? Для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде как для вас дом отдыха.

Сколько жизней, прекрасных, чистых, отдано было за нее, за Свободу. А он ее в белых тапочках видел...

Спасибо тебе, родная, самая поэтичная, это твоих рук дело, спасибо тебе.

А кончу всё же могучими кронами дерев. Нет, не ими, они еще не видны, а вот побеги, листочки, чудом выросшие топольки есть, их можно щупать, нюхать, целовать. И я их целую... И никакая сила в мире не в силах их вытоптать, сломить! И не думай, не мечтай об этом, родная, поэтичная... Не затопчешь! В них та сила, которой ты, как чёрт ладана, страшишься — ПРАВДА!

## СТИХИ ИЛЬИ РУБИНА

### *А нам с тобою не забыть вовек...*

... Мною движет бессмысленное упрямство человека, который потерял ближайшего друга, упрямство, заставляющее попытаться еще хоть на минуту удержать рядом его ускользающий из реальности, уже становящийся туманным живой облик. Как и многим тысячам людей до и после меня, мне все кажется, что можно рассказать другим, каким был ЭТОТ ЧЕЛОВЕК — этот, единственный, неповторимый...

Рассказать, как он появлялся — слегка наклонившись вперед, словно падая или летя навстречу, — входил быстро, громко и с первой минуты начинал говорить — неудержимо, торопливо, всегда взволнованно, всегда страстно, иногда ослепляя бешеной яростью какой-то крохотной обиды, засевшей в его сердце, иногда обжигая нестерпимой искренностью признаний, извлеченной с самого дна души...

Рассказать, как он спорил — словно дрался на шпагах: мгновенно парируя любые возражения, извлекая аргументы из самых неожиданных тайников огромной своей книжной культуры или на ходу импровизируя их с удивительным и остро-экзотическим изяществом... Как он острил — всё превращалось в предмет для каламбура, для неожиданного «сближения предметов далековатых»: фамилии, вывески, люди...

Он еще не успел осмотреться в Израиле, как уже сообщил мне, что здешние фабрики делятся на «бейт-хорошет»\* и «бейт-нехорошет». А незадолго до смерти, задумчиво взглянув на густобородого русского еврея, жевавшего питу\*\* на Тахане-Мерказит\*\*\*, вдруг заявил: «Веселие Руси есть пита!» — и тут же захохотал, обнажив свои белые, длинные, конские зубы в черной рамке бороды и усов.

Он говорил, слегка наклоняясь к собеседнику, словно нависая над ним, и оттого казалось, что его речь льется

\* «Бейт-хорошет» (ивр.) — фабрика.

\*\* Пита (ивр.) — лепешка.

\*\*\* Тахана-Мерказит (ивр.) — главная автобусная станция.

откуда-то сверху, как неудержимый поток, и ее нет возможности остановить. «Я позволю себе обратить твое внимание...» — вкрадчиво начинал он, и можно было не сомневаться, что за этим последует серия ядовитых сарказмов, уничтожающих сравнений, едких обвинений и страстных филиппик. «Я не понимаю, как ты можешь...» — взрывался он, и можно было ожидать, что за этим последует беспощадный анализ человеческих отношений, причин поступков и мотивов речей. Но что бы он ни говорил, как бы ни был порой несправедлив или даже нетерпим к людям, ему всё можно было простить, потому что им руководила бескорыстная страсть — нравственное чувство...

Я узнал его всего два года назад, в Москве, на квартире Воронеля, перед самым отъездом создателя того журнала\*, который так неожиданно и навсегда связал наши жизни. Были бесконечные разговоры на темных окраинах Москвы и в грязных переулках Владимира, было постепенное узнавание, притирание, сближение, сопровождавшееся неизбежным непониманием, взрывами, спорами, доходившими до криков и взаимных оскорблений...

Сегодня всё это мне кажется радостью — по сравнению с его отсутствием. Ведь была работа, доставлявшая наслаждение, и была жизнь, полная до краев, несмотря на ее искусственную «отгороженность» от «реальной советской жизни».

Был круг людей, о котором Илья так искренне и беспощадно сказал в своей последней статье о творчестве Бориса Хазанова\*\*, и были обыски, допросы, томящая неизвестность кагебешного преследования. А потом были два месяца разлуки — меня выпустили раньше, но вскоре выпустили и его, и, Господи, как это было удивительно и непостижимо — снова встретиться, в другом краю, под другим небом, теперь уже навсегда...

Не прошло и десяти месяцев с той ночи в Лоде, а «навсегда» превратилось в «никогда». За эти десять месяцев он успел необычайно много — напечатал десятки стихов; написал восемь статей, каждая из которых заставляла думать,

---

\* Речь идет о самиздатском журнале «Евреи в СССР», одним из редакторов которого в 1975-1976 гг. был И. Рубин.

\*\*См. журнал «Время и мы», № 15.

спорить, возмущаться или восторгаться, никогда не оставляя равнодушным; затеял массу планов; начал роман.

Еще он успел накопить кучу книг — он всегда был страстным книголюбом и тратил на книги последние гроши. Еще он успел стать знакомым сотням людей и близким — десяткам, самым неожиданным. Он взошел над нашим маленьким «русским» обществом в Израиле, как вспыхивает метеор, — стремительно, неожиданно, ярко.

И в этот, свой первый звездный час, всех заинтересовав, озадачив, заинтриговав своей несомненной и яркой талантливостью, сварливостью, искренностью, залатанными джинсами, цыганской бородой, фехтовальными остротами, сложностью и тревожной неожиданностью мысли, упрямым отстаиванием своего права быть не «как все», быть самим собою — «евреем в России, русским — в Израиле», как он сказал в той же последней статье, — в этот свой первый звездный час он — умер.

Я не сомневаюсь, что были бы еще и следующие звездные часы, — он был не только удивительно талантлив — он был еще и молод. Еще многое ему предстояло, и многое, я знаю, было бы сделано. Но ничего не успелось. После его смерти, разбирая всё, что осталось после него, я отыскал лишь стопку стихов, черновики статей, начало того романа, что он читал мне месяца полтора назад, да два-три неотправленных письма.

Вот и всё, что осталось от человека. Да, и еще — как он появлялся — слегка наклонившись вперед, словно падая или летя навстречу, и с первой же минуты начинал говорить... А теперь уже не появится, сколько ни смотри на дверь; сколько ни жди телефонного звонка; сколько ни сиди в редакции...

Но может быть, это не так мало? От иных людей не остается вообще ничего, от других — целые тома, а разницы никакой. Мне почему-то кажется, что когда мы сложим всё то, на первый взгляд небольшое, что успел сделать Илья Рубин, то обнаружится, что вместе оно значительнее, чем казалось порознь.

Потому что тогда откроется та главная мысль, которую он хотел сообщить в своих стихах и статьях — трагическое ощущение угрозы, которая нависла над нравственностью в современном дичающем мире. Над нравственностью, над чи-

стотой, над культурой — над всем тем, что было ему бесконечно дорого, что составляло суть и смысл его души, сквозной мотив всех его поступков и самой жизни.

*Р. Нудельман*

**Илья Рубин**

*Н. Рубинштейн*

Блажен, кто отыскал разрыв-траву,  
Кто позабыл сожженную Москву,  
Когда вослед листкам Ростопчина  
Взметнулась желтым пламенем она...

А нам с тобою не забыть вовек  
Сестер изгнанья — вавилонских рек.  
Для нас с тобою приберег Господь  
Чужого пепла теплую щепоть.

Над нами небо — голубым горбом.  
За нами память — соляным столбом.  
Объят предсмертным пламенем Содом,  
Наш нелюбимый, наш родимый дом...

Кфар-Иона, 18.9.76

*Губанову*

\* \* \*

А Вам бы всё стоять особняком,  
Особняком семнадцатого века...  
Но стукачу приподымает веко  
Двадцатый век штыком да ветерком.



В покоях умирал заезжий барин.  
К нему таскалась баба с узелком.  
Мотал башкой ученый доктор Арендт,  
И «Колокол» трезвонил ни по ком.

А Вам бы все стоять особняком...  
И штукатурка сыплется до срока...  
Но крестный путь до этого барокко  
Вы все-таки проделали пешком.

Вы все-таки стрелялись сгоряча  
Черт знает с кем, со сволочью какой-то.  
Ах, подарите мне покой, беседу, койку  
И пару плачей с Вашего плеча.

Я отслужу. Я помолюсь за Вас.  
Дай Бог спокойствия старинным Вашим залам.  
Я буду помнить Вас, шатаясь по вокзалам,  
В очередях у пригородных касс...

### *БЕГСТВО*

Я так бежал, что спотыкались губы,  
Припоминая ремесло коня.  
Свистели флейты. Надрывались трубы.  
Я так бежал, что не было меня.

Как серый дым, я исчезал во мраке,  
Вращался я, как призрак колеса,  
Как будто вспомнил ремесло собаки,  
Обнюхивая чьи-то голоса.

Свистели флейты. Надрывались трубы.  
По лезвиям ранений ножевых  
Я так бежал, что подымались трупы,  
Припоминая ремесло живых.

Не дай мне, Боже, умереть во прахе,  
Благословенный бег благослови.  
Я так бежал, что спотыкались плахи,  
Припоминая ремесло любви...

\* \* \*

Святая женщина кладет  
Ладонь на возвышенье арфы.  
Пойдет, разматывая шарфы,  
Дрожать, пока не упадет.

Святая примется рыдать  
Струной прощальной, поперечной.  
Остановись у первой встречной,  
Святая может подождать.

Ты будешь в седла упадать,  
Где татарва гуляет в поле.  
А белый запах канифоли  
На кухне может подождать.

И торопиться не хочу,  
Тревожить нежную удачу.  
Пока святые ждут и плачут,  
Им даже вечность по плечу.

\* \* \*

Как долго мне не удавалось «да».  
Я пил вино, с друзьями обнимался,  
Я посещал другие города  
(Поскольку мне подвластны поезда)  
И даже в воздух дважды поднимался.

И все же мне не удавалось «да».  
Произнести его я не решался.  
Я, может, умер бы, а может — помешался,  
Когда б не эта светлая беда.

Прости меня. Забуду о тебе.  
Но «да» останется, как коврик под ногами,  
Когда босыми, чуткими ногами  
Нашупываешь истину себе...

\* \* \*

Поэт лежал неловко, как поэт.  
Поэт лежал надменно, как вельможа.  
Его стесняла собственная кожа  
И тяготил ненужный пистолет.

Как некий принц, презревший суету,  
Лежал недвижно, обнимая камень,  
Подтягивая тощими руками  
Дрожащие колени к животу.

## ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Умер Владимир Набоков — русский классик, последний представитель той блестящей плеяды наших писателей, которые, оказавшись на чужбине, продолжили и укоренили здесь лучшие традиции отечественной литературы: мудрую простоту формы и неизменную «милость к падшим».

В отличие от большинства литературных коллег по изгнанию, ему посчастливилось еще при жизни, хотя и сравнительно поздно, получить самое благодарное признание у своего читателя на родине, и это одарило его последние годы глубоким душевным удовлетворением.

Мы начинали свое знакомство с Набоковым-писателем почти в обратной последовательности, то есть с «Лолиты», но чем дальше к истокам нисходило это наше знакомство, тем больше нам открывалось в нем. Перед нами во всем языковом и музыкальном великолепии выявлялся ослепительный талант, сочетавший в себе глубину мысли с поразительной естественностью стиля и содержания. Можно без преувеличения сказать, что для большинства современных русских писателей его ранние книги сделали литературным и профессиональным университетом.

Активно не принимая бесчеловечной системы, воцарившейся у него на родине, Владимир Набоков, тем не менее, до конца своих дней внимательнейшим образом следил за развитием и становлением новой русской литературы. Известны его меткие и в высшей степени доброжелательные высказывания об Александре Солженицыне, Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Булате Окуджаве и целом ряде других наших современников. С первых дней возникновения «Континента» писатель поддерживал с нами неизменно дружеские отношения.

Уход Владимира Набокова закрывает последнюю страницу в золотой книге предшествующей нам русской культуры, и наш человеческий долг перед нею — не дать прерваться «связи времен», суметь достойно продолжить ее славу и гуманистические традиции.

*«Континент»*

## Репетиция в пятницу

### V

*«Встают молодцы-егеря,  
Встают старики гренадеры...»*

В конце рабочего дня всех начальников цехов Второй городской трикотажно-швейной фабрики срочно вызвали к директору.

Игорь Борисович Швец, и. о. начальника прядильного цеха, опоздал минут на десять. В приемной директора ему первым делом бросилось в глаза заплаканное лицо секретарши Нюрочки. Нюрочка склонилась над пишущей машинкой и не попадала пальцами по клавишам.

— Нюрочка, опять крушение личной жизни? — снисходительным тоном дон Жуана пропел Швец и сочувственно улыбнулся.

Нюрочка оторвала от бумаг страдальческие глаза и трагическим шепотом запричитала:

— Скорей проходите, Игорь Борисыч, и умоляю вас, будьте осторожны, не губите себя.

Игорь Борисович недоуменно пожал плечами, но поспешил в кабинет. В кабинете при его появлении наступило тягостное молчание, а худой, лысый, желчный старик, восседавший в директорском кресле, зыркнул глазами из-под густых бровей и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Вот, товарищи, вам наглядный пример нарушения трудовой дисциплины. Молодой человек изволит опаздывать на десять с половиной минут.

Игорь Борисович раскрыл рот, намереваясь объяснить, что всему виной обрыв пряжи — на третьей

линии забарахлил станок и надо было наладить, — но тут его взгляд остановился на директоре фабрики Полежаеве: директор фабрики ютился в стороне от всех, на диванчике у окна. Встретив взгляд Игоря Борисовича, директор фабрики улыбнулся жалкой улыбкой и поспешно отвел глаза. Игорь Борисович закрыл рот и опустился на крайний стул у Т-образного стола, покрытого зеленым сукном. Лысый Пуп (так окрестил про себя Игорь Борисович старика, сидевшего в директорском кресле) выждал некоторую паузу и продолжал:

— Итак, я предлагаю коллективу нашей фабрики принять новые социалистические обязательства: годовой план выполнить к седьмому ноября, а к концу года выпустить еще пятьдесят тысяч изделий и, таким образом, перекрыть план в полтора раза. Убежден, что трудовой почин нашей фабрики будет подхвачен другими смежными предприятиями. Думаю, бюро обкома нас поддержит.

Игорь Борисович опять открыл рот, на этот раз совершенно произвольно. План, спущенный на фабрику, был и так достаточно напряженным, а еще пятьдесят тысяч изделий — полугодовой план за пятьдесят дней! — это уж пахло чистой липой.

— У нас может не хватить сырья, — раздался робкий голос главного инженера.

— Ерунда, — отрезал Лысый Пуп. — Будем экономить за счет внутренних резервов. На мусорной свалке я видел целые мотки пряжи. Пора опять приучить рабочих дорожить каждой ниткой.

— Да кто это? — изумленным шепотом спросил Игорь Борисович у соседа. — Из управления или министерства?

— Пал Петров Александров, старый директор фабрики, — не оборачиваясь, процедил сквозь зубы сосед.

— «Ах, старый, — разом успокоился Игорь Борисович, — тогда понятно. Наверно, в Главке кто-то напутал, назначил старика на прежнюю должность, вот Лысый Пуп и спятил от радости.»

— Павел Петрович, — осторожно заметил главный технолог, — у нас явный дефицит человеко-часов. Прикажете оплачивать сверхурочные?

— Никаких сверхурочных! — отрезал Пал Петров Александров. — Будем работать по субботам, а не хватит времени — займем и воскресенье.

«Во дает, Лысый Пуп, — развеселился Игорь Борисович. — А наши что, не видят? Тут же клинический случай. Ишь, какую ахинею несет, прямо спектакль...»

— Эксперимент с субботами себя не оправдал, — уверенно долдонил Лысый Пуп. — Сознание нашего рабочего не доросло до двух выходных дней. Поэтому рабочий не повышает свой культурно-политический уровень, а глушит по субботам водку. Когда построим коммунизм, тогда, конечно... но пока пойдут одни «красные субботы».

Тут уж Игорь Борисович не выдержал и попросил слова:

— Уважаемые товарищи! Мы все внимательно выслушали пожелания нашего старого директора, однако я вынужден дать техническую справку. Бесспорно, мы можем выпустить еще пятьдесят тысяч изделий, но за счет чего? Вместо женских кофточек больших размеров пошьем детские распашонки. Вместо, простите, мужских кальсон — дамские трусики. Кто знает, может тогда и обойдемся наличным сырьем... Резкое увеличение планового задания приведет к снижению качества продукции, а ведь ни для кого не секрет, что на складах пылится на двести тысяч рублей нереализованной продукции нашей фабрики: кальсон, маек, дамских кофточек, вышедших из моды. Поэтому мне кажется... — Игорь Борисович, с трудом сдерживая улыбку, развел руками, приглашая присутствующих посмеяться и покончить с этой комедией.

Однако никто из присутствующих глаз не поднял, а старый директор саркастически хмыкнул:

— Я предполагал, что мне придется столкнуться с нездоровыми пораженческими настроениями. О модах и разных там размерах не беспокойтесь. Внешторг допустил ошибку и закупил французский трикотаж. У покупателя, естественно, глаза разбежались. Ошибка будет исправлена в ближайшем будущем. Валюта, как и прежде, пойдет только на оборудование для тяжелой промышленности. А когда полки в магазинах опустеют, покупателю станет не до капризов, будут носить наше, отечественное, куда же он денется? Что касается нереализованной продукции на складах, то тут не обошлось без вредительской руки. Кстати, довожу до вашего сведения, что областные органы выявили в Хлеботорге шайку иностранных шпионов и убийц. Эти презренные наймиты империализма долго скрывали свои злодеяния, но сегодня они попытались взвинтить цены на хлеб. Вам наверно известно, что утром у булочных выстроились очереди. Несколько часов тому назад арестованы Коган, Фельдман, Гринштейн и другие работники Облхлеботорга, растленные еврейские буржуазные националисты, завербованные международной буржуазной политической организацией. Патриотический долг советских людей — ни на минуту не забывать о политическом окружении, всемерно повышать политическую бдительность, зорко следить за происками поджигателей войны и их агентов...

— Товарищ Александров, — вдруг вставил свое слово Петр Никифорович из отдела главного механика. — Вредители явно пробрались и в городской коммунальный отдел. Сегодня утром отключили воду.

— Видите, товарищи, — торжествуя подхватил старый директор. — Враг не дремлет. А мы с вами вместо мобилизации внутренних ресурсов занимаемся какими-то техническими справками. Кстати, товарищ, — два буравящих огня из-под густых бровей пронзили Игоря Борисовича, — какая ваша фамилия?



— Швец, — услужливо подсказал добродушный толстяк Петр Никифорович.

— Я, я... — выдавил из себя Игорь Борисович, — я украинец... — и как оглушенный опустился на стул.

Новые социалистические обязательства были приняты единогласно. Начальники цехов разбегались из приемной, стараясь не глядеть друг на друга.

Зам. редактора областной партийной газеты попросил принести подшивку «Правды» за март 1953 года и заперся в кабинете. Надо было срочно писать передовую в номер, но зам. редактора не торопился. Развернув подшивку, он нашел «Правду» за 10 марта 1953 года, закурил сигарету и, глубоко затягиваясь, начал внимательно изучать большой полосный снимок, где были запечатлены руководители партии и правительства, стоявшие на трибуне мавзолея Ленина-Сталина в день похорон Нашего Учителя и Вождя, Величайшего Гения человечества.

Губы зам. редактора шевелились, он считал: «Если отбросить зарубежных гостей из братских коммунистических и рабочих партий, то наших на трибуне 19 человек. Из них — один умер на своем посту, один ушел на почетную пенсию, и только один, вон тот, высокий, в серой шапке, до сих пор член Политбюро. Остальные... этот — «авантюрист и наймит зарубежных империалистических сил», этот — «волюнтарист», а вот сомкнутыми рядами стоит «антиправительственная группировка», «примкнувшие»... М-да, трое из девятнадцати...»

Зам. главного редактора убрал подшивку в шкаф, достал майские газеты за 1974 год. Полосное клише от 2 мая: на трибуне мавзолея В. И. Ленина — члены и кандидаты в члены Политбюро во главе с Генеральным секретарем товарищем Брежневым. С болезненной grimасой, словно впервые их увидел, вглядывался зам. главного редактора в маленькие лица на фото-

графин, потом, вздохнув, аккуратно сложил газеты, сдвинул их в сторону, разгладил стопку чистой бумаги, притушил окурок и нацарапал пером авторучки заголовок передовой:

«Сталин — это Ленин сегодня».

Поэт Сергей Заикин к заму главного редактора не попал. Секретарша не пустила, сказала: «Занят». Ничего не оставалось, как направить свои стопы в отдел культуры, а идти туда поэту не хотелось. Дело в том, что нынешний зав. отделом культуры был другом Поклепикова, областной поэтической звезды первой величины. Поклепикова печатали даже в столице, хотя он развелся с женой и сожительствовал со студенткой. У Заикина к Поклепикову имелись старые счета. Когда-то Сергей Заикин выступил в газете со стихами-откликом на очередной успех нашей космической науки. Стихи были такие:

«Запускали мы ракету,  
А ракета эта та,  
Превращается в планету —  
Вот так чудо-красота.

И плывет планета мирно,  
И вращаясь над землей,  
Возвещает всему миру:  
«Слава партии родной!»

Стихи хорошо приняли в обкоме, однако прощельга Поклепиков, еще не зная этого, всенародно охаял их на поэтическом вечере в текстильном институте, обвинив Заикина в графоманстве и спекуляции на теме. Услужливые голоса не замедлили передать Сергею Заикину, что зал, состоящий в основном из незрелой зеленой молодежи, встретил цитирование его стихов громким хохотом.

Небось, собутыльник Поклепикова, теперешний

зав. Сеницын, тоже тогда присутствовал в зале...

Сталкиваясь с Заикиным на совещаниях, Сеницын всегда почтительно здоровался первым, но в глазах его плясали иронические искры.

У двери с табличкой «Отдел культуры «Ленинского знамени» Сергей Заикин нерешительно потоптался, а потом, махнув рукой, — мол, наше дело правое, — уверенно распахнул дверь.

При его появлении Сеницын вскочил с места и опрокинул стул.

— Здравствуйте, товарищ Сеницын, — окая, проговорил Заикин. — Я пришел сам, не ожидая зова. Понимаете, не мог не откликнуться. Вот — песня о Сталине.

— Большое спасибо, Сергей Владимирович! Мы на вас надеялись, — проникновенно и взволнованно сказал Сеницын и протянул дрожащую ладонь к рукописи.

В тот же час с супостатом Сергея Заикина, поэтом Поклепиковым, приключилась вот такая история. На улице его остановил спортивного вида незнакомец и вежливо осведомился, не товарищ ли это Поклепиков. Получив утвердительный ответ, незнакомец ужасно обрадовался и начал умолять поэта зайти тут, неподалеку, просмотреть и отредактировать стихи в стенной газете, а то наши ребята пишут бог знает что, а вывесить на стенку — и позора не оберешься.

«Совсем одолели, чайники проклятые», — возмутился Поклепиков и хотел было решительно отказаться, но незнакомец упредил его и показал удостоверение органов.

— Ради бога, не подумайте ничего дурного, — смущенно лепетал незнакомец. — Я это к тому, чтоб вы поняли: учреждение наше солидное, товарищи любят поэзию, а сами писать совершенно не умеют. Ну,

сделайте одолжение, и времени у вас займет всего минут двадцать.

Мысль о том, с каким бурным восторгом сегодня на вечеринке у Людочки будет встречен его рассказ «Как я редактировал органы», привела Поклепикова в отличное настроение, и поэт милостиво согласился.

Управление было действительно неподалеку, и Поклепиков не успел оглянуться, как оказался в кабинете на втором этаже, а поклонник поэзии из органов (который просил называть его «просто Витей») уже усаживал его за свой стол, повторяя, что сейчас, одну секундочку, принесут ватман. В кабинет заглянул человек со значком мастера спорта на лацкане пиджака.

— Эдик, смотри, кто к нам пришел, — воскликнул просто Витя. — Наша знаменитость, поэт Поклепиков!

Эдик аж даже замычал от восторга и вызвался сбегать за чаем.

— Сейчас принесут, принесут ватман, — приговаривал просто Витя, — нас сегодня на картошку посылали, наверно, ребята вернулись, передеваются.

«Ого, — изумился Поклепиков, — у меня в кармане еще одна сенсационная новость», — а вслух сказал, что по его сугубо личному убеждению копать картошку должны все-таки колхозники, а не служащие государственных учреждений.

— Абсолютно с вами согласен, — закивал головой просто Витя. — Если подсчитать экономический эффект плюс перерасход заработной платы, то картошка получается дороже золота.

«Умные ребята сидят в органах, — подумал Поклепиков, — воображают. Нет, пришло другое поколение» — а вслух сказал:

— У меня есть стихи по этому поводу, я их читал недавно на своем творческом вечере.

«Просто Витя» ужасно оживился и стал умолять

поэта прочесть стихи, пока там наши ребята с картошки переодеваются, пока несут ватман.

Поэт для приличия немного поломался, но прочел:

«Академики копают грядки,  
Доктора наук на борозде,  
А на производстве беспорядки —  
Нет документации нигде...»

И еще шестнадцать строк в таком же духе.

«Просто Витя» задохнулся от смеха, а потом, успокоившись и вытерев слезы, попросил ему лично дать написать слова. Окрыленный успехом, Поклепиков диктовал четверостишья, «просто Витя» прилежно и споро записывал. В разгар работы появился Эдик, осторожно, на цыпочках пересек комнату и поставил чай с лимоном на стол перед поэтом. «Просто Витя» протянул Поклепикову листок со стихами и, мягко улыбаясь, предложил:

— Подпишите, пожалуйста, оставьте, так сказать, на память ваш автограф.

Поэт достал из пиджака шариковую авторучку и подмахнул листок.

— И у меня лично к вам просьба, — ласково заурчал Эдик, протягивая поэту раскрытую тоненькую папку. — Вот здесь, пожалуйста, подпишите. Это приветствие управлению по случаю награждения области.

Папка была раскрыта на странице под номером 13, где от всего предыдущего текста сохранилась одна фраза, напечатанная на машинке, видимо, последняя: «Да здравствуют наши бдительные советские органы безопасности». И три подписи: Коган, Фельдман, Гринштейн.

«Вот влип в историю, — поморщился поэт. — Но как отказать таким милым ребятам — обидятся. Попытаюсь все обратить в шутку».

— Товарищи, я бы с удовольствием, — сказал Поклепиков, вставая со стула, — но боюсь, что не успею прочесть весь текст, мне пора. Так где же ваша газета?.. И потом, партия учила меня не подписывать коллективных писем...

Комната раскололась на три неравные части, и Поклепиков оказался на полу. Всклипывая и ничего не соображая, он попытался встать на четвереньки и получил еще два удара ногой под ребра. Словно из небытия он услышал спокойный и бесстрастный голос «просто Вити»:

— Подпишешь, падло.

Осветители сматывали провода, зачехляли софиты. Оператор остервенело запихивал в футляр камеру, но камера почему-то не лезла, и оператор чертыхался. Режиссер телевидения стоял, втянув голову в плечи, и бессмысленно моргал глазами. Это бессмысленное частое моргание раздражало полковника Белоручкина («перепутает все, пентюх»), и полковник повторил:

— Значит так, ответ Пал Палыча вырежете, начнете с выступления второго секретаря обкома. Далее — крупный план — Шмелева, председателя профсоюза, он зачитывает решение бюро. Затем сразу — слово товарищу Сталину, и его обращение к советскому народу. Ясно? И немедленно в эфир, экстренный выпуск! За передачу отвечаете головой.

— Иван Филиппович, — раздался за спиной подобострастный голос, и полковник Белоручкин круто обернулся на этот голос, ибо тотчас узнал его: пожалуй, после Никиты Сергеевича, полковник больше всего на свете ненавидел Красавина, первого помощника Пал Палыча — вежливую интеллигентскую гниду.

— Тебе чего? — рыкнул Белоручкин.

— Иван Филиппыч, разрешите уточнить, — Красавин с почтением припал к полковничьему погону, —

сейчас народ по магазинам шастает, не собрался народ еще у телевизоров. Вот, может, в семь тридцать? И тогда слово вождя непременно дойдет до масс.

— Чего? Отложить пере... — взревел полковник и замолк на полуслове. А ведь прав, шельма. Недаром его Пал Палыч при себе держал. Несознательный народ действительно по магазинам рыщет. Но Красавин-то, подлец, почуял, куда ветер дует. Ишь как выслуживается! Думает, не вспомним мы ему — все вспомним! Постой, надо сообразить. Винные отделы закрываются в 19 часов. Так, накинём минут сорок, пока мужики в подъездах пошумят и поллитру на троих «раздавят». Значит... — Передачу пустишь ровно в 20.00! Понял? — бросил Белоручкин режиссеру.

— Есть, в двадцать ноль-ноль! — взвизгнул режиссер, еще больше втягивая голову в плечи и еще чаще моргая глазами.

— А ты, — полковник ткнул пальцем Красавину в грудь, — ноги в руки — и вниз: давай звонок. Кончился антракт!

И как ни был Красавин озабочен своими тайными планами, но и он вздрогнул, разгадав зловещий смысл последних слов полковника Белоручкина.

## VI

*«И армия честь отдает...»*

Участники торжественного заседания бурно приветствовали появление на сцене членов бюро обкома во главе с товарищем Сталиным. Сталин скромненько прошел в третий ряд президиума, а члены бюро обкома с непроницаемыми улыбками заняли места в первом ряду длинного стола, покрытого красным бархатом. Все было просто, привычно, по-деловому, однако

капитан Суриков, дежуривший вместе с лейтенантом Потаповым у дверей балкона, сразу насторожился и голкнул Потапова в бок.

— Смотри, в президиуме рокировка: Второй на месте Первого, а наш профсоюзник занял место председателяствующего.

В зале стоял такой шум, что Суриков не понял, услышал ли Потапов его слова, но, когда аплодисменты спали, лейтенант с усмешкой шепнул капитану:

— Поздравляю вас, Анатолий Николаевич, с новым начальством!

Тут только Суриков догадался, что наметанный глаз Потапова уловил еще одну перемену: на месте Митрохина сидел начальник милиции.

Председатель областного комитета профессиональных союзов открыл заседание, а на трибуну вышел Второй секретарь и от имени обкома партии, исполкома советов депутатов трудящихся, руководителей партийных и советских организаций, передовиков промышленности и сельского хозяйства, деятелей науки и культуры, а также воинов Советской армии, зачитал новое приветствие к Политбюро и ЦК КПСС.

В приветствии говорилось о больших успехах советского народа, который под мудрым руководством ленинской коммунистической партии успешно претворяет в жизнь решения XXIV съезда, и так далее — в общем, все как обычно. Впрочем, уже был тут новый нюанс. В тексте отсутствовала фраза, обязательная по последним временам: «и лично Генерального секретаря ЦК КПСС». Дальше Суриков отметил еще одну новацию: обращение призывало крепить узы дружбы «с братским коммунистическим Китаем». Как-то вскользь прозвучало несколько туманное пожелание «сократить в целях экономии капиталовложения в освоение районов Крайнего Севера за счет мобилизации внутренних ресурсов и применения более дешевых методов строительства».



Участники собрания единодушно одобрили текст приветствия. Затем на трибуну один за другим стали подыматься руководители соседних соревнующихся областей. Ораторы говорили об огромных заслугах товарища Сталина перед партией и советским народом.

— Перекурим, — предложил Суриков Потапову, и они вышли в безлюдное верхнее фойе.

— Ну, как тебе новый курс? — спросил Суриков, шелкая зажигалкой.

Потапов затянулся сигаретой и залумчиво произнес:

— Анатолий Николаич, пойми меня правильно. Может, новый курс, то есть возвращение на старые рельсы, имеет свой смысл? Ведь мы на грани войны с Китаем.

— Значит, готовься к «культурной революции» и записывайся в «хунвэйбины»!

— А иначе?

— Иначе не будет, лейтенант. И потом, как тебе понравилось «освоение Крайнего Севера за счет мобилизации внутренних ресурсов»?

— Кстати, хотел спросить: что это значит?

— Это означает концлагеря, а «использование более дешевых методов строительства» — труд заключенных.

— Похоже, — вздохнул Потапов. — Ответь мне на последний вопрос, только честно: почему ты против Сталина?

— Для меня этот человек — государственный преступник, и вот почему. Представь себе, с точки зрения чекиста, что на место Генсека нашей партии пробрался враг, буржуазный наймит, иностранный шпион, словом, один из тех людей, которых в тридцатые годы так успешно разоблачали наши бдительные органы. Только на этот раз враг оказался не липовым, а настоящим. Какими были бы его действия? В

первую очередь, он устроил бы чистку, перебил бы лучшие партийные кадры, организовал бы «охоту за ведьмами» и под шумок уничтожил бы весь руководящий состав Красной Армии. Далее, он предоставил бы возможность немецким разведчикам под видом военных советников спокойно разъезжать по территории нашей страны. Плачевные итоги финской кампании, стоившие нам колоссальных жертв, только бы раззадорили его. Накануне грядущей войны он бы приказал скрыть старые фортификационные оборонительные сооружения (под предлогом строительства новых) и затеял бы перевооружение армии (причем устаревшая техника из частей изымалась, а новую армия еще не успевала получить). Он бы оставил без внимания все многочисленные агентурные сигналы о концентрации немецких войск на границе, утверждая, что это, мол, провокация Англии, страны, воюющей с Германией. Пожалуй, ничего больше он бы не смог предпринять из опасения быть окончательно разоблаченным. Так бы действовал иностранный шпион, буржуазный наймит, враг, пробравшийся на пост руководителя государства. И именно так действовал Сталин, наш Мудрый Вождь и Учитель...

— Но мы же выиграли войну, мы же победили!

— Выиграли? В течение трех лет мы отвоевывали территорию, которую потеряли за три месяца! Победили? Прости меня за чудовищную мысль, но если бы двадцать миллионов советских людей, которым суждено было погибнуть в войну, заранее выстроили вдоль границы, причем даже плохо вооруженных, то гитлеровская армия не продвинулась бы и на километр — она просто захлебнулась бы в крови... И не было бы нескольких сотен разрушенных городов и десятков тысяч спаленных деревень. Такой ценой любой дурак победит. Войну выиграл не Сталин, а советский народ, и победил не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Вот почему после окончания войны Ста-

лина надо было не чествовать, как национального героя, а судить, как государственного преступника.

Потапов курил и изредка косился на Сурикова своими темными глазами. Впервые в жизни лейтенанту Потапову предстоял ответственный выбор, который мог круто изменить карьеру. Зачем капитан именно сейчас пустился в такие откровения, откровения, прямо скажем, рискованные для сотрудника ГБ и в нормальной обстановке? Вариант, что Сурикову захотелось просто высказаться, излить душу, Потапов отбросил тут же: Суриков не дурак, чтобы быть у Потапова «на крючке». Тогда оставалось еще три варианта: первый — Суриков проверяет Потапова и хочет его самого «взять на крючок», однако это как-то не вязалось с их прежними товарищескими отношениями, и Суриков, пожалуй, не станет провоцировать Потапова; второй вариант — Суриков намерен зафиксировать при свидетелях, что даже в самый напряженный, скользкий момент он выступал как ярый антисталинист. И третий вариант — капитан своей отчаянной смелостью пытается убедить его, что у Сталина нет ни малейших шансов вернуться к власти. Возможно, Сурикову кое-что известно, но раскрывать карты преждевременно, и он просто намекает. Нет, решил Потапов, надо держаться Сурикова — здесь, в области, перспектив практически никаких, но в случае успеха Потапову это зачтется, и Суриков перетащит его за собой в Москву. Вот о чем думал Потапов, а вслух произнес:

— Извини меня, Анатолий Николаич, я хотел удостовериться, искренне ли ты убежден или о своей шкуре печешься. — И усмехнувшись, добавил: — У нас всякое бывает.

Капитан зло сплюнул в урну и продолжал как заведенный:

— С государственной точки зрения, конечно, заманчиво использовать дешевый труд политзключен-

ных, а не платить бешеный северный коэффициент вольнонаемным рабочим. Наверно, многие видят в этом решение финансовых проблем. Мол, таким путем обойдемся без иностранных займов. Но как только начнутся массовые посадки, считай, лейтенант, и мы с тобой обречены, а это — главное. Надо же извлекать уроки из прошлого — ведь в аппарате НКВД тоже были свои тридцать седьмые годы! А уж казалосьсь — как ребята старались...

И тут лишь Потапов понял, куда клонит Суриков. Ну ясно, сверху поступило указание «шить дело» на товарища Сталина, дескать, не товарищем он был, а «тамбовским волком», ставленником иностранной разведки. И сейчас Суриков демонстрирует ему, Потапову, новые методы работы. Ведь ежели Суриков, допустим, такую речугу толкнет в студенческой аудитории, прослезятся студенты и будут кричать: «Да здравствуют наши славные Органы!» Вон оно как хитро заворачивается. Действительно, научились ребята! Недаром Сурикова считают самым умным человеком в Управлении, недаром он прет на повышение. «Молодец, капитан, орел», — восхитился Потапов, но виду не показал, и лениво протянул:

— Да ладно, капитан, кончай агитацию, говори, что надо?

Выслушав Сурикова, лейтенант в целом одобрил его план, и лишь в одном усомнился:

— Не дадут тебе разговор с Москвой. Эта линия взята под контроль.

— Согласен, — светло улыбнулся капитан. — Но особенность интеллекта полковника Белоручкина такова, что он всегда будет действовать прямолинейно. Связь с Москвой он контролирует, а отключить соседние области не догадался. У меня там есть верные ребята, и они передадут мой доклад по назначению.

— А если? — настойчивый взгляд Потапова требовал ясности.

— А если... — понятливо улыбнулся Суриков, — если перехватят, то ты ни при чем, и вообще я с тобой не разговаривал.

Герой дня, Василий Иванович Подберезовик, стоя у ближайшего к сцене выхода, одним глазом наблюдал за президиумом, другим следил за залом. Спиной он почувствовал, как приоткрылась дверь, обернулся, но, увидев голову лейтенанта Потапова, начальственным баском осведомился:

— Ну что там еще?

Потапов протиснулся в дверь и, дотянувшись до плеча старшего лейтенанта, зашептал. На секунду лицо Василия Ивановича приняло глупейшее выражение, но, быстренько справившись с собой, он уже обоими глазами покосился на девятый ряд партера, где в правых креслах сидели шесть иностранных корреспондентов, а в десятом ряду, прямо за ними, два скучающих молодых человека. Потом Василий Иванович дважды одобрительно кивнул головой и буркнул что-то на ухо юному комсомольцу с красной повязкой на руке, дежурившему в зале. Комсомолец скользнул по стенке к девятому ряду, а лицо Василия Ивановича вновь обрело спокойствие и значительность.

Лейтенант Потапов заспешил в нижнее фойе, где перекинулся парой слов с двумя сотрудниками, курившими у театрального входа. Сотрудники беспокойно задергались, а один даже вслух обронил такую фразу:

— Гляди, чуть не прошляпили.

— Только надо послать кого-нибудь с ними из понимающих, — как бы рассуждая сам с собой, проговорил Потапов, и тут, словно случайно, в вестибюле появился капитан Суриков. Капитан пробежал служебной рысцой, но лейтенант его остановил:

— Анатолий Николаич, повезешь иностранцев в гостиницу.

— Не могу, дежурю на балконе, — отмахнулся капитан.

— Капитан, — в голосе Потапова звучали повелительные нотки, — это приказ полковника Белоручкина! Свезешь, запрешь и проверишь телефоны. Скажешь — авария на линии.

Капитан скорчил гримасу и направился к гардеробу за плащом. Тем временем, ведомые юным комсомольцем, по лестнице спускались шесть иностранных корреспондентов, а за ними, сохраняя некоторую дистанцию, два штатских товарища — видимо, вышли покурить. Трое иностранцев оживленно переговаривались между собой по-английски, а трое других — корреспонденты из соцстран — молчали и пугливо оглядывались.

— Господа, товарищи, — радостно бросился к ним лейтенант Потапов, — администрация театра приносит свои глубочайшие извинения. Вы хотели звонить, а тут... Словом, произошла накладка. Пожалуйста, вас сейчас же отвезут в гостиницу, откуда вы сможете по телефону совершенно беспрепятственно соединиться со своими агентствами.

— Всё о кэй! — отчеканил пожилой седовласый американец.

— Всё «хоккей»... — тихо передразнил его один из штатских товарищей.

Мария Степановна набрала номер обкомовского гаража.

— Мне машину на городскую квартиру.

— А кто говорит? — спросила трубка.

Обычно Марию Степановну узнавали по голосу, но наверно сейчас дежурил диспетчер из новеньких, поэтому Мария Степановна вежливо разъяснила:

— Это жена Пал Палыча.

Однако ожидаемого эффекта эти слова не произве-

ли. Более того, в трубке хмыкнули и нагловатым тоном спросили:

— Ну и что?

— Как что? — Марья Степановна даже опешила. — Мне надо через сорок минут быть на железнодорожном вокзале. Приезжает мать Пал Палыча. А это говорит жена Пал Палыча! Вам понятно?

— Понятно, — ответила трубка. — Нет машин.

— Как нет? — осеклась Мария Степановна. — Для меня нет?

— Нет ни одной, — весело повторила трубка. — Все машины обслуживают участников заседания.

В трубке пошли частые гудки, и Мария Степановна опустила ее на рычаг. Мария Степановна чувствовала, что на глазах у нее выступили слезы. Это было неслыханным хамством: ей, жене Пал Палыча, отказать в машине! Может, они там все пьяные? Ну, погодите, вернется Пал Палыч, она ему устроит сцену... Работнички его совсем распустились. Не узнать ее по голосу! Не дать машину! Господи, может, в городе уже нет советской власти?

Всхлипывая, она набрала номер городской справочной и узнала телефон диспетчерской такси. В диспетчерской ей сказали, что все машины на линии и вообще заказывать такси надо за два часа.

До поезда оставалось тридцать пять минут.

В передней, натягивая на плечи пальто, Мария Степановна продолжала всхлипывать: «Позор-то какой! Через весь город тащиться на автобусе! Да еще, наверно, с пересадкой...» И тут Мария Степановна вспомнила, что она даже не знает, какие номера автобуса идут к вокзалу...

В красном уголке обкомовского гаража играли в домино. Илья Фомич, шофер Пал Палыча, терпеливо ждал своей очереди. Конечно, он мог и не ждать, и ему бы с готовностью уступил свое место кто-нибудь

из четверки игроков, но брать себе партнером водителя «Волги» — фу, это было бы несолидно. У Илья Фомича имелся постоянный партнер — Тимофей Тимофеич, шофер второй обкомовской «Чайки», которую держали специально на случай приезда московского начальства. Тимофей Тимофеич, честно говоря, играл плохо: путал счет, забивал «тройки», когда их выставлял Илья Фомич, открывал «шестерки» соперникам — но где было взять лучшего партнера? Больше «Чаек» в гараже не было.

На столе сделали «рыбу» и шумно подсчитывали очки. «Козлами» оказались шоферы управляющего делами и зава по пропаганде — мелкота, сошки. За столом остались асы домино — шофер профсоюзника и шофер Третьего.

— Ну, Тимофеич, держись! — сказал Илья Фомич, предвкушая лихую игру. — И следи за тем, что я выставляю... — Он занял свое законное место и, мешая костяшки, продолжал поучать: — И не торопись дуплиться! Дупелем козырять надо!

В суете никто и не заметил, как в комнате появился шофер Второго, Иван Кузьмич. Иван Кузьмич незлышно подошел к столику и, подождав, пока Илья Фомич отберет себе костяшки, степенно проговорил:

— Илья Фомич, такое вот дело, извини-подвинься: я буду играть с Тимофеичем.

В комнате воцарилась жуткая тишина. Сперва Илье Фомичу показалось, что он ослышался. Потом подумалось: уж не шутит ли Кузьмич? Нет, взгляд Кузьмича был строгим, он не шутил.

Илья Фомич покраснел, встал со скамейки, еще раз взглянул в глаза Кузьмичу и молча выложил на стол ключи от «Чайки».

На душе у капитана Сурикова скребли кошки или мыши или еще какая-то сволочь — словом, беспокойно было Сурикову, хотя он и старался держать себя в



руках. Из окна гостиницы он наблюдал за театральной площадью и в то же время чутко прислушивался. Ему казалось, что сейчас раздастся стук в дверь, войдут знакомые лица. «Ну, — скажут, — Анатолий Николаич, любопытно узнать, о чем вы только что разговаривали с южной областью?» Вдруг Белоручкин догадался и приказал прослушивать все междугородные линии? Правда, сотрудники были все нарасхват. Белоручкину могло попросту не хватить людей... Кто знает? Всегда найдутся охотники выслужиться.

Пока не стучали и не входили.

Может, пронесло? Во всяком случае, капитан Максимов из южного управления уже должен был передавать докладную Сурикова в Москву.

А если и в Москве? И докладная ложится на стол Берии или Абакумова? Постой, при чем тут Берия или Абакумов? Их же расстреляли. А если нет? Если их тоже заморозили? Вот же воскрес Сталин...

Спокойно, Анатолий Николаич, не горячись. Слишком уж много мистики. Впрочем, обойдутся и без мистики. На Лубянке есть свои Белоручкины. Ладно, лучше думать о другом. Разрешите доложить, товарищ полковник, ваше задание выполнено! С корреспондентами порядок. Заперли их по трое в двух «люксах», из ресторана принесли ужин, на водку не покупились.

Суриков мельком глянул на часы и хлопнул себя по лбу: время начинаться митингу представителей трудящихся города.

Суриков припал к окну. У освещенного подъезда театра безлюдно. Через площадь проехал автобус. Потом грузовик. Потом такси. Две бабы с полными сумками чешут наискосок. Пьяный застрял у фонаря. Парень обнимает девушку, а она закрывает лицо руками.

Где же народ? Где же представители трудящихся? Суриков шарил по карманам в поисках сигарет.

Вот черт, куда-то запропастились! Красавин при всей его изворотливости не мог сорвать митинг. И вообще, если бюро назначило, митинг никто не мог отменить. Или положение стало таким прочным, что решили обойтись и без трудящихся? Так что же там произошло?

Умный, умный, а дурак — сам себя перехитрил, теперь сиди в номере и мучайся в неизвестности.

## VII

*«И с музыкой мимо него  
Проходят полки за полками...»*

Между тем в обкоме суета поднялась необыкновенная: несколько раз звонили из театра и грозно спрашивали, почему на площади не видно представителей трудящихся. Инструктора повисли на телефонах, пытаясь тщетно связаться с предприятиями, но большинство заводов и фабрик не отвечали — ведь рабочий день уже кончился, — а в тех конторах, где еще удавалось кого-то застать, удивлялись, почему не предупредили раньше, и, словно сговорившись, твердили:

— Теперь поздно, народ разошелся по домам.

Начали искать виновных. Бледный зав. орготделом трясущимися губами лепетал, что он дал четкие указания обзвонить предприятия по списку. Кому давал указания? Секретаршам отдела Танечке и Тамарочке. Где список предприятий? Вот он, перечень, лежит на столе у Тамары. Где Тамара? Где Таня? Леший их знает...

Зав. орготделом вытирал пот со лба и повторял, что он абсолютно уверен в Тамаре и Тане, ведь девочки такие добросовестные, и что случилось, он — раз-

рази его гром! — не понимает, поручение-то самое элементарное.

Дело было действительно несложным. Возможно, эта кажущаяся простота все сгубила. Верно, зав. орготделом положил список на стол Танечке и приказал немедленно связаться с дирекциями заводов и фабрик. «Сейчас, — сказала добросовестная Танечка, — будет исполнено». Она достала телефонный справочник и уже приготовилась снять трубку, как вдруг телефон брызнул звонком, и возбужденный голос Надьки из Торга сообщил:

— Танька! Беги в универмаг, арабские сапоги на «платформах» выбросили! Скорей, там Наташка очередь заняла.

Медлить было нельзя. Таня быстренько нацарапала записку Тамаре: «Срочно обзвони предприятия, я приду через полчаса», — переложила список на Тамаркин стол и смылась в универмаг.

«Тамарка вот-вот вернется, — думала по дороге добросовестная Таня, — хватит ей в буфете чай распивать. Пускай хоть немного поработает, ничего, не облезет».

Тамара вернулась в отдел, когда у нее на столе разрывался телефон.

— Тамарка! — затараторила трубка. — Куда ты запропастилась? В универмаге выбросили «платформу», Зойка в очереди стоит.

— Спасибо, Зиночка, — поблагодарила Тамара, прочла Танькину записку и подивилась коварству подруги. Она сообразила, что Танька наверно давно уже в очереди. Ишь, хитрая, хочет шеголять в новых сапогах! А я за нее отдувайся? Вот придет через полчаса, пускай сама и звонит. На митинг собирать народ не впервой, и за двадцать минут успевали. Время еще терпит. В крайнем случае, я мигом обернусь: Зойка, небось, с утра у прилавка торчит.

...Универмаг ревел, как реактивный лайнер на

взлетной полосе. Густая очередь закупорила вход на второй этаж. С трудом поднявшись по лестнице, Тамара никак не могла протиснуться к обувному отделу. Штопором ввинчиваясь в толпу, Тамара наткнулась на спину толстой тетки — и дальше ни с места. Сзади поднажали — ни дыхнуть, ни охнуть. Тамара остреньким локтем уперлась в могучую спину, загромождающую прилавок, но это было все равно, как биться в бронированную дверь — ни малейшего эффекта. Бог знает, сколько прошло времени, но вдруг спина сдвинулась влево, и Тамара, предварительно получив удар от кого-то по уху и зацепившись плащом за чей-то зонтик, змеей проскользнула в первый ряд. Вот и Зойка, красная, потная, с выпученными глазами, как раз ее очередь садиться в кресло.

— Куда? — завизжали сзади.

— Она стояла, стояла, — вопила Зойка, схватив подругу за руку.

— Не видели, не знаем, много вас таких ходят! — орала голоса.

Продавщица, Зойкина знакомая, хотела пропустить Тамарку к креслу, но злобная старуха, стоявшая сзади, загородила проход.

— Не получит! — надрывалась старуха. — Пока я не получу, и она не получит. Я тут давно очередь держу. А этой заразы не было.

— Сама зараза! — зашипела Тамара. — Умирать пора, а не за «платформами» давиться...

— Я для дочери покупаю, — верещала старуха, — дочь в больнице. Я с обеда дежурю. А эти спекулянтки по третьему разу заворачивают...

«Старая ведьма, — подумала Тамара, — врет и не краснеет». И жалобно пискнула:

— Бабушка, я на работу опаздываю.

— Все опаздывают, — злорадствовала очередь, — держи ее, бабка, пускай постоит, как все люди.

Зойка примерила и выписала «платформы». Про-

талкиваясь назад, она шепнула Тамарке: «Продавщицу я предупредила. Как старуха уймется, Симка тебя посадит, а пока не может».

Старуха мертвой хваткой держала Тамару за рукав. «Молодая, а нахальная, — думала Марья Петровна, не спуская глаз с девушки. Да, да, это была наша давешняя знакомая, Марья Петровна. Купив утречком хлеб, соль, муку и мясо, она на всякий случай заглянула в универмаг, и там пронюхала, что после обеда ожидаются арабские сапоги. Никакой дочери у Марьи Петровны не было, но Марья Петровна быстренько подсчитала, что за сапоги она заплатит 75 рублей и тут же в универмаге их у нее оторвут за сто двадцать! — Сорок пять рублей на полу не валяются, — рассуждала Марья Петровна. — А эту стерву, умру, но вперед себя не пущу».

Как-то отдаленно, мельком, Тамара вспомнила о работе, но сразу успокоилась, решив, что Танька наверняка пролезла с черного хода и давно вернулась в обком, да еще, профурсетина, в новых сапогах...

Таня, точно, прошла черным ходом, но и там, на узкой лестнице, стояла очередь, правда, потоньше и потише, чем в торговом зале. Тут были все свои — из Торга, из комиссионки, из исполкома, и даже две девки из милиции. Однако очередь продвигалась крайне медленно.

— Девочки, — сообщила сверху заведующая обувным отделом. — У нас народный контроль. Терпите.

Приходилось терпеть. «Ладно, — думала Таня, — на работе скажу, что зуб заболел, и мол, побежала в поликлинику. А Тамарке обзвонить предприятия ничего не стоит, и так она полдня в буфете Красавина караулит. Все надеется... А вообще, она девка аккуратная, не подведет».

Как мы убедились, зав. орготделом имел все ос-

нования полагаться на добросовестность своих секретарш, но кто мог предвидеть, что в универмаге выбросят сапоги на «платформе», да еще арабского производства? Ведь это же можно приравнять к стихийному бедствию...

Из театра поступило новое указание: звонить на квартиры директорам, чтоб они, в свою очередь, подняли на ноги партийный и комсомольский актив.

Обкомовские телефоны работали с полной нагрузкой. Руководители фабрик и заводов — те, с которыми удалось связаться, — крутили диски аппаратов до мозолей на пальцах. Однако постепенно становилось ясно, что митинг безнадежно сорван. Квартиры комсомольских и партийных активистов или не отвечали, или же сами активисты отвечали женскими голосами — дескать, нет дома, или жены активистов вдохновенно ввали в трубку, что мужья отправились в гости, куда — неизвестно. А один представитель завкома, потревоженный звонком и вероятно изрядно поддавший, так прямо и рубанул с плеча:

— Да вы что там, озверели — собирать народ после рабочего дня? Это вам не сталинские времена! И бросил трубку.

На сцене шел праздничный концерт артистов музкомедии. Исполнялись отрывки из оперетт — «Баядерка», «Москва-Черемушки», «Вольный ветер». После того, как прима театра, заслуженная артистка Узбекской ССР Светлана Барашкова, спела:

«Друг мой, будь, как вольный ветер!..»

— товарищ Сталин улыбнулся и зааплодировал. Зал подхватил аплодисменты, а начальник областной милиции понимающе переглянулся со вторым секретарем и послал человека, дежурившего у дверей, за кулисы.

— Когда мое выступление? — не оборачиваясь, спросил Сталин.

— Передача назначена на восемь вечера, — услужливо подсказали голоса из темноты ложи.

Сталин глянул на часы:

— Интересно посмотреть. — Сталин встал и, показав пальцем на второго секретаря и Зам.Преда из Москвы, добавил: — Со мной пойдешь ты и ты.

Полковник Белоручкин с радушной улыбкой усадил их в директорском кабинете, включил телевизор, а сам скромненько удалился в приемную. Телевизор загудел, зажегся бледно-голубой экран. Смутные тени, метавшиеся на экране, постепенно обретали четкие контуры. Парень в темном свитере и шлеме бежал на коньках, размахивая клюшкой. Его толкнул другой конькобежец в светлой форме, но парень устоял на коньках и ткнул клюшкой черный кружок. В карликовых воротах упал кургузый человечек в страшной маске, а из телевизора комментатор завопил высоким, пронзительным голосом, будто его только что кастрировали: «Го-о-л!»

— Это что такое? — брезгливо скривив нижнюю губу, осведомился товарищ Сталин.

— Это хоккей! — чуть слышно пролепетал второй секретарь обкома, и левая щека его задергалась. — Наши играют с канадцами.

— Так! — сказал Сталин и достал трубку. — Митинг до сих пор не собрали, мое выступление задерживается... В чем дело, Аркаша? Иль область тебе не по зубам?

В приемной полковник Белоручкин накручивал телефонный диск.

— Когда передача? — спросил полковник. — Почему? Расстреляю сволочей!

Шумно дыша, полковник появился в дверях:

— Товарищ Сталин, разрешите доложить! На телевидение пробрались вредители: говорят, что невозможно прервать трансляцию матча.

— Ну, Аркаша, что скажешь? — глухо и зловеще

спросил Сталин, буравя второго секретаря пронизывающим взглядом.

Даже при бледно-голубом освещении было заметно, как посерело лицо Второго. Теперь у него попеременно дергались обе щеки.

— Иосиф Виссарионович... — бесцветно и убито забормотал второй секретарь. — На телевиденьи правильно говорят — нельзя прекратить трансляцию: народ возненавидит любого, кто помешает досмотреть матч до конца. Возненавидит и не простит. Даже если б это был... сам Владимир Ильич.

Сталин закурил трубку, помолчал, потом сухо осведомился:

— Когда хоккей кончится?

— В двадцать один сорок пять! — отрапортовал полковник.

— Передачу назначить на десять, — устало произнес Сталин, — а эту муть выключить.

Белоручкин позвонил на студию, распорядился. Но тут же телефон разразился частыми нетерпеливыми звонками.

— Чего еще? — заорал полковник в трубку. Однако голос его сразу спал. — Да, слушаю, — говорил полковник, — у аппарата Белоручкин. Так точно, передам.

Сталин, совсем было собравшийся уходить из кабинета, вопросительно глянул на полковника.

— Товарищ Сталин, — доложил Белоручкин, — звонили из ЦК! Они получили приветственное письмо от нашей области. Сейчас заседает Политбюро. Разрабатывается торжественный церемониал встречи товарища Сталина.

По лицу Сталина скользнула тень, потом он криво усмехнулся:

— Разрабатывается... Пошли на концерт.

В дверь номера постучали. Суриков вздрогнул,



метнулся от окна, включил свет, поправил ремень и обреченным тоном произнес:

— Входите.

Дверь открывалась очень медленно, и эти три секунды были самыми страшными в жизни капитана Сурикова.

— Привет! — бодро сказал Красавин. — Небось, в штаны наложил?

— Чёрт! — лязгнул зубами капитан Суриков. — Откуда ты, прелестное дитя?

— Водочка есть? — спросил Красавин. — Сейчас бы стопаря хватил. Кстати, свежая новость: в Москве заседает Политбюро. Разрабатывается торжественный церемониал для встречи товарища Сталина. Так нам передали.

— Ну? — У Сурикова подкосились ноги, и он опустился в кресло.

— Ну и народ потихоньку разбегается, — засмеялся Красавин. — Наружная охрана исчезла. Анатолий Николаич, в буфете продают водку?

— Да говори толком! Успеешь за водкой!..

— Толенька, не нервничай. Народ у нас сообразительный. Смекнул. Понимаешь, у нас еще не было случая, чтоб Они возвращались. Если там, — Красавин поднял палец к потолку, — человек теряет свой пост, то это навсегда. Там, наверху, никто ему своего места не уступит. Раз Политбюро собралось раньше, чем Сталин успел выступить перед трудящимися, то будь спок — Москва что-нибудь придумает.

— Идем в буфет! — сказал Суриков.

Ах, Красавин, Красавин, не поторопился ли он?

Публики в театре действительно поубавилось, зато оставшиеся всячески демонстрировали свою верность Вождю и Учителю. И когда со сцены молодой тенор вместо очередной арии из оперетты запел:

«Артиллеристы, Сталин дал приказ,  
Артиллеристы, зовет отчизна нас!..» —

— зал дружно подхватил припев.

Объявили антракт. Однако в фойе сами собой закрутились летучие митинги. Ораторы не спорили, они единодушно призывали действовать. Особенно усердствовал розовощекий секретарь обкома комсомола, и вокруг него собралось наибольшее количество слушателей. Сталин в окружении обкомовской свиты проходил мимо и замедлил шаг.

— Мы пожинаем плоды гнилой, либеральной политики, — витийствовал розовощекий секретарь. — Отсюда распушенность нравов, длинные волосы, мини-юбки. Мы слишком много разрешаем, а нам надо требовать и требовать! Только так можно построить коммунизм. Где нынешние Павлы Корчагины и Павлики Морозовы? Увы, телеэкран дарит молодежи других героев — песняров, мастеров фигурного катания, которые только и знают, как задирать ножки, да избалованных звезд футбола. Государству нужна крепкая рука! Хватит миндальничать с интеллигенцией! Пора разъяснить мудрствующим лукаво бороатым физикам и лирикам, что кто не с нами, тот против нас. А с теми, кто против нас, будем расправляться беспощадно!

Зам.Пред из Москвы покачал головой:

— Горячий паренек! Круто забирает.

— Далеко пойдет, — прищурившись, сказал Сталин и скрылся за дверьми директорского кабинета.

Полковник Белоручкин накручивал телефонный диск, матерился и плевался в трубку, а потом в отчаяньи доложил:

— Товарищ Сталин, телевизионщики — контры. Плачут, божатся, но говорят, что некуда вставлять передачу. На 22.00 запланирована трансляция фут-

большого матча на Кубок обладателей кубков. Киевское «Динамо» играет с немцами.

— Дожили, — вздохнул товарищ Сталин. — Вождю нельзя пробиться к массам. Впрочем, я не спешу. Время работает на нас.

Он подкрутил кончик уса и замолчал. Он подумал, что в сущности — еще один день или еще один год не имеют принципиального значения. Раз уж он дождался своего часа, то кто же сможет помешать ему, Гению всего человечества, большому ученому, в языкознании знающему толк, вновь повести страну к победе коммунизма? Конечно, он сразу догадался, что какая-то гнида успела оповестить Москву раньше, чем туда дошло обращение бюро обкома. Звонок из ЦК и сообщение, что Политбюро в сборе, — явное тому доказательство. Засуетились, забегали! Однако разве по силам нынешним желторотым цыплятам остановить Сталина? Вот пятьдесят лет тому назад обстановка была сложнее. Какие корифеи выступали против него! Прославленные вожди революции: 1) Троцкий — «самый способный человек из состава Политбюро» (Ах, Ульянов, такую свинью подложил в завещании!); 2) Бухарин — «любимец партии»; 3-4) Каменев и Зиновьев — оракулы и теоретики III Интернационала; 5) Рыков — «умелый хозяйственник»; да еще эти старые клячи Крупская и Стасова и еще... Только куда все они подевались через десять лет? Помогло, тебе, Лев Давыдович, ораторское искусство? Как лихо на допросах закладывали друг друга Бухарин и Зиновьев! А Каменев до последней минуты надеялся, что зачтут ему прежние заслуги... Да, в двадцать четвертом году никто не верил, что Сталину удастся устоять. Верил лишь один Сталин, ибо он, единственный, понял, что России нужны не «немецкие теории», а привычная железная рука. Народ надо держать в крепкой узде. Конечно, тут без него отпустили вожжи. О чем это они говорят?

Сталин прислушался.

— Наши насуют немцам, — говорил профсоюзник, — фактор своего поля.

— У них один Мюллер трех игроков стоит, — возражал член бюро, директор металлургического завода. — Этот гад без гола не уходит.

— Колотов и Мунтян — проверенные ребята, — убеждал начальник милиции, — будут играть кость в кость!

— В киевском «Динамо» слабо поставлена воспитательная работа. — утверждал секретарь по пропаганде. — Нет боевого настроения.

— У нас Блохин!

— А у них Беккенбауер!

— Лобановский использует прогрессивную систему «два-четыре-четыре».

— Да ФРГ — чемпион мира!

— Вот посмотрим как во втором тайме...

«Идиоты, — изумился Сталин, — нашли о чем спорить! И с такими кадрами мне вести страну к новым успехам?»

Сталин раздраженно постучал трубкой об стол:

— Переносим мое выступление на завтра. Все равно враг будет разбит, победа будет за нами!

— Правильно, товарищ Сталин, — обрадовался знатный кукурузовод, — выиграем у немцев со счетом пять-ноль!

Но остальные члены бюро опомнились и в смущении замолкли. Один лишь полковник Белоручкин не оплошал:

— Товарищ Сталин, — с молодой горячностью, воскликнул полковник. — Только прикажите, я сейчас же поеду на телевиденье и всех их, контриков, расстреляю!

— Ага! — кивнул Сталин.

Тут уж заволновался Аркадий Николаевич, второй секретарь обкома партии:

— Иосиф Виссарионович! Не надо лишних эксцессов. В понедельник я их всех уволю с работы.

Сталин махнул рукой:

— Можно и так.

Давно смолкли оживленные голоса в фойе. Участники торжественного заседания разошлись по домам (с разрешения Сталина), а сам Сталин, привыкший бодрствовать до четырех часов утра, ждал в директорском кабинете вестей из Москвы. С ним остались члены бюро обкома.

Старший лейтенант Подберезовик одиноко бродил по полуосвещенным коридорам, и недобрые предчувствия томили его душу.

Из приоткрытой комнаты администратора доносилась тихая музыка — вероятно, кто-то забыл выключить приемник — радиостанция «Юность» повествовала про какого-то «шизика», жившего черт знает когда и написавшего нечто такое-этакое, очень древнее, которое Василий Иванович никогда не слышал и слушать не собирался. Ночь предстояла длинная.

Пробили кремлевские куранты. В образовавшуюся паузу вполз новый, грохочущий, лязгающий звук. Василий Иванович бросился к окну. На пустынную площадь вылезли три бронетранспортера, с расчехленными пулеметами. Маленькие фигурки ловко выпрыгивали из открытых люков. Снизу нарастал топот сапог.

— Где? — отрывисто спросил Василия Иваныча подполковник в кожаной куртке и шлеме танкиста. За подполковником пружинисто отмеряли шаги солдаты в лихо заломленных беретах — форме воздушных десантников.

— Там! — поспешно указал Василий Иваныч на директорский кабинет и, прячась за спины десанта, протиснулся в приемную.

— Товарищ Сталин, — молодежато рапортовал с

порога танкист-подполковник, — по приказу министра обороны маршала Советского Союза Гречко второй батальон мотострелковой гвардейской Кантемировской дивизии прибыл для вашей личной охраны, чтобы немедленно сопровождать вас в специально подготовленную резиденцию. Техника выгружается на аэродроме. Таманская танковая дивизия в случае необходимости может быть переброшена в город за два часа.

За круглым столом, в кресле у самой двери, зашевелилась фигура. Василий Иванович готов был поклясться, что еще полминуты назад в кресле никого не было — вернее, маячило нечто бесцветное, химерическое, не заслуживающее внимания, — однако сейчас прямо на глазах фигура обрела плоть, вес, значимость и наконец прежним, уверенным голосом первого секретаря обкома чуть хриповато проговорила:

— Продолжайте, полковник.

— Я уполномочен зачитать обкому, — продолжал танкист, — ответ Политбюро ЦК КПСС на приветственное письмо представителей трудящихся области.

Новые люди, вероятно, экипаж следующего бронетранспортера, вытеснили Василия Ивановича в коридор. Улучив момент, Василий Иванович опять протолкнулся в приемную. Теперь он не прятался за спинами солдат, и с высоты его роста ему было прекрасно видно все происходящее в кабинете.

— ...Ленинское Политбюро нашей партии, — читал подполковник с листа, — приветствует чудесное выздоровление прославленного руководителя, испытанного марксиста, товарища Сталина! Всему миру продемонстрированы огромные успехи передовой советской медицинской науки. Однако ЦК сочло нецелесообразным кооптировать товарища Сталина в члены Политбюро, так как общеизвестно, что дочь товарища Сталина, Светлана Аллилуева, сбежала за границу, изменила Родине и тем самым скомпрометировала имя Вождя в глазах нашего народа...

Повелительным жестом Сталин оборвал речь подполковника, поднялся из-за стола и резким голосом, в котором угадывалось множество оттенков — от иронии до восхищения, — резюмировал:

— Научились, с-с-су-слики!

## VIII

*«И ближнему на ухо сам  
Он шепчет пароль свой и лозунг...»*

В субботу утром по городу поползли слухи. Говорили... Собственно, о чем только ни говорили! Понижающие люди обратили внимание на отсутствие сегодняшних областных газет. Город всполошился, рождались небылицы, одна фантастичнее другой. Однако после одиннадцати, когда заработали винно-водочные отделы, все эти новости были мгновенно перекрыты менее интригующим, но более ошеломляющим сообщением:

В магазины! — выбросили! — нашу! — родную! — московскую! — особую! — за два восемьдесят семь!!!  
Торопись, пока не раскупили!

Все взрослое население города, прихватив сумки, мешки, рюкзаки, разом устремились на штурм винных прилавков. «Особую московскую» покупали даже язвенники, трезвенники, пенсионеры, сердечники! Кто же мог устоять перед соблазном приобрести давно исчезнувшую водку с четырьмя медалями на этикетке, которая, к тому же, почти на рупь дешевле обычной?

У сберкасс выстраивались очереди. В городе шло братание, и уж такое началось...

Любопытно, что и на следующий день, презрев инструкцию Министерства торговли, запрещавшую

продажу водки по воскресеньям, все магазины бойко торговали «Особой московской».

А в понедельник граждане были настолько переполнены впечатлениями от двух прекрасных праздничных дней (наперебой хвастались, кто сколько выпил, кто с кем подрался, кто где гулял), что начисто, намертво забыли о странных событиях злосчастной пятницы. И если впоследствии кому-то изредка что-то припоминалось, то он спешил отогнать от себя эти мысли — мало ли что померещилось с перепоем!

Наступили трудовые будни. В городе все оставалось по-прежнему. Правда, первый секретарь обкома полежал недельку в больнице с сердечным кризом, да в областном управлении КГБ полковник Белоручкин ушел на пенсию, а его пост — заместителя начальника управления — вскоре занял розовощекий секретарь обкома комсомола. (Сбылось мудрое предвиденье вождя и учителя.)

Что еще? «Лысого пупа» — товарища Александрова — больше никто никогда не встречал на Второй трикотажной фабрике, а работников Хлебторга — Когана, Фельдмана, Гринштейна — освободили из-под стражи через неделю, и они были так счастливы, что им даже в голову не пришло на кого-то жаловаться.

С поэтом Поклепиковым дело обстояло несколько сложнее — все-таки областная знаменитость. Перед поэтом извинились, а местное отделение Литфонда выписало ему безвозвратную ссуду на 150 рублей и предоставило бесплатную путевку в дом творчества «Гагра».

Капитан Суриков отбыл по назначению в Москву, а в судьбе Красавина ничего не изменилось — может, оно и к лучшему?

Да, чуть не забыли: в городском комиссионном магазине появился новый директор — молчаливый курчавый великан, Василий Иванович. Веселись, Верка!



В заключение необходимо сообщить, как был улажен вопрос с иностранными корреспондентами. Да, недоучли, недоглядели наши товарищи из МИДа, и уже в субботу вечером начальник отдела министерства, подписавший разрешение журналистам посетить Семёнград, рыдал у себя дома, кусая обшивку на импортном диванчике, ибо мидовца только что поздравили с новой должностью — он стал заведующим бытовым сектором в Союзе Композиторов.

Ну, с корреспондентами из соцстран обошлось без осложнений. Позвонили в посольства, и на этом инцидент был исчерпан.

Оставалось договориться с американцами и англичанином.

Как только господа иностранцы прибыли в Москву, их взяли прямо на перроне и, не давая даже приблизиться к телефонам-автоматам, проводили на привокзальную площадь, где посадили (довольно бесцеремонно) в две черные «Волги». Господ иностранных журналистов сразу повезли в ТАСС. Их немедленно принял один из ответственных директоров агентства. Случай беспрецедентный!

Ответственный тассовец, высокий, холеный, с оттопыренными от постоянного вранья губами и наглыми глазами продавщицы винно-водочного отдела, любезно предложил господам журналистам «седаун плиз», виски, коньяк.

Странное дело — несмотря на вопиющее нарушение дипломатического этикета, несмотря на полный произвол по отношению к членам корреспондентского корпуса, господа иностранные журналисты были отнюдь не обескуражены и даже не обеспокоены. Американцы, мистер Джек и мистер Ивнинг, прыскали в рукав и заговорщически перемигивались. Англичанин, мистер Рой, пренебрежительно ухмылялся.

Ответственный тассовец напряженно оценивал обстановку. Американцев он не боялся. Эти господа

давно связали свою карьеру с Россией и не отважатся на открытый скандал. В Москве они жили, как короли, и кто из них рискнет начинать свою деятельность сызнова, где-нибудь в Вашингтоне или Латинской Америке? Но мистер Рой, прыщавый сопляк, мальчишка (остричь бы его наголо да выпороть!) — это фрукт особый. У него не было ни прочного положения, ни громкого журналистского имени. Этот ради красного словца...

Да, граждане, нелегкая складывалась ситуация.

— Я приношу глубочайшие извинения за причиненное беспокойство, и лишь чрезвычайные обстоятельства... — вежливым и фальшивым голосом начал ответственный тассовец, и у него даже живот занял от унижения. На пресс-конференциях он привык разговаривать с этими господами, как учитель физкультуры в ПТУ, а теперь приходилось просить, умасливать, ублажать.

Ответственный тассовец заверял господ корреспондентов, что в случае, если они забудут мелкое и нелепое происшествие в Семёнграде, то им будет предоставлена возможность посетить любой город Советского Союза. Да, да, господа, любой город, в который еще не вступала нога иностранца!

Мистер Джек хитровато улыбнулся, и ответственный тассовец мгновенно среагировал:

— Джек, мы же давно знаем друг друга. — (Подобное фамильярное обращение должно было свидетельствовать о дружеском расположении тассовца к мистеру Джеку.) — Зачем нам портить отношения? Не скрою, у нас весьма недовольны вашим репортажем о выставке в Измайлове. И потом, ваша связь с балериной Удальцовой... Однако у всех в работе случаются накладки. Считайте, мы продлили вашу аккредитацию.

Но мистер Ивнинг, всегда такой покладистый и понятливый, на этот раз высокомерно фыркнул:

— Господин Запечный! — (Мы старались не упоминать фамилию ответственного тассовца, но от вездущей западной прессы разве что скроешь?) — Наш профессиональный долг — информировать читателя о всех интереснейших событиях в мире.

Дальнейший диалог напоминал партию в пинг-понг.

— А как же разрядка международной напряженности?

— Не вижу связи.

— Когда вас выставят из Москвы за незаконную покупку икон — увидите.

— Фу, господин Запечный, грубый шантаж... На этой информации я заработаю сто тысяч долларов.

— Не заработаете. Мы дадим официальное опровержение и объявим вашу информацию типичной буржуазной «уткой».

— А фотографии?

— Кажется, у вас разобьется фотоаппарат, как только вы попытаетесь сесть в машину.

Мистер Ивнинг усмехнулся и вкрадчиво спросил:

— Простит ли мне мой шеф, если мы промолчим, а агентство Рейтер даст информацию?

Тут взоры всех присутствующих обратились к мистери Рою. Мистер Рой вздыбил свои нечесанные патлы и весело подтвердил:

— Да, да, господин Запечный. Непременно, сегодня же Рейтер протелеграфирует всему миру.

Лицо товарища Запечного сделалось серьезным.

— У меня есть некоторые данные, что наше правительство собирается выпустить в декабре дополнительно сверх квоты десять тысяч евреев. Через соответствующие каналы мы проинформируем о большой заслуге в этой гуманной акции корреспондента агентства Рейтер. Мистер Рой, — тассовец отвел пылающие ненавистью глаза, — вы человек молодой, способный, согласитесь, это явится блистательным

началом вашей журналистской карьеры, уж не говоря о том, что десять тысяч человек будут благодарны лично вам.

Но паскуда-англичанин, видимо, не нуждался ни в чьей благодарности. Он положил ногу на ногу, хлебнул из фужера коньяку и с важностью произнес:

— Я честный журналист и в сделки не вступаю.

Мистер Джек невольно вздохнул, а мистер Ивнинг кинул на товарища Запленного сочувственно-извиняющийся взгляд. М-да, как и ожидал тассовец, с мистером Роем было тяжело. Мало мистеру евреев! Но недаром товарищу Запленному доверили такой ответственный пост. Приходилось выкручиваться из ситуаций и похуже. Поэтому товарищ Запленный все предусмотрел и еще утром в ЦК запасся «козырным тузом». Конечно, не хотелось его выкладывать, но другого выхода не было.

— Господа, я вас не понимаю, — загрустил тассовец. — Зачем посылать заведомо ложную информацию, заранее зная, что она будет официально опровергнута? И это в то время, когда наши правительства достигли заметной разрядки международной напряженности. Народы мира устали от холодной войны. — Выстрелив холостым зарядом, Запленный резко изменил тон и заговорил холодно, привычно-деловито. — В городе Кимрах номерной «ящик» работает над созданием модернизированных межконтинентальных ракет стратегического значения...

В кабинете стало слышно, как секретарша за двойной, обитой кожей дверью отвечает кому-то по телефону: «Его нет. Не знаю. Позвоните завтра». Тассовец достал из стола три бумажки и подписал каждую из них.

— Вот пропуска на завод. Можете ехать хоть завтра. Разрешается любой репортаж и любые фотографии.

Мистер Джек присвистнул, а глаза мистера Ив-

нинга зажглись, как у охотничьей собаки, напавшей на след крупного зверя. Что касается мистера Роя, то он поперхнулся, покраснел, отодвинул фужер и с трудом выдавил из себя:

— Пожалуй, вы правы. Народы мира устали от холодной войны.

С недавнего времени на одном из участков северного шоссе (очевидцы и свидетели этой правдивой истории не ставили своей целью раскрывать государственные тайны, а посему ни за какие деньги, ни под какими пытками не упомянут наименование шоссе, километраж, и даже название города, в котором развернулись события; раз уж господа иностранные корреспонденты согласились молчать, то и мы обозначили город условно — Семёнград), — так вот, на одном из участков северного шоссе появился дорожный знак «Остановка запрещена». Если углубиться в густой болотистый лес, то через пару километров упруешься в глухой двухметровый забор с колючей проволокой и с часовыми на вышках. Что это, оборонный объект? Засекреченная школа разведки? Не будем гадать. Известно только, что каждое утро к воротам подается продуктовый фургон, шофер выходит из машины, а за руль садится офицер и уезжает в глубь территории по бетонной дорожке, аккуратно обсаженной маленькими елочками. Известно также, что с месяц назад на этот объект привозили заслуженную артистку Узбекской ССР Светлану Барашкову. Вероятно, она выступала там с творческим концертом. Никаких других подробностей Светлана не сообщила. И вообще, у нее новая шуба на лисьем меху. Солдатам, охраняющим объект, редко дают увольнительные, а в увольнении они не жмутся с деньгами, на службу не жалуются и о том, что происходит за двухметровым забором, предпочитают не разговаривать. Судя по всему, охрана пока надежна.

*Москва, 1974-75 г.*

Иосиф Бродский

## В АНГЛИИ

*Диане и Алану Майерс*

### БРАЙТОН-РОК

Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое море на сушу выбрасывает шум прибоя и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска лишней воды с лишней тьмой возникают, резко выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы, летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях беззаботно вскрикивает коноплянка. Чистая линия горизонта с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой, и танкер перебирает мачтами, как упавший на спину муравей. В сознании всплывает чей-то телефонный номер — порванная ячейка опустевшего невода. Бриз овеивает щеку. Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку, и отражение полощется рядом с оцепеневшей лодкой. В середине длинной или в конце короткой жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.

### СЕВЕРНЫЙ КЕНСИНГТОН

Шорох «Ирландского Времени», гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных дёсен. Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но

длящейся жизни, к которым уже давно  
ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой  
собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.  
Только мышь понимает прелести пустыря —  
ржавого рельса, выдернутого штыря,  
проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза,  
поражения времени пред лицом железа.  
Ничего не исправить, не использовать впредь.  
Можно только залить асфальтом или стереть  
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой  
бетонного стадиона с орущей массой.  
И появится мышь. Медленно, не спеша,  
выйдет на середину поля, мелкая, как душа  
по отношению к плоти, и, приподняв свою  
обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».

## СОХО

В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,  
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной  
говорящего рта. Партнер созерцает стены,  
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в «Сцены  
скачек в Эпсоме». — Флаги. Наездник в алом  
картузе рвется к финишу на полуторугодовалом  
жеребце. Всё слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.  
На трибунах творится невообразимое... — «не ответил  
на второе письмо, и тогда я решила...» Голос  
представляет собою борьбу глагола с  
ненаставшим временем. Молодая, худая  
рука перебирает локоны, струящиеся не впадая  
никуда, точно воды многих  
рек. Оседлав деревянных четвероногих,  
вкруг стола с недопитым павшие смертью храбрых  
на чужих простынях джигитуют при канделябрах  
к подворотне в -ском переулке, засыпанной снегом. — Флаги  
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги  
различимы становятся у соперника на подбородке.  
И трибуны теряются из виду... — В подворотне  
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,  
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы

ни пришел сюда первым, колокол в переулке  
не звонит. И подковы сивки или каурки  
в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,  
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.

## ИСТ ФИНЧЛИ

Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой  
стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий  
и садовой герани, точно дредноут в мелком  
деревенском канале. Перепачканный мелом  
правый рукав пиджака, так же как самый голос,  
выдает род занятий — «Розу и гладиолус  
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,  
раз или два в неделю». И он мне приводит цифры  
из «Советов любителю-садоводу»  
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду  
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной,  
скупо обставленной, нарочито пустынной,  
жена — он женат вторым браком — как подобает женам,  
раскладывает, напевая, любимый Джоном  
Голсуорси пасьянс «Паук». На стене акварель: в воде  
отражается вид моста неизвестно где.

Всякий живущий на острове догадывается, что рано  
или поздно всё это кончается, что вода из-под крана,  
прекращая быть пресной, делается соленой,  
и нога, хрустевшая гравием и соломой,  
ощущает внезапный холод в носке ботинка.  
В музыке есть то место, когда пластинка  
начинает вращаться против движенья стрелки.  
И на камине маячит чучело перепёлки,  
полагавшейся на бесконечность леса,  
ваза с веточкой бересклета  
и открытка с видом базара где-то в Алжире — груды  
пестрой материи, бронзовые сосуды,  
сзади то ли верблюды, то ли просто холмы;  
люди в тюрбанах. Не такие, как мы.

Аллегория памяти, воплощенная в твердом  
карандаше, застывшем в воздухе над кроссвордом.



Дом на пустынной улице, стелющейся покато, в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката отражается, точно в окне экспресса, уходящего в вечность, где не нужны колёса. Милая спальня (между подушек — кукла), где ей снятся ее «кошмары». Кухня; издающая запах чая гудящая хризантема газовой плитки. И очертанья тела оседают на кресло, как гуща, отделяющая от жижи. Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку мелкие вещи — с розой, подобной знаку бесконечности из-за пучка восьмерок, с колесом георгина, буксующим меж распорок, как расхристанный локомотив Боччони, с танцовщицами-фуксиями и с еще не распустившейся далией. Плавающий в покое мир, где не спрашивают «что такое? что ты сказал? повтори» — потому что это возвращает того воробья неизменно в ухо от китайской стены; потому что ты произнес только одно: «цветы».

### ТРИ РЫЦАРЯ

В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полумраке ротонды, как каменные осетры, чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три горбоносы и узколицы, и с головы до пят рыцари: в панцире, в шлеме, с длинным мечом. И спят дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки крещены на груди, точно две севрюги.

За щелчком аппарата следует вспышка — род выстрела (всё, что нас отбрасывает вперед, на стену будущего, есть как бы выстрел). Три рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри камеры то, что уже случилось — либо при Пуатье, либо в Святой Земле: путешественник в канотье

для почивших заради Отца и Сына  
и Святого Духа ужаснее сарацина.

Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.  
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки  
порхают у баптистерия над клумбою и т. д.  
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде,  
природа скорей успокаивает, чем увлекает глаз;  
и под стеной ротонды, как перед раз  
навсегда опустившимся занавесом в театре,  
аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.

## ИОРК

W. H. A.

Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою  
под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средою  
наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром,  
и поля выгорают. Города отдают лежалым  
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.  
И твой голос — «Я знал трех великих поэтов. Каждый  
был большой сукин сын.» — раздается в моих ушах  
с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг

и готов оглянуться. Скоро четыре года,  
как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелой перехода  
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,  
тополя. Честер тоже умер — тебе известно  
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счётах,  
воробьи восседают на проводах. Ничто так  
не превращает знакомый подъезд в толчею колонн,  
как любовь к человеку; особенно, если он

мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья  
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.  
Танец белых капустниц похож на корабль в бурею.  
Человек приносит с собою тупик в любую  
точку света; и согнутое колено  
размножает тупым углом перспективу плена,

как журавлиный клин, когда он берет  
курс на Юг. Как всё движущееся вперед.

Пустота, поглощая солнечный свет на общих  
основаньях с боярышником, увеличивается наощупь  
в направлении вытянутой руки, и  
мир сливается в длинную улицу, на которой живут другие.  
В этом смысле он — Англия. Англия в этом смысле  
до сих пор Империя и в состоянии — если  
верить музыке, булькающей водой —  
править морями. Впрочем — любой средой.

Я в последнее время немного сбиваюсь: скалось  
отражению в стекле витрины; покамест палец  
набирает свой номер, рука опускает трубку.  
Стоит закрыть глаза, как я вижу пустую шляпку,  
замершую посередине бухты.  
Выходя наружу из телефонной будки,  
слышу голос скворца, в крике его — испуг.  
Но раньше, чем он взлетает, звук

растворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини  
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,  
ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно  
заполняет местный ландшафт. Как сухая пена,  
овцы покоятся на темнозеленых волнах  
иоркширского вереска. Кордебалет проворных  
бабочек, повинуюсь невидимому смычку,  
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрочку  
ни на чем задержаться. И вертикальный стебель  
иванчая длинней уходящей на Север  
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.  
Вычитая из меньшего большее — из человека Время,  
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом  
фоне отчетливей, чем удается телом  
это сделать при жизни, даже сказав «лови!»

Что источник любви превращает в объект любви.

Английские каменные деревни.  
Бутылка собора в окне харчевни.  
Коровы, разбредшиеся по полям.  
Памятники королям.

Человек в костюме побитом молью  
проводит поезд, идущий, как всё тут, к морю,  
улыбается дочке, уезжающей на Восток.  
Раздается свисток.

И бескрайнее небо над черепицей  
тем синее, чем громче птицей  
оглашаемо. И чем громче поет она,  
тем всё меньше видна.

## ДИВНАЯ МАЛИНА

### *IX. Благослови нас*

В воскресенье с утра они пошли в деревянный квартал. Так называли часть города ниже костела, за рекой. (Мушина с букетом сирени из Ленкиного сада пришел извиниться перед Мышкой — Туронь как раз выходил.) Они шли втроем: редактор, Генрик и Малгося (она держала отца за руку). Председатель говорил о деревянных домах.

— Самая серьезная городская проблема. Этих людей надо переселить как можно скорей.

В деревянном квартале жить было действительно тяжело. Старые дома построены на уровне реки. Весной подвалы часто заливало водой. Стены набухали, как мокрая бумага, дерево гнило, балки точил грибок. Тут жили самые что ни на есть бедные: Франек Сломкевич с матерью, уборщица Чеся, Кривой Стефан. Поскольку планы предусматривали ликвидацию всего квартала, архитектор перестал выдавать разрешения на ремонт. Последние два года дома всё больше разрушались.

— Этот микрорайон по Проектируемой должен был быть для них, — говорил Генрик. А когда шли через мост, добавил: — Плохо, что я поддался на уговоры и взял там квартиру. Надо было уступить одной из этих семей.

Малгося спросила: — А где бы мы жили, папочка? Всё у пани Вильчинской, в одной комнате?

Туронь не ответил, только Мушина засмеялся: — Ой, Геню, Геню! Ребенок и тот лучше знает, как надо жить!

Перейдя мост, они встретили Франека Сломкевича. Опираясь на палку, он шел в город.

— А, пан редактор и пан председатель! — обрадовался он: — Рады видеть в наших краях!

Он принялся уговаривать зайти к нему, вроде бы для того, чтоб Малгосе показать голубятню. Пришлось заглянуть. И этот дом был деревянный, старый, с крыши сыпались обломки черепицы, на дворе стояли лужи грязи. Они сели на скамейку под навесом.

— Матери нет, — извинялся Франек. — Я один уж и не знаю, чем вас угощать.

Он пошел показать Малгосе голубей. Туронь снова заговорил:

— Глянь! Они живут прямо как в хлеву. Загляни в избу, увидишь мокрые стены. Дети болеют ревматизмом, старики ходят скрюченные. Вот хоть Кривой Стефан. Недалеко отсюда у него домик — клетушка. Присмотрись, как ему пальцы скрючило. А тут ведь есть и многодетные семьи: по восьмеро и больше приплоду!

— Почему ты об этом не скажешь, где надо? — спросил Мушина.

Туронь засмеялся: — Да ты что, старик! Кричу, ору на собраниях. Воеводству в набат бью, и что? У них на каждое слово десять. Фронт работ стал, ибо инвестор вовремя не обеспечил документацией... Или материалов не хватает; или территория не оснащена...

Вернулись Франек и Малгося. — Папка, — радовалась девочка, — пан Сломкевич дал мне голубка поддержать!

Франек хотел показать место, где его сбили.

— Полкилометра отсюда. Недалёко. Вы сами увидите!

— В другой раз, Франек, в другой раз, — успокаивал его Туронь. — Мы еще хотим посмотреть стройку фабрики. Это в другую сторону.

Инвалид пошел с ними. Они прошли немного вдоль реки, потом по дороге, посыпанной гравием, к подножью еловых холмов. Вокруг стройки стояла ограда из бетонных плит. Некоторые валялись перевернутые. Они вошли через одну из дыр в ограде. Трава стояла высокая, до пояса, трещали сверчки. Они пошли в сторону цеха, стоявшего посередине стройки.

— Вот результаты невежества! — говорил Туронь. — Кому пришлось в голову строить тут фабрику — тех бы посадить следовало.

Франек засмеялся: — Они и сидят, сидят. В мягких креслах!

— Территория отрезана рекой, ни подехать, ни железную дорогу подвести, — говорил Туронь. — Да и разве окупилось бы это? Несколько миллионов в грязи утопли! Цех разрушается, заводка валится...

Малгося принялась собирать цветы.

— Папка, — кричала она, приседая в высокой траве, — ты меня видишь?

С крыши свисали оборванные полосы жести.

— Воруют, — сказал Туронь. — Ставки сторожа нету. Да и зачем?

Они вошли в пустой цех. Их голоса зазвучали гулко. Стены были покрыты неприличными рисунками и надписями. Пахло испражнениями. Ласточки со свистом кружили под потолком — влетали и выпархивали через выбитые окна.

— Продавщицу в магазине за тыщу золотых посадят, — сказал Сломкевич, — а тут столько ушло, и что?

Генрик вдруг взъерепенился: — В виллах сидят, пане Франек! Автомобили бьют, водку дуют и развлекаются! Вот что! Не будет, не будет в этой стране хлеба.

— Что волнуешься, Геню? — спросил Мушина. — Твое?

Туронь побагровел. Он резко обернулся и крикнул:

— Промой глаза водкой, алкаш! Может, тогда увидишь, как плохо, как плохо!..

Эхо под потолком повторило: ...охо ...охо ...охо!..

Франек и Мушина смотрели на него пораженные. Вбежала Малгося с букетом полевых цветов.

— Папка, папка! — кричала она. — Гляди, каких красивых насобирала. Мама отнесем.

Туронь улыбнулся ей, помягчел. Когда они возвращались лугом, он сказал Мушине:

— Прости, старик. Не по делу раскричался.

Франек, ковыляя, проводил их на ту сторону. Мушина обещал заняться его делом. Пойти вместе к прокурору Военке (Франек посылал жалобу в прокуратуру).

Они медленно спускались по улице, прилегавшей к костелу. Как раз была поздняя обедня. Люди стояли на церковном дворе. В ветках лип на площади шелестел ветер.

— А почему мы никогда не ходим в костел? — спросила Малгося. — Все дети из садика ходят, а я нет.

— Будешь большая, сама поймешь, — сказал Туронь.

Больше они не разговаривали. Девочка нюхала букет — всё снова и снова прятала лицо в цветы. Когда они поворачивали около парка, люди перед костелом запели:

— «Благослови нас, в нужде защиты и спаси от гибели...»  
Они долго слышали пение. Теплый ветер веял от реки.

К Шафранеку — директору городского стройтреста — он пошел в понедельник. Он несколько раз звонил в контору, но инженера не было.

— На стройплощадках, — чаще всего отвечала секретарша. Мушина решил ждать его на месте.

Баракы треста стояли на Проектируемой, недалеко от дома Туроней. Вроде бы посреди стройки, хотя за два года только один этот корпус и достроили. Мушина сделал снимки котлована под фундамент, с огромной лужей на дне. Рядом неподвижный экскаватор с вознесенным к небесам ковшом. Секретарша инженера видела из окна барака, как Мушина ходил, снимая ржавеющий кран, свалку полусгнивших досок, эту пустую яму и экскаватор. Двумя часами позже она подала инженеру записку, которую оставил Мушина. Возбужденная визитом редактора, она говорила:

— Пан директор, был этот журналист из газеты, два часа ждал. Перед тем ходил по стройке и всё фотографировал.

Шафранек, (лысый, невысокий мужчина с трубкой, запах которой разносился по всем комнатам барака, — по его примеру трубку курило еще несколько сотрудников) молча взял бумагу. Он вошел в кабинет, сел за стол и углубился в чтение.

Записка была напечатана на машинке. Мушина просил прощения за форму, в которой он обращается. Поскольку раньше ему много раз не удавалось связаться с инженером, он позволил себе на всякий случай написать несколько слов заранее, идя к нему с визитом. Он уверен, что не доставит лишних хлопот, если попросит разъяснить некоторые вопросы. Вопросы следовали. Первый: «Почему до сих пор выстроили только один корпус, если планом предусмотрено строительство трех до конца прошлого года?» Вопрос второй: «Знает ли инженер Шафранек условия, в которых живут люди так называемого деревянного квартала, и не ускорит ли этот факт темпы строительства?» Вопрос третий: «Каким путем обеспечивается сохранность стройматериалов на площадке и случаются ли кражи?» Вопрос четвертый: «Интересовались ли товарищи из госконтроля вопросом фабрики фанерных плит, строительство которой прервано вследствие ненадлежащего размещения?» Вопрос пятый: «Что стало с материалами, не использованными при строительстве фабрики (как известно, построен только главный цех, который в настоящее время приходит в разрушение)?», а также вопрос шестой («последний и приватный», как писал Мушина): «Где учился директор Шафранек и когда получил диплом?». У редактора был школьный товарищ, однофамилец директора, — поэтому он спрашивает.

Шафранек прочитал листок два раза. Внизу, под вопросами, было еще несколько пустых любезностей. Мушина извещал, что вскоре зайдет к нему за ответом.

Секретарша — пана Иренка — несколько раз заглядывала в контору Шафранека. Обычно инженер любил пошутить. Иногда пытался обнять ее и посадить на колени. Она только два месяца работала в тресте, но уже была довольна (раньше была референткой в исполкоме). Шафранек, видно, любил таких, как она: молодых рослых женщин. Она не могла на него пожаловаться. Часто, когда они сидели только вдвоем с машинисткой, он заходил рассказать какой-нибудь анекдот.

— Ну и свинтус этот наш директор! — говорила потом машинистка.

Иренка довольно хихикала. Анекдоты Шафранека всегда касались всё того же: вопросов пола. Например, целая серия вопросов: «Когда женщина сердится?», «Когда женщина радуется?», «Когда женщина говорит «нет», а когда — «да?» И всё такое прочее. Жемчужный смех Иренки сквозь открытые окна доносился на стройплощадку.



Но теперь инженер сидел осунувшись и ничего не говорил. Секретарша почти зацепилась за его лысину бюстом (с подоконника за спиной инженера забрала пустой чайный стакан). Шафранек и на это не прореагировал. Трубка вроде бы погасла, потому что запах был слабее обычного.

К трем он поехал в райком. Вышел из «Варшавы», шоферу сказал не ждать — и побежал наверх.

Ему повезло — секретарь как раз вернулся из исполкома. Шафранек, запыхавшись, не здороваясь, подал ему листок.

— Генек! Вот, читай. Что за тип этот Мушина? чего он хочет?

Медза вынул очки и прочитал письмо.

— Он может завтра явиться за ответом. Ну и скажи, что я отвечаю? Еще о дипломе спрашивает!

Шафранек на самом деле был техником. Его титуловали инженером ввиду занимаемой должности. Иногда только, обычно по пьянке, он рассказывал, что окончил архитектурный факультет Львовского политехнического, а диплом пропал в войну.

Медза молчал.

— Ну, говори же что-нибудь, Генек! — волновался инженер. — Что мне отвечать этому Мушине?

— Не нравится мне этот редакторишка, — сказал в конце концов секретарь. И прибавил: — Пожалуй, надо играть на оттягивание, Владек. Может его отзовут?

Шафранек, разнервничавшись, пытался раскурить трубку.

— Ты же знаешь, Генек, как доберутся до фабрики, плохо может быть. Задержек со строительством микрорайона я не боюсь — всегда могу сказать, что не обеспечили во время документацией. Верно? Но эти фанерки, Генек, это дело похуже. Господом Богом клянусь. И чего ты тогда так сражался за эту фабрику?

— Я? — взвился Медза. — Я?

На протяжении двух следующих недель Шафранек был неуловим. Мушина звонил и несколько раз дождался его в бараке. Иренка во вторник вручила ему вежливое письмо, в котором инженер писал, что хотел бы лично разъяснить интересующие редактора вопросы, однако размах работы заставляет его отложить разговор на следующую неделю. А потом она говорила только: «на площадках», «поехал в воеводство», и в конце: «он на больничном».

Так до встречи и не дошло.

### *Х. Большой деревянный крест.*

К прокурору Военке они пошли с Франеком в середине недели, как Мушина и обещал. Он позвонил предварительно с почты, представился и спросил, когда они могут прийти.

— По какому вопросу? — спросил Военка.

Мушина объяснил, о ком идет речь.

— А, этот почтальон. Ну, ладно, ладно. Можете прийти завтра около двенадцати.

Они ждали в большом вестибюле: прокуратура расположена в старом здании, вместе с райсудом. Военка допрашивал двух молодых людей, подозреваемых в налете на кооперативный магазин. Они были у него в кабинете. В вестибюле сидел милиционер с автоматом. Франек пробовал разговорить его:

— Это те, что управились с кооперативом в Милковицах, правда, гражданин начальник?

Милиционер буркнул: — Сиди себе... — Больше ничего не сказал.

Когда те ушли, Военка вышел на порог.

— Ого, Сломкевич, давненько не навещал! А вы, наверно, редактор. Пожалуйста, пожалуйста. Входите. — Он подошел с протянутой рукой.

Он был небольшой, коренастый, в темно-синем костюме. Подбитые ватой плечи пиджака слегка были покрыты перхотью. Он был круглолицый и всё время улыбался. Мушину и Франека он посадил на стулья, с которых только что встали те двое. В кабинете было темно — окна выходили на затененную улицу возле парка.

— Я вас слушаю, — сказал Военка.

— У меня, прокурор, — начал Мушина, — некоторые сомнения по делу гражданина Сломкевича. Похоже, что вы не подали ему руки в беде.

Военка перестал улыбаться. Поглядел на Франека.

— Ой, Сломкевич, Сломкевич! Знаем, знаем, что направо и налево пишешь жалобы и людям рассказываешь, какая эта власть несправедливая! Даже редактору устроил кашу в голове, а?

Франек приподнялся со стула: — Пан прокурор, я и правда пострадавший. Ни работы, ни пенсии...

— Зося! — позвал Военка. Из соседней комнаты вышла девушка со светлым, высоко заколотым пучком (разнесся запах лака для волос). — Принеси, деточка, дело Сломкевича! Одна нога здесь, другая там!

Девушка исчезла.

— Ой, Сломкевич, Сломкевич, — повторил Военка. — Сколько ты нервов людям попортишь, здоровья. Словно вы действительно хотели бы изменить правду. А правду не изменишь, а, пан редактор?

Мушина проворчал: — Я бы хотел увидеть дело.

Они чуточку поговорили о погоде. Потом Военка разнервничался.

— Зося, Зося! Что за растрепал! — Встал и вышел из кабинета.

Франек сказал шепотом: — Обернут, обернут эту правду в бумаги, пока она там в серединке не сгинет! Я свое знаю.

Прокурор вернулся. Он нес картонную папку.

— Пожалуйста, пожалуйста, редактор! — говорил он от двери. — Не верите нашим органам, а? Думаете, мы будем гражданам наносить беспричинный ущерб? Прочитайте сами. Пожалуйста!

Мушина просмотрел бумаги. Там была жалоба, собственно-ручно написанная Франеком и начинающаяся словами: «Уважаемый гражданин районный прокурор!», справка из больницы, схема места происшествия и протоколы показаний свидетелей.

— Анализа крови нет?

Военка перестал улыбаться. — А когда мы могли сделать, редактор? Пока приехали товарищи из комендатуры, прошло время. Есть показания свидетелей. Этого достаточно.

— Никто не давал показаний, был ли Медза трезвый, — сказал Мушина.

Военка прямо отъехал со стулом от стола. — Что ж это вы, хотите сказать, что товарищ секретарь был пьяный?

— Я ничего не хочу сказать. Я только утверждаю, что в деле нет анализа крови. Свидетели говорят о Сломкевиче. О секретаре нет ни слова.

— Да, да, пан прокурор, — оживился Франек. — О том-то и речь. Окраса и Левандовский пили со мной, но накануне.

— Сломкевич! — прикрикнул Военка. — Вы прекрасно знаете, как было дело! Вы были пьяны. Теперь людям глаза отводите болтовней! Вы пили?

— Гражданин прокурор...

— Пили?

— Я хотел бы объяснить.

— Вы пили?

— Да, но...

— Благодарю вас. — Прокурор посмотрел на Мушину. — Пил он, пил, товарищ редактор. Нет никакого сомнения, что он был пьян.

— Товарищ редактор, — сказал Военка, — со времени происшествия четырнадцать месяцев прошло. Хотите дополнительных сведений — идите в комендатуру. Я основываюсь на фактах, на том, что здесь есть! — Он взял у Мушины папку с колен и хлопнул по бумагам. — Сломкевич подал жалобу. Скажите сами, что бы вы сделали на моем месте, располагая этими материалами? Удовлетворили бы?

— Ну, может, начал бы...

— Удовлетворили бы?

— Ну, если бы удалось бы...

— Удовлетворили?

— Ну, нет, — сказал Мушина. — На основе этих материалов — нет.

— Благодарю. — Военка улыбнулся. Он встал и протянул руку: — Простите, товарищ редактор, у меня через пять минут процесс. — Он обернулся еще к Франеку: — А ты, Сломкевич, не пиши, не склочничай! Возьмись за честный труд! За учебу!

Франек молчал.

— Зачем тратить время и нервы, писать все эти жалобы, задурачивать голову людям? До свиданья, редактор, — говорил он, провоявая Мушину до двери. — Дело ясное, сами видите.

Они вышли и сели в парке, неподалеку от памятника Костюшко. На скамейках, поблизости, сидели несколько женщин, стояли детские коляски. Дети играли на дорожках.

— Ты правда пил, Франек? — спросил Мушина помолчав.

— Господом Богом клянусь, накануне.

— Он действительно не мог по-другому, — сказал Мушина. — Раз не взяли анализ крови, то что он смог сделать? Те сказали, что пили с тобой, ну и вот...

— Окраса меня жалел, — Франек махнул рукой и поник. — Двадцать один год. Вроде молодой человек, а только рыба да голуби остались, а, редактор?

— Удишь рыбу?

Франек вздохнул:

— Чутьочку браконьерствую. Ставим перемет на угря. В субботу едем со свояком.

— А голуби?

— Голуби, это с детства. Еще отец меня учил, как с ними обращаться. Когда жив был.

Потом они сидели молча. Дети играли на дорожках. Костюшко держал занесенную саблю. Часы на костеле пробили двенадцать. Франек встал.

— Я уж пойду, пан редактор. Спасибо, что вы были со мной. Видно, уж приходится с этим смириться, а?

— Смирись, Франек, — поддакнул Мушина. — Легче будет.

Он проводил инвалида до улицы возле костела. Попрошались.

— Приходите к нам когда-нибудь, — сказал Франек. — Разопьем поллитра.

Он пошел, опираясь на палку. Мушина смотрел, как он медленно ковылял вниз. Из костела выбежала толпа детей с белокрасными флажками (наверно, от праздника Третьего Мая). Со смехом и криком пробегали они рядом с Франеком, который не оглядываясь шел прямо вперед. Так Мушина его и запомнил: в толпе детей, размахивающих бумажными флажками, на улице, спускающейся к реке. Река виднелась внизу, между крышами домов и зеленью деревьев.

Шелёнг был председателем нашего охотничьего кружка. Даже некоторые ученики, обращаясь к нему, говорили «пан председатель». Особенно на уроках гражданского воспитания, которые он вел. Окончив институт и получив звание магистра физкультуры, он был прислан к нам сверху. Прошло много лет — из маленькой комнаты возле площади Шелёнг переехал в квартиру в корпусе по Проектируемой, а потом — и в собственный домик, который строил два года. Он был высокий, импозантный, и не одна девушка согласилась бы за него выйти (Ленке он тоже когда-то нравился — с молодым еще учителем она танцевала на выпускном балу). Но годы шли, Шелёнг отучнел, озлобился, менял жилье — а всё не женился. Привез к себе какую-то якобы родственницу, старше него самого — называл ее Лёля (а люди звали «тетка-тетка») — так и жили вдвоем.

— Как муж с женой, это ясно, — говорили женщины.

— Какая там тетка? — смеялись мужчины.

Мальчишки из старших классов называли Шелёнга «председатель Лёля». Стоило учителю услышать это прозвище, он впадал в бешенство, поэтому они только по вечерам, когда он в потемках возвращался в неоштукатуренный дом за городом, кричали издали: «Председатель Лёля! Председатель Лёля!» И прятались за изгороди. Председатель грозил невидимым преследователям кулаком и чертыхаясь уходил.

Лёля была женщина тихая, занятая только домом, часто ее видели в палисаднике, о котором она старательно заботилась. Она ходила в церковь и исповедовалась, но не известно было, в грехе ли сожительства с мужчиной без брака (ксендз Олейничак молчал). С некоторого времени стали говорить, что у них ребенок.

— На какие деньги он такой дом построил? — удивлялись люди. (Шелёнг выстроил себе дом в два этажа, на подклете, с террасой и гаражом.)

— Не волнуйтесь, ему валютой платят.

— Валютой? А олені что, его собственные?

Речь шла об иностранцах, которые осенью приезжали на охоту. Шелёнг как председатель кружка возил их по местности и навещал в лесных сторожках.

— Ну уж у Лёли куры не клюют, — говорили женщины. И это мнение в конце концов стало всеобщим. В то, что Шелёнг построил дом на учительскую зарплату, не верил никто.

В этот день он вернулся издерганный (поссорился в школе с Квасиборским) и сидел за обедом не говоря ни слова. Лёля налила суп, ели молчком.

— Как там? — спросил он. — Спит?

— Вроде узнаёт меня, — сказала она. — Улыбается, когда я вхожу.

Больше они не разговаривали. Только после обеда Шелёнг пошел в соседнюю комнату. Лёля стала рядом. В кровати с сеткой лежал ребенок. У него была большая голова и тонкие ручки. Когда Шелёнг наклонился, ребенок запищал.

— Видишь, видишь? Тебя тоже узнаёт.

Они постояли над кроватью. Изо рта ребенка текла струйка слюны. В комнате пахло мочой. Через приотворенное окно сквозило солнце. Желтые прямоугольники застыли на стене над кроватью. Женщина пощупала простыню.

— Снова напачкал. Надо менять.

Шелёнг вышел из комнаты.

Ребенка Лёля родила три года назад. Через год после приезда к нам. Может, они пожениться собирались? Беременность она переносила тяжело, пришлось поехать к матери. Вернулась еще через год, с выхоженным младенцем. Беспokoилась, чего у него голова такая большая. Шелёнг успокаивал:

— Всё будет в порядке, вот увидишь!

Мальчик, однако, не развивался, и в конце концов доктора из воеводства ясно сказали, что останется ненормальным. Советовали отдать в специальный детдом, да Лёля не хотела. Они старались скрыть, что есть у них ребенок, — да люди всегда узнают. Гняздовский бывал у них часто — потом рассказывал жене. Медсестру из поликлиники нанимали, когда Лёля болела. Ну, конечно, им стыдно было. Дома никого не принимали. Ходить ребенок не мог, и кормить его надо было с ложечки. Делал под себя. И только изредка, когда солнце падало сквозь приотворенные окна и на стене стояли светлые квадраты, Лёля, наклонившись над кроватью, говорила:

— Спи. Спи спокойно. Пусть себе рассказывают, что ты ненормальный, а вырастешь — и будешь как другие, как все, правда? Шелёнг уже, кажется, не верил.

Хиппи поселился в палатке у реки. Туда к нему ходили ребята и девушки из старших классов. Просиживали допоздна. С моста виднелась маленькая палатка, а по вечерам — пылающий костер. Над водой разносилось пение и потренькивание гитары.

Хиппи был тощий, ходил всегда босиком, даже в город. Сержант Ольшевский однажды задержал его — подробно обозрел и задумался. Парень был в выцветшей бумажной куртке без пуговиц, на его голой груди виднелся большой деревянный крест с облупленным Христом (подвешенный на простой веревке). Волосы падали на шею, борода редкая и рыжая. Но проезжую часть он перешел по правилам — по белым полосам. У Ольшевского не было оснований оштрафовать его. Он подумал-подумал, потом махнул рукой. Только сказал:

— Получше вымойте ноги.

У хиппи действительно были невероятно грязные ноги, несмотря на то, что он жил у реки и, должно быть, бродил у берега. Днём он чаще всего спал. Вечерами вылезал из палатки, потягивался, что-нибудь ел (девушки по очереди приносили ему в кастрюльках обед), потом, сидя, прислонившись к старому ящику, выброшенному на берег, играл на гитаре. Молодежь просиживала возле него часами, хотя говорил он мало, а если уж отзывался, то грубо. Особенно Ренек зачастил теперь на реку. Улегшись животом на траву, в которой попадались осколки стекла и нагадили гуси, он слушал, как длинноволосый играет и хриловато поет. Чаще всего он пел цыганские, печальные песни. Допоздна с моста была видна его палатка, освещенная костром, полоска ивняка у самой реки и пятна света на воде.

Кто-то сказал председателю о длинноволосом — наверно, кто-то из этих первых учеников, доносчиков. Да и в городе уже гул стоял — люди говорили, что возле моста поселился сумасшедший. Вечерами они выходили на откос, а те, что посмелей, спускались ближе, чтобы получше разглядеть хиппи. Матери начали жаловаться, что он дурно влияет на детей.

Шелёнг выбрался туда после обеда, часа в четыре, когда у палатки еще никого не было, хиппи сидел один, прислонившись к ящику, и напевал. На откосе учитель встретил Яся Флягу. Рыбачинский в подпитии приехал с тележкой за травой.

— Пошли, Ясь, — позвал его Шелёнг. — Я иду с хиппи разговаривать.

Фляга охотно согласился. Тропинкой они спустились на луг и пошли в сторону реки. Гуси с шипением разбегались у них из-под ног. Они стали за спиной длинноволосого и слушали, как он играет. То ли он их не видел, то ли не обращал внимания. Хрипел какие-то невнятные слова, ударял по струнам. Фляга и Шелёнг смотрели на его волосы, закрывающие худые плечи, и на эту выцветшую бумажную куртку. Шелёнг кашлянул, но хиппи и тут не обернулся. Только когда они обошли ящик и стали спиной к реке, он улыбнулся и перестал играть.

— Закурить у тебя найдется? — спросил он учителя.

Шелёнг покраснел. Он стоял руки в карманы — большой, тяжёлый, в футболке с короткими рукавами. Мышцы на руках были напоказ. Светлые пикейные брюки старательно отглажены, бежевые полотняные туфли.

— Ты, — сказал он, — мы с тобой еще вместе не пили, а? Ясь Фляга, подвыпивший, вспотевший, всё в той же вишневой рубашке с засученными рукавами, стоял рядом. Он громко расхохотался.

Хиппи ничего не сказал, снова затренькал на гитаре. Между Шелёнгом и Флягой ему виден был кусочек реки.

— Ну и что, — спросил учитель, — долго собираешься тут сидеть?

Хиппи не отвечал. Шелёнг подошел и вырвал у него из рук гитару. Ударил о колено — тонко взвизгнули струны, сухо треснуло дерево. Парень вскочил, побледнел.

— Что вы делаете? Какое вы имеете право?

Шелёнг бросил гитару на землю.

— Вы не имеете права, — повторил парень. — Я могу делать, что хочу. Я в милицию пойду...

Ясь Фляга смеялся у них за спиной.

— Угрожаешь? — спросил Шелёнг. Он придвинулся. Паренек попятился, споткнулся о ящик и зашатался. Председатель, руки в карманах, наседа. — Кого пугаешь?

Хиппи схватил учителя за руки. Может, хотел удержаться на ногах? Ему уж некуда было отступать из-за этого ящика. Шелёнг выдернул руки из карманов — Фляга видел, как он схватил парня за лацканы выцветшей куртки и как ударил. Это был прямой справа, нацеленный в лицо. Рыбачинский услышал удар. Хиппи ополз на колени, а когда Шелёнг отпустил лацканы — упал ничком. Председатель тронул ногой его плечо. Парень не шевелился. Длинные волосы веером улеглись на траве.

— Ну, ты и уложил его, — сказал Ясь Фляга. — Красота.

Шелёнг заглянул в палатку. Там лежало брезентовое ведро с деревянными ушками. Учитель зачерпнул воды из реки и плеснул парню на голову. Хиппи пошевелинулся, застонал, но не встал.

— Да оставь его, — советовал Фляга. — Ничего с ним не случится.

Шелёнг бросил пустое ведро к палатке. Они медленно пошли лугом в сторону откоса. Учитель ничего не говорил, пару раз обернулся. Хиппи лежал, как его оставили — возле деревянного ящика. Видны были босые ноги и выцветшая куртка. Рядом лежала поломанная гитара и пустое брезентовое ведро.

— Ну ты силён, — с восторгом говорил Фляга. — Как взрезал ему, аж эхо под мостом ответило!

Он захохотал. Гуси с шипением разбежались из-под ног, шлепая по желтым арникам. Шелёнг молчал.

Вечером пошел проверить, там ли еще хиппи, но никого не было. И уже никто больше не видел ни маленькой палатки возле моста, ни вечернего костра над рекой. Не слышать было хрипловатых цыганских песен, ни треньканья гитары. Старшеклассники перестали туда ходить. Осталось только кострище да немного вытопанной желтой травы, где была палатка.

В воскресенье утром Ренек с неким Сочевинским, своим одноклассником, пошел к костелу. На площади, за булыжной стеной, торговцы расставили свои лотки со святым товаром. Продавались там и разные праздничные мелочи: свистки, трубы, гли-



няные петушки, чертики уйди-уйди и мячики на резинке. Была как раз поздняя обедня — люди толпились перед главным входом. Тонко позванивали звонки прислужников, пахло липовым цветом. Ренек с Сочевинским долго чего-то искали в горах молитвенников, иконок, образков и четок. Выбрали одинаковые деревянные кресты в мужскую ладонь величиной. Стоили кресты дорого — по пятьдесят золотых, — но ребята не торговались. Заплатили и молча ушли.

— В ризницу пойдите, — сказал им вслед лотошник. — Викарый освятит.

Не ответили, даже не обернулись. Пошли вдоль стены к брешу, выбитой в камнях. Перешли на ту сторону.

Костел стоит на пригорке — земля за стеной мягко спускается к лугам и приречной дороге. Дальше голубели еловые холмы. Юноши уселись на камни среди бурьяна.

Ренек вынул из кармана складной ножик, открыл и острием расштал Господа Иисуса из серебряной жести. Оторвал фигурку и бросил под ноги. Сорвал и табличку с буквами INR, прибитую крохотным гвоздиком. Подал ножик Сочевинскому, а сам принялся протягивать сквозь жестяную петлю обрезок веревки. Потом завязал узел и повесил крест на шею.

Сочевинский не мог оторвать своих жестянок, Ренек поприглядывался, забрал у него нож и крестик, сильнее прижал лезвие к дереву и отогнул фигурку. На кресте осталась царапина, как шов после раны.

— Осторожней! — испугался Сочевинский.

Ренек потер деревяшку о штаны, дыхнул. — Не заметно!

Сочевинский тоже протянул веревку сквозь жестяное ушко. Повесил крест на шею. Больше они ничего друг другу не говорили. Разулись — Ренек пришел в резиновых шлепанцах. Сунул их за ремень. Наклонился, чтобы подвернуть штанины. На земле, возле камня, лежал жестяной Иисус Христос. Он разводил руками, словно не по себе ему было без гвоздей и креста.

Когда они возвращались через город — в распахнутых рубашках, длинноволосые, с этими крестами на веревочных шнурках, — люди оглядывались им вслед. Оба были серьезные, сосредоточенные, попрощались молча. Хорошо, что не было Ольшевского, а то они перешли площадь не по правилам — самой короткой дорогой, наискось, далеко от нарисованных на асфальте белых полос.

## *XI. Клозет в абрикосовых деревьях*

В воскресенье он был у Грошека на обеде. Грошкова несколько раз приходила в исполком. Они ждала Туроня возле кабинета, а когда выходил, напоминала:

— Пан председатель! Ждем вас в воскресенье к двенадцати. Вас с женой и этого редактора.

Туронь обещал, что придут, но в субботу к вечеру тетка уехала, и не с кем было оставить детей. Мушина пошел один. Он не хотел — отговаривался тем, что обещал Ясю выбратся с ним на озеро. Туроню пришлось его упрашивать.

— Иди, старик, иди. Такие хорошие люди. Неприлично.

Когда он пришел, они сидели на лавке перед домом: старик в черном костюме, а Грошкова—в темно-синем платье с кружевным воротничком. Дети — Стах Грошек, водитель с базы механизации и его жена, продавщица магазина тканей (в голубом платье из переливающейся тафты), — вынесли из дому стулья. Внук Грошека, Петрусь, в темно-синей гимнастерке, с забинтованной головой, громко читал газету. Замолк, как только увидел Мушину у калитки. Все встали и пошли ему навстречу.

— Сердечно рады, пан редактор, — пригласил проходить Грошек. — А где председатель?

Мушина, слегка сбитый с толку, объяснял, почему Турони не пришли. Хотел поцеловать Грошковой руку, но женщина мягко отстранила его.

— Это мы бы вам должны... За то, что вы для мужа сделали. — И низко поклонилась.

Дом был старый, деревянный и так же, как у Ленки, с маленькими окошками. Пол словно проваливался ниже земли. Пахло деревом и ванилью дрожжевого теста. Входя во вторую комнату, где стоял приготовленный стол, надо было смотреть — не зацепиться за высокий порог. Комната была темная: прямо под окнами росли яблони, а подоконники были заставлены цветами (примула в горшочках, обернутых белой папиросной бумагой). На стене, над черным застекленным буфетом, висела икона: Иисус Христос в лодке на вспененном Генисаретском озере.

Грошек показал Мушине аквариум. Он стоял под финиковой пальмой в углу комнаты. Изнутри его освещала лампочка: виднелись разноцветные рыбки и светло-зеленые водоросли.

Потом они сидели за круглым столом, покрытым домотканной скатертью. Грошкова подала куриный бульон. Листки петрушки плавали между желтыми глазками жира.

Разговор оживился, когда на стол была подана изловленная Сташеком щука, а старик разлил наливку.

— Можжевелька собственного производства, — выхвалял он. — Пожалуйста, пан редактор!

Мушина не отказывался. Он первым поднял стакан: — За здоровье хозяев дома!

Стах Грошек резко запротестовал: — Прошу прощения, пан редактор, пьем за здоровье гостя!

Наливка была крепкая, пахла можжевельными иглами. Женщины только пригубили, мужчины выпили до дна. Петрусь выпил компота. Когда Грошкова подала сладкое (кофе, пудинг в салатнице и пирожные с крошоном), они говорили уже громче, и смех разносился по саду. Старик встал, выглянул за порог, а потом поприкрывал окна.

— Что ты, Янчик? — забеспокоилась Грошкова. — Душно будет.

Столяр не обратил внимания. Он начал рассказывать историю уборной.

— С этим сортиром, пан редактор, было так...

Потом Мушине Ясь Фляга досказал начало. Он слышал разговор архитектора Тарговского с секретарем. Медза вроде бы подошел к окну и унюхал вонь из парка. Особенно в жаркие базарные дни, когда в город приезжали толпы деревенских, запах усиливался. Кому надо было по нужде — шли в парк, ясное дело. Единственной уборной в «Гражданском» на всех не хватало, да и она чаще всего была заперта.

— С улицы приходят, пан директор, — жаловался официант Людвись. — Идут и идут своими сапожищами заляпанными. А потом обратно идут и снова натаптывают!

Директор приказал запирать уборную.

Медза скривился и позвонил Тарговскому.

— Инженер, — сказал он, — как вы о городе заботитесь? У людей даже нет приличной общественной уборной. Необходимо воздвигнуть объект.

Фляга был тогда у Тарговского и слышал разговор. Архитектор обещал уборную возвести.

— Есть, товарищ секретарь, — говорил он. — Включим в план.

Прошло два года, а уборной всё не было.

— Вследствие сутяжничества владельца участка, на котором запроектирован объект, — оправдывался Тарговский.

В хорошую погоду, особенно в июле-августе («Туристы, туристы!»), Медзе часто приходилось запирать окно. Тогда он каждый раз звонил в исполком и спрашивал:

— Ну, что там с общественной уборной, товарищ инженер? Будет, в конце концов, или нет?

— Владелец земли опротестовывает решение о размещении, — объяснял архитектор. — Как только покончим с формальностями, начнем строить.

В последние месяцы Тарговский перестал верить в успех этого дела и призадумывался, не поискать ли нового места. Грошек об этом еще не знал.

— Всё из-за Домарадзкой, — говорил он, — сестры архитектора. Этот Домарадзкий — референт на базе механизации.

Квартиру ему устроил свояк — возле площади. В августе, два года назад, старик Домарадзкий помер. На другой день она ко мне приходит. Просила гроб к пятнице, а пришла в четверг. Я ей вежливо говорю: «Пани Домарадзкая, никак не выйдем!» Как раз была у меня срочная работа: школьные парты кончал. Начало года подходило. А она на меня криком — бессердечный, мол. Ну, и поехали в Милковицы. Там у одного мастерская, Баран по фамилии.

Стах Грошек расхохотался: — Ну и гроб им соорудил! Дня не могли подождать?

Грошек помолчал. — Так-то вот, пан редактор, и дошли мы до середины дела. Это Домарадзкая просила брата построить тут уборную, мне назло! — Руки у старика задрожали, голос осекся.

Грошка погладила ему ладони. — Не нервничай, Янчик, не нервничай! Уже ж ты посадил абрикосовые деревца на этом месте. Господь даст, не построят!

Стах снова захохотал: — Господа Бога спрашивать будут! Поставят, и дело с концом!

Мушина обещал поговорить с архитектором. Сразу после похорон, принялся благодарить за обед. Старики хотели его задержать, но он отговорился назначенной встречей (Фляга ждал его в «Гражданском»). Протягивая Петрусю руку, он спросил, почему он забинтован. Грошка всплеснула руками.

— Расскажи, Петрусь, редактору, — сказала она. — Как ксенду на исповеди!

Петруся ударил Шелёнг в тот день, когда старика забирали. Накануне вечером мальчик крикнул вслед учителю «председатель Лёля!» Было темно, они с Ренёком шли далеко от Шелёнга и были уверены, что он их не видел. Но Шелёнг запомнил голос юного Грошка и на следующий день на большой перемене отозвал его в сторону. Сочевинский из их класса как раз рассказывал, как продал мотоцикл.

— Такая старая развалюха, но я этому типу накрутил, что хороший. Вымыл крылья, они этак засияли, фраер и поверил. Уж доехал ли он и до дому?! А я с тремя тыщами, а?

Ребята смеялись. Шелёнг подошел к Петрусю, положил ему руку на плечо.

— Грошек, на минуточку!

Звонок уже прозвенел — поле опустело. Только Ренек стоял неподалеку и всё видел. Шелёнг без всяких предисловий заявил:

— Слушай, Грошек, еще раз покричишь, как вчера, — будем говорить по-другому! — Побагровел (Ренек видел, как он сжал кулаки) и прибавил: — А пока что получай! — И кулаком ударил Петруся в лицо.

Ренек услышал этот удар — как громкий хлопок. Петрусь расплакался. Шелёнг, всё еще красный, крикнул:

— В класс, в класс!

Весь урок Петрусь держался за ухо — жаловался, что плохо слышит. На обратном пути Ренек посмеивался:

— Ну и врезал тебе председатель! Спасибо, что только разок!

Дома ухо не проходило, Петрусь рассказал родителям (промолчал только о том, что кричал «председатель Лёля!»), но в тот день всем было не до того. Только когда столяр вернулся, Грошкова рассказала, как побили внука.

— Я ему сразу компресс, но до сих пор плохо слышит. Кроводтек там у него.

Грошек разнервничался, хотел сразу идти к Квасиборскому. Старуха и сын отговаривали.

— Зачем? Ты и так на виду. Не надо людям глаза колоть.

Кончилось походом к врачу. Гняздовский сказал, что повреждена барабанная перепонка, прописал мазь и велел забинтовать голову.

Мушине верить не хотелось.

— Кулаком в лицо? Сейчас же пойду в школу! Это неслыханно!

Грошкова вдруг перепугалась: — Пан директор, этот Шелёнг — дурной человек. Он вам отомстит.

— Лучше оставить, не трогать, — поддакивал Стах.

Мушина не хотел уступать. — Надо, дорогие мои, — объяснял он. — Сегодня детей, завтра нас бить начнут! — Он натягивал свою болонью в коридоре.

Вся семья стояла у калитки, когда он уходил. Он обернулся, помахал рукой. Они стояли и смотрели ему вслед. Мушина их так и снял: изгородь, крыша в зелени фруктовых деревьев, и возле калитки все они — седая голова старика, кружевной воротничок Грошковой, Стах в черном костюме, блестящее платье его жены. И Петрусь Грошек, самый младший, в форме с серебряными пуговками и с белой забинтованной головой.

Домой он вернулся после шести. Ленка была в кухне одна. Мать ходила вечерами на майские службы. Девушка стирала в тазу нейлоновую блузку. Она открыла Мушине дверь и поспешила обратно. Была она в сорочке, сквозь которую просвечивал розовый лифчик.

Мушина с четырех пил с Ясем Флягой. Он пошатнулся в коридоре, толкнул велосипед и пошел за Ленкой в кухню. Девушка перепугалась.

— Что вам нужно?

Мушина, в расстегнутом плаще, с перекинутой через плечо зеркалкой, стоял посреди кухни и пошатывался. Потом он двинулся к Ленке, а она, в этой сорочке, прикрывая грудь мокрыми руками, отодвигалась к окну.

— Пани Ленка, — сказал он (каким-то не своим голосом). — Пани Ленка.

Девушка прислонилась к подоконнику. Плечи у нее задрожали. Мушина придвинулся, крепко ее обнял и поцеловал. Ленка ощутила водочный запах. Он принялся подталкивать ее к кушетке. Ленка упиралась, они столкнули с подоконника горшок с пелларгонией. Земля захрустела под ногами. Мушина сопел, зеркалка съехала с плеча и стукнулась об пол.

— Пустите меня, пожалуйста! — повторяла Ленка. — Пан редактор!

Они повалились на кушетку. Мушина старался расстегнуть лифчик. Порвал бретельки сорочки. Тогда она расплакалась и вдруг уступила, только плечи дрожали и слезы текли сквозь пальцы. Она утирала их руками, красными от холодной воды. Мушина отстегнул лифчик и начал целовать ее худую грудь. Рот у него был слюнявый, пальцы горячие.

После, отдышавшись, он лежал на кушетке. Глаза он закрыл. Мелкие капли пота выступили на лбу. Ленка всё еще плакала. Она отодвинулась от Мушины, поправила юбку и застегнула лифчик. Всхлипывая, она собирала осколки горшочка с пола.

Мушина вскоре поднялся с кушетки, застегнул брюки, сказал что-то невнятное и вышел из кухни. Снова зацепил велосипед в коридоре. Она слышала, как он запирает дверь в соседнюю комнату. Под окном осталась ненужная зеркалка. Она лежала на земле из разбитого горшка.

Утром он остановил девушку, когда она шла в исполком. Небритый, в запачканных брюках и мятой рубашке, он выглянул из умывальника. Схватил девушку за руку.

— Пани Ленка! — сказал он шепотом. — Извините.

В сенях было темно, она не могла разглядеть его лица. Старалась высвободить руку. Пахло кислой капустой из бочки, старый велосипед мешал проходу. На девичьей шее звякнуло чешское ожерелье.

— Пани Ленка, — повторил Мушина, — если бы вы согласились быть моей женой, я бы всё сделал. Переменюсь, пить перестану. Господом Богом клянусь.

Он замолчал. В умывальнике капала вода. Тонко позвякивало стеклянное ожерелье. И снова у Ленки задрожали плечи. Она спросила:

— Это вы серьезно?

— Господом Богом! Видите ли, мне так хочется, чтоб кто-то был у меня...

Он запнулся — видно, слов не хватило. Ленка больше не вырывала руку. Так они и стояли молча, только вода капала в умывальнике да тонко позвякивало чешское ожерелье.

— Встретимся сегодня вечером над рекой, — просительно сказал Мушина. — На откосе за развалинами. В семь, придете?

Она кивнула. Он отпустил ее худенькую ладонь, смотрел ей вслед. Проскрежетал ключ в замке, потом шаги Ленки простучали по плитам тротуара, и наступила тишина.

## *XII. Светлячки*

Архитектор Тарговский остановил свою новую машину — БМВ-2000 — перед водочным магазином в переулке за площадью. Машину он купил по объявлению в газете. Заплатил, говорили, триста восемьдесят тысяч — недорого, если учитывать спекулятивные цены на машины. Молодой, красивый мужчина, с небольшой лысиной, идущей ото лба (одно из немногих его огорчений: когда последний раз был в воеводстве, пошел к дерматологу, но врач сказал, что против облысения эффективного лечения нет). Он запер машину, поглядел на нее и вошел в магазин.

— Здравствуйте, пани Вандочка! — обратился он к толстой продавщице.

Пошутил с ней, похихикал. Купил полтора литра wyborовой и литр рябиновки — всего пять бутылок, которые пани Ванда старательно завернула в бумагу.

— К жене знакомые приезжают, надо принять как следует.

— Конечно, конечно! — смеялась продавщица.

Жена архитектора, пани Кама — молодая и красивая — недавно кончила институт. Она работала в районном проектно бюро заместителем начальника. Она была назначена сверху и любила это подчеркивать.

— Мы тут на приработках, — повторяла она знакомым.

Архитектор взял бутылки, попрощался и вышел на улицу. Все поллитровки он сложил на заднее сиденье. Когда затворял дверцу, заметил директора Квасиборского. Старый учитель шел к площади.

— Мое почтение, пан директор! — громко сказал Тарговский.

Квасиборский остановился. — Здравствуйте, здравствуйте, мое почтение! — Он поглядел на машину и покачал головой: — Приличный автомобиль!

«Приличный» — это было любимое слово директора Квасиборского. Он употреблял его часто, говоря, например: «приличный человек», «приличный ученик», «приличное учреждение», «приличное собрание» и так далее.

Машина, действительно, выглядела красиво, кремовый кузов, черные сиденья, изящный силуэт.

Тарговский заговорил про сарайчик. Квасиборский жил с женой в маленьком домике на окраине — в сарайчике хотел устроить столярную мастерскую.

— Пенсия скоро, надо чем-то заняться, — объяснял он.

Архитектор благожелательно отнесся к его просьбе и дал разрешение, хотя это было не совсем по правилам (объект предполагался деревянным), не захотел взять двух тысяч за проект и лично приехал посоветовать, где лучше поставить сарайчик.

Сейчас он предложил подвезти директора до школы, но Квасиборский отказался.

— Да мне недалеко! Вы всё равно, наверно, в другую сторону.

Архитектор, действительно, ехал отвезти бутылки домой. Учитель придержал его за рукав.

— Раньше мы учили детей, что шляхта спаивала мужиков самогоном. Да ведь это капля была в сравнении с тем, что сейчас! — Он указал на витрину.

— Людей стало больше, — ответил Тарговский.

— Так-то так, да ведь и водки! Поглядите-ка, — и Квасиборский потянул инженера в магазин.

Они постояли на пороге. Смотрели на полки, полные бутылок. Водка поблескивала за стеклом. Пани Ванда поглядела удивленно — инженер подмигнул. Когда они вышли, он стал у задней дверцы. Не был уверен, видел учитель водку или нет.

— Иногда стаканчик пропустить не грех.

Квасиборский посмотрел на него и ничего не сказал. Не прощаясь ушел переулком. Архитектор Тарговский — молодой, красивый мужчина — глядел ему вслед. Квасиборский шел, опустив голову, большими шагами, смотрел под ноги. Тарговский улыбнулся, открыл дверцу кремowego БМВ, сел, включил зажигание и поехал.

В водочном магазине пани Ванда поправляла прическу, глядясь в застекленные двери. Бабочка-лимонница (только что влетела с улицы) беззвучно шевелила крылышками на огромном окне.

Ренек вышел из уборной уже после звонка и повернул в класс. Директор Квасиборский остановил его в коридоре. Ренек вытащил одну руку из кармана. Он стоял перед директором, слегка ссутулившись, на голову выше старичка, с шеей, прикрытой волосами, в запатанных джинсах и в этих своих огромных ботинках. Квасиборский кричал:

— Ты деморализуешь товарищей, болтаешься, прогуливаешь, погляди в зеркало, как ты выглядишь? И это приличный ученик?!

— Пан директор... — начал Ренек.

Квасиборский не дал ему договорить. — Где ты был вчера? Есть у тебя оправдание? Родители знают?

— Пан директор...

— Почему ты не постригся, я тебе сказал, чтобы ты в четверг пришел остриженный. Сегодня уже понедельник.

— Пан директор...



— Почему нет эмблемы на рукаве? Пуговиц мать тебе пришить не может? Что за штаны у тебя?

Ренек переминался с ноги на ногу.

— Больше я с тобой разговаривать не буду! — кричал Квасиборский. — Только с отцом! Ты в выпускном классе! В этом году экзамены на аттестат зрелости. А тебе грозит пять двоек в четверти!

— Не поставят, — вставил Ренек.

— Что? Ты нам будешь диктовать? — Старичок аж отшатнулся. Он всё время кричал, и кто-то из учителей выглянул в коридор. Ренек, с рукой в кармане, огромный, с волосами до плеч, стоял перед директором. Квасиборский резко отвернулся. Ушел быстрыми шагами.

— Иди на урок, — сказал он тихо и даже не поглядел, послушается Ренек или нет.

Паренек пожал плечами и медленно двинулся в сторону класса. Остановился у окна, вынул из кармана окуроч, который всё время был зажат у него в ладони, и бросил в корзину.

Из учительской выглянул Шелёнг. Он шел по пустому коридору быстрым, пружинящим шагом. Нес журнал и волейбольный мяч. На поле его ждал класс Ренека.

— Ты освобожден, Ренюшь?

— Да, пан профессор.

— Ну, тогда в класс, в класс, мальчик.

Шелёнг повернул к лестнице. Ренек слышал, как он сбегал вниз, — раздалась громкие шаги по деревянным ступенькам. Он пошел в класс и уже не видел, как Шелёнг тут же вернулся с редактором Мушиной, которого встретил внизу. Мушина хотел видеть директора Квасиборского.

Вечером Шелёнг пошел к Рыбачинскому. Рыбачинские живут в одноэтажном домике недалеко от костела. Отсюда видны изгибы реки. Громко бьют костельные часы. Шелёнг заглянул из сеней в кухню, но там была только жена Яся.

— Янек? — поглядела она на учителя. — Если не в забегаловке, то у кроликов. Или там, или тут!

Действительно, Рыбачинский сидел на корточках в сараюшке и чистил кроличьи клетки. Пахло кроличьим пометом и влажной травой. Ясь подвернул рукава. Он светил себе фонариком. Кроликов он выпустил в деревянный загончик снаружи.

— А, Метек, — обрадовался он. — Хорошо, что пришел. Поможешь полку поставить. Вон где хочу поставить, погляди. — Он показал пустую стену под окном.

Шелёнг уселся на ящик возле двери. Сразу приступил к разговору.

— Слушай, что за тип этот Мушина? Чего он хочет, сука! Если трепки ищет, так ему и скажи. Недолго проищет. Вот те крест, Янек!

— Не нервничай, Метек! в чем дело?

Шелёнг рассказал про визит Мушины в школу.

— С претензиями пришел, что я побил ученика и что дело поддается квалификации (так и сказал) для прокурора. Представляешь себе? Для прокурора!

— А ты побил? — спросил Фляга.

— Ясь, ты меня знаешь. Если щенок нарывается, приходится тронуть. Но не так же, чтобы сразу к прокурору. А этот Мушина, весь красный, пришел к Квасиборскому и орет: «Это гестаповские методы! Ученик на две недели потерял слух, когда его кулаком ударили!»

— Кого? — заинтересовался Фляга.

— Грошека, — сказал, помолчав, Шелёнг. Закурил. — Внука этого столяра.

— Ага! — развеселился Рыбачинский. — Осторожно, Метек! Это старик редактора натравил, ясное дело!

— Янек, — говорил Шелёнг, глядя, как Рыбачинский с головой исчезает в клетке. — Ты меня знаешь не первый день. Со щенками надо строго, иначе на голову сядут. Из инспекции недавно получил грамоту за работу. А этот говорить тут будет, что в министерство напишет, и прокурором пугать!

Рыбачинский вытащил охапку влажного сена. Бросил на приготовленную тачку.

— Успокойся, Метек. Он этого не сделает. Я Анджейку знаю!

— Ты ж понимаешь, какой Квасиборский! — продолжал Шелёнг. — Трясется перед кем угодно. Ты бы поглядел, как он скакал вокруг этого Мушины: «пан редактор то, пан редактор это!» Просил, якобы от моего имени, чтобы дело не имело последствий. А потом, когда Мушина уже ушел, заявил в учительской: «Коллега Шелёнг, телесные наказания недопустимы!»

Ясь Фляга, с головой в клетке, захохотал. — Давай, давай, Метек! Я слушаю.

— Янек, — сказал Шелёнг. — Ты этого редактора лучше знаешь. Поговори с ним, скажи пару слов от себя. Ты лучше знаешь, как. Мы с ним, хоть и пили на озере, да не то, что ты.

Рыбачинский хохотал: — Он тебе ничего не сделает, я его знаю. Свой человек.

Шелёнг не мог успокоиться. — Возьми меня как-нибудь, когда будешь с ним пить, — попросил он. — Поставлю вам поллитру, поговорим...

— Замётано, — обещал Фляга. Выполз из клетки.

Потом они ставили новые полки, которые Рыбачинский собственноручно сколотил из сосновых досок. Это были новые доски

пятого разряда, так называемые горбыли. Для полок под клетки в самый раз. Часть досок, прикрытая брезентом, еще лежала возле изгороди.

— Откуда у тебя их столько? — любопытствовал Шелёнг.

Фляга глянул на учителя. — Не протрепешься?

— Янек, ты же меня знаешь!

Рыбачинский засмеялся, но смех сразу перешел в кашель. Кашляя, словно поперхнувшись, он выговорил:

— Трибуна, Метек. Трибуна.

Ленка пришла ровно в семь. Еще солнце не зашло за ели на той стороне. Они спустились тропинкой с откоса на приречные луга и медленно пошли вдоль берега. Мушина взял девушку под руку.

— Вы совсем не пили? — спросила она.

— Честное слово, даже пива, — ответил он. Был трезвый и грустный.

Они сели у воды, на стволе старой ивы. За спиной шла полоса ивняка. Они смотрели на реку и на тот берег. Мост был заслонен ивняком, гусей на лугах не видно было. Только иногда, по дороге на том берегу, проезжала телега, и доносился стук конских копыт по асфальту.

Ленка расспрашивала Мушину о его прошлом. Он отвечал нехотя. Сидел опустив голову, смотрел на руки. Зеркалка висела на ремешке (потом Мушина снял аппарат и положил на песок). Девушка хотела всё знать — откуда он, был ли у него дом, жена, дети.

— Неважно, — повторял он. — Всё неважно.

Позже, когда потемнело и она уже не могла хорошо разглядеть его лицо, он разговорился. Рассказал о миссии, которую поручил ему Туронь. Смеялся.

— Никакой я не редактор. Это он меня уговорил.

Она молчала.

— Я хотел тут начать жизнь сначала. Знаете, как это иногда бывает. Всё у человека отнимут. Надо всё наново.

Она молчала.

— А тут Туронь, школьный товарищ, а выдумал такую штуку. — Мушина засмеялся. — Хоть бы знать, зачем? Может, вы знаете?

Она молчала. Он поглядел и только тогда заметил, как она растеряна.

— Что, плохо? — спросил он. — Вы, наверно, надеялись, что я настоящий редактор: кто-то из прессы, важный. Теперь всё кончено, да?

И тут она внезапно к нему прислонилась, прижалась, взяла за руку. Они целовались, сидя на стволе старой вербы.

— Уедем. Хочешь?

— Уедем, — сказала она.

— Еще месяц-другой останусь. Потом исчезнем. Будет другому, вот увидишь, — оживился он. — Поселимся у моря. Мне всего сорок пять, это не так еще много, правда?

— Правда, — отвечала она.

Они сходились на влажном песке. Мушина расстелил свой плащ, тирольскую шляпу подложил Ленке под голову. Ночь была теплая. Им были слышны машины и конские копыта на том шоссе. Низко над землей зажигались и гасли светлячки.

— Ленка, Ленка, — повторял Мушина. Должно быть, она дотронулась лица рукой в песке, потому что, целуя ее, он чувствовал песчинки на языке и под зубами.

Они вернулись поздно — все окна за изгородями, из-за которых свещивалась сирень, были темные. Ленка осторожно повернула ключ в замке.

### *XIII. «Братие монополяне!..»*

С шести часов он ждал Флягу в «Гражданском». Рыбачинский пришел с подбитым глазом. На коже был синяк, белок раскраснелся. Мушина спросил, что случилось, но Фляга не хотел говорить. Только махнул рукой.

— Ударился.

Соседи Рыбачинских услышали скандал где-то после двух. Утром жена послала Яся с ребенком в парк. Вернуться он должен был в двенадцать. Рыбачинский заболтался перед пивным ларьком (шел кружным путем), ничего себе, видно, подвыпил — может, в «Гражданский» заходил? В парк пришел пьяный, уснул на скамейке, а когда проснулся, было уже четверть третьего. Взял коляску и вернулся домой. Только дома выяснилось, что коляска другая, а ребенок чужой. Рыбачинская перепугалась, подбила Ясю глазу (его крик был слышен на улице), потом побежала в парк. Толкала перед собой эту другую коляску. Девушка — нянька чужого ребенка — ходила по дорожкам зареванная. Она на минуточку отошла к подружкам (коляска оставалась возле скамейки, где спал Рыбачинский). Когда вернулась, ребенка не было.

— Что я пережила, что я пережила! — причитала она, глотая слезы. — С ног меня свалило, верите ли, пани?

Это был ребенок врача Лисовского. Даже не проснулся, только девушка наревелась как следует. Сынок Фляги спал в коляске возле пустой скамейки.

— Подонок! — кричала Рыбачинская мужу. — Собственного ребенка узнать не умеешь?

Фляга, пьяный, с подбитым глазом, заснул на диване.

И сейчас еще был не в себе — мало говорил и всё трогал шишку под глазом. Долго кашлял.

— Не переживай, Ясь. До свадьбы заживет! — пытался шутить Мушина. Он заказал поллитра житной.

Они выпили по сто грамм, и только тут Рыбачинский ожил. Мушина спросил его, кто у нас лучше всех зарабатывает. Фляга посмотрел на него с подозрением.

— Тебе зачем, Анджей?

— Ну, знаешь, пишу, так тово, надо знать, — объяснил Мушина.

Фляга ничего не сказал. Казалось, забыл. Только когда выпили полбутылки, без вопроса начал рассказывать. Наклонился над столиком и шепнул редактору на ухо:

— Я тебе скажу, Анджей. Но смотри: могила!

— Могила, могила, — согласился Мушина.

Фляга озирался (даже привстал). Кругом было пусто. В соседнем зале, у стойки, пели мужики:

— «Уланы, уланы, точно на картинке!»

— Они тут торгуют чесноком, — сказал Ясь.

— Кто они?

Фляга оглянулся. Повторил шепотом: — Ну, они, тут... Медза, Гняздовский, Шелёнг. Может быть, Тарговский, наверняка Шафранек. Целая чесночная мафия. — Он ухмыльнулся.

Мушина думал, что Фляга шутит. — Ясь, ты что? Какой чеснок?

Рыбачинский рассердился. — Не веришь? Пожалуйста: можно проверить в сельхозотделе. Каждый из них контрактует по несколько тонн. А огородики вот такие! — он толкнул тарелку с салатом.

Они посидели молча. Мушина глядел на заведующего.

— Из Чехии возят, понимаешь? Там чеснок дешевый, у нас дорогой. У них водка дорогая, здесь дешевая. Простой расчет. Рискуют парни, правда, но выходят на своем. Виллы, сберкнижки. Да, да, Анджейка. Не думай, что это такая провинциальная гольтьба!

Мушина всё еще не мог поверить. — Ясь, ты часом не пьян? Дыхни!

Фляга дыхнул водкой прямо в лицо Мушине. Оба засмеялись. И снова Рыбачинский как будто испугался. Еще раз огляделся. — Анджей, смотри, могила?

— Могила, — поддакнул редактор. — Но скажи еще, как же они это делают?

Рыбачинский выпил, запрокидывая голову. Поставил стакан на стол, вытер губы ладонью.

— Метек Шелёнг играет первую скрипку. У них свои люди в Милковицах и других деревнях. Каждый месяц переброска. Туда

и обратно через горы. От границы везут на скорой помощи. Гняздовский дает.

— Погоди! А как же армия, чехи, граница? Сегодня контрабанда не такое легкое дело. Ясь!

Фляга только головой покачал: — Милый, подмазка! За деньги и ксендз молится!

Они снова выпили. В соседнем зале пели мужики: — «Не одна девчонка и не одна вдова!..»

Фляга словно размяк — голова легла на стол. Он пытался еще говорить:

— Проверь счета в сберкассе. Пожалуйста! В нашей работает некая Пивко. Скажи, что ты от меня. — И снова спрашивал: — Могила, могила?

Потом он уснул. Мушина не был уверен, шутит Рыбачинский или говорит правду. Задумавшись, он сидел за столом.

Позже официант Людвись убирал тарелки с остатками салата. Грязной тряпкой смел пепел и крошки на пол.

— Пан редактор, — наклонился он. — Скоро двадцать четыре ноль ноль. Закрываем.

Мушина потянул Яся за рукав. — Зав, вставай!

Они вышли из «Гражданского» на площадь. Пьяные мужики садились в такси. Они еще пели: — «Уланы, уланы, точно на картинке!..»

Они встретились в кафе «Магнолия». В маленьком зале, за столиком, который официантки приготовили по приказу директора Тарасевича (свежая скатерть, цветы в цепелийской\* вазе, зеленая керамическая сахарница). Утром Медза позвонил директору:

— Тарасевич, приготовь столик. Да получше. Мы придем в семь.

— Простите, товарищ секретарь, — поклонился в телефон директор Тарасевич, — сколько персон?

Но Медза повесил трубку.

До семи Тарасевич беспокоился. — Может, банкет на двадцать персон? — впадал он в панику. Вздыхнул с облегчением только тогда, когда Шафранек (директор помог ему снять пальто) сказал, что будет только пятеро.

— Столик подготовлен, — потер руки Тарасевич. — Мое почтение! — Он проводил инженера в маленький зал.

Остальных гостей он дождался у входа в кафе. Он открыл дверцы «Варшавы», из которой сопя вылез секретарь. Следом за ним приехал директор Гняздовский своим польским «Фиатом-125».

---

\* Цепелия — объединение, выпускающее изделия народно-прикладного искусства. (Прим. пер.)

Шелён и Тарговский пришли пешком. Тарасевич дважды заглядывал в маленький зал. Он ожидал, что Медза кивнет ему и подзовет, но секретарь, склонившись над столиком, говорил что-то вполголоса и не обращал на него внимания. Директор закрыл на ключ музыкальный ящик возле буфета.

— Почему, пан директор? — запротестовали парни из-за соседнего столика. Тарасевич не ответил.

О чем они тогда говорили? Фляга, которому Шелён кое-что пересказал, по пьянке разоткровенничался перед Мушиной.

— Анджейка, — сказал он, — ты у них на прицеле.

Может, Военка позвонил секретарю и пересказал разговор по делу Сломкевича. А может, Шелён рассказал про визит Мушины в школу? Медза был раздражен. Руки у него слегка дрожали, когда он разливал советский коньяк.

— Чья политика скрывается за этими хитростями, говорить не буду. Дело ясное. Речь идет о том, чтобы склочники и критиканы не подняли голову выше. Мы не можем этого допустить, товарищи. Это надо предотвратить.

Те поддакивали. Один Гняздовский, от которого Мушина ушел как оплеванный, сказал:

— С этим типом посуровее надо. Удостоверение есть? Нет? До свиданья!

— Ты ж видел удостоверение на заседании, — напомнил Медза.

Гняздовский махнул перед его глазами керамической крышкой сахарницы. — Вот как я видел, Генек! — И прибавил: — Посуровее, господа, посуровее! Без дискуссий!

Шафранек поддакнул: — Точно, Юзек правильно говорит.

— Так чего ты от него бегаешь? — вспыхнул Медза. — Как увидит редактора на улице, шасть на другую сторону.

Шелён в какой-то момент высказался: — А чего им, собственно, надо? Может, подмазать?

Секретарь взорвался: — Да ты сам ему девок подсовывал, и не вышло. Денег тоже не возьмет. А какой он христосик, это уж знаем.

— Рабочие говорят, — сказал Шафранек, — что тут забота о простом человеке.

Медза не понял: — Что, кто? Говори ясней.

— О простом человеке. Об этой, как ее, справедливости для них.

Может быть, тут они помолчали. Кто-то донес до рта рюмку с советским коньяком. Шафранек посасывал трубку (может, как раз погасла?) Гняздовский прервал молчание первым:

— Это о ком? Конкретно. О Кривом Стефане?

Шелён громко засмеялся.

Еще полчаса они разговаривали. Медза предлагал написать письмо в вышние инстанции.

— Юзек, ты не написал бы? — спросил он Гняздовского.

Тот пожал плечами: — Генек, бойся Бога, в ЦК жаловаться хочешь?

— Против тебя же потом статью состряпает, будешь виться, как угорь на сковородке. Я их знаю, журналистов!

— Врезать суке по-тихому, — сказал Шелёнг. — Сразу бы присмирел!

Они засмеялись. Допили коньяк. Запах дыма от трубки Шафранека разошелся по всему кафе. В восемь они вышли и расселись по машинам. Решили они что-нибудь тогда? Да пожалуй, ничего конкретного. Может: меньше разговоров, меньше встреч. Скорее избегать, чем спорить. Проект письма в центральную печать отпал. О том, чтобы врезать, тоже не говорили больше. Да понятно — Шелёнг пошутил.

Перед кафе ждал директор Тарасевич.

— Сердечно просим нас не забывать! — говорил он, застыв в поклоне у дверцы «Варшавы». Медза, уже сидя в машине, подал ему руку.

— Спасибо, Тарасевич. О заведении заботитесь, ничего не скажешь.

Тот аж раскраснелся от радости.

От «Магнолии» машины поехали к вилле Гняздовских в переулке за развалинами замка. Доктор устраивал прием по случаю награждения его орденом «Полония Реститута»\*.

Жены сидели на террасе. Ночь обещала быть теплой. С причерных лугов ветер приносил запах влаги. Квакали лягушки.

Пани Кристина, жена Гняздовского (говорили, что она на двадцать лет моложе мужа), крикнула, как только они вылезли из машин:

— Мужчины, водка вас дожидается. Где пропадаете?

Гняздовский вел гостей по тропинке среди малиновых кустов.

— Пожалуйста, гости дорогие.

Они вошли на террасу.

Представление его к ордену Медза поддержал полгода назад. В райкомовских разговорах Гняздовский часто возвращался к этой теме.

— Другие — говорил он, — с меньшими заслугами получают, а я тут пять лет сижу. На ноги тебе службу здоровья поставил. Поддержи, поддержи, Генек.

Речь шла о том, чтобы Медза поддержал представление воеводского совета. Медза спрашивал, не судим ли Гняздовский.

---

\* Орден (кавалерский крест) за заслуги в восстановлении Польши. (Прим. пер.)



— За этим ух как смотрят, — объяснял он. — Если были какие передряги с законом, то и стараться нечего. А ты же, Юзек... — Тут Медза со значением подмигивал.

Гняздовский клялся, что нет: — Что за шуточки, Генек! В жизни не таскался по судам.

— Смотри! — грозил ему пальцем секретарь.

Но, видно, и вправду, ничего не было, потому что через полгода получил свой крест. Вручали в воеводстве. Чуть ли не сам министр приехал. Награждали самых заслуженных работников службы здравоохранения со всего воеводства.

Утром в кабинете Гняздовского состоялось маленькое празднование.

— Официальная часть, — смеялся доктор.

Пришли одни мужчины. Пили коньяк из пузатых рюмок. Тогда-то Медза и сказал о Гняздовском: — Проверенный товарищ!

Он говорил коротко, без шпаргалки: — Мы собрались, чтобы отметить факт почетного награждения нашего дорогого директора Гняздовского! — И сразу следом: — Это у нас проверенный товарищ. Большие заслуги положил на участке районной службы здравоохранения!

Гняздовский молчал, слегка смущенный. Приколол крест к пиджаку. Принимал поздравления. С Медзой и Шафранком расцеловались. Поздравляли еще Шелёнг и архитектор Тарговский. Лелюхович сделал снимок на память.

Потом, на прощанье, Медза сказал: — Ну, Юзек, вот и твои двадцать пять процентов.

Кавалеры ордена получали двадцатипроцентную прибавку к пенсии. Гняздовскому было пятьдесят восемь лет.

— Я не какой-нибудь сопляк, — повторял он часто.

Довольный, он потянул секретаря за локоть: — С меня выпивка, Генек. — Это он приглашал на вечерний прием.

— Придут ближайшие друзья мужа, — говорила Кристина жене зубного врача Лисовского. Они встретились утром на базаре — вместе ходили между прилавками. — И всё моя забота. Наверно, засидятся. Не каждый день кресты раздают.

— И не каждому, не каждому! — подлизывалась Лисовская.

Они, действительно, засиделись: районный архитектор Тарговский, Медза с Хеленкой, инженер Шафранек с женой (полная женщина с высоко подколотой прической — белые волосы блестели под слоем лака). Только Шелёнг был без Лёли.

— Жена просит прощения, плохо себя чувствует.

Гняздовская и Шафранкова обменялись понимающими взглядами. Позже пришел Лелюхович с Ренатой. Смех Ренаты (особенно, когда Шафранек пошел рассказывать анекдоты) доносился сквозь открытые окна. Кривой Стефан, засыпая в шалаше, слы-

шал, как они пели: «Сто лет», «Кася, Кася, Касюленька», «Шла девчина» и «Глубокий колодец».

Они сидели за круглым столом в столовой. Вилла Гняздовских — один из самых благоустроенных домов в городе. На унитазе с ванной — мягкое сиденье, кафельные плитки — из Цепелии. Комнаты оклеены обоями с изысканным рисунком. В пол можно глядеться, как в зеркало. А старины, а старины! Доктор всегда что-нибудь привозит из командировок. То стульчик в стиле Людовика Пятнадцатого, то комодик, то подсвечник времен Княжества Варшавского. Особенно он любит саксонский фарфор — целая коллекция фигурок стоит на антикварном буфете. И сейчас свет большой лампы с желтым абажуром, украшенным кистями, падал на вереницу крошек: танцовщиц, пастушков с дудочками, нимф и других божков.

— И зачем тебе, Юзек, столько их? — удивлялся Медза, рассматривая фигурки. Только Хеленка завидовала Гняздовской:

— Видишь, видишь, он по крайней мере в искусстве разбирается. Культурный человек, знает, как деньги потратить. А ты что? Рыбу ловить да стрелять! И ничего больше!

Медза смеялся: — Ребенок этот Гняздовский, ну, просто ребенок!

Директор разливал водку по стаканам. Он был доволен — всё поглядывал на крест, приколотый в петлице. Шафранек встал и слегка покачнулся.

— За здоровье нашего дорогого кавалера! — воскликнул он.

— Какого кавалера? — спросил Медза.

Инженер не услышал. Но тогда-то он и произнес речь, о которой потом у нас много говорили. Люди со смехом пересказывали, как Шафранек, пошатываясь, держа стакан, в котором поблескивала водка, склонившись к столу, заговорил:

— Братие монополяне! Одно солнце, один истинный свет в нашей серой жизни. Государственная Водочная Монополия!

Тут наступили бурные аплодисменты и смех собравшихся. Всех заглушал громкий хохот Ренаты. Инженер, со стаканом в руке, продолжал:

— Предлагаю, братие, сменить с сегодняшнего дня нашу национальность! Что нам нация, которая приносит только этот серый день, работу, пару грошей в месяц, скуку и безнадёгу? Что нам такая нация? Назовемся, вношу предложение, монополяне!

И выхлыстал стакан.

— Это по-каковски? — спросил Медза, но и сейчас никто ему не ответил. Гости хлопали и кричали браво.

Потом все выпили. Гняздовская накладывала на тарелки. Смех Ренаты доносился из открытых окон. Инженер пошел рассказывать анекдоты. Тот, про дышло, на которое напоролась баба, насмешил Ренату до слез.

Потом снова пели. Пили. Пели. Пили. Кривой Стефан в своем шалаше над рекой слышал говор и пение. Он ворочался с боку на бок на твердом соломенном тюфяке, вздыхал, кашлял, плевал сквозь щель в ночь. Снизу, из переулка за развалинами, заросшего акациями, ветер приносил слова:

— «Глубокий колодец!..»

Выделялся резкий женский голос.

— Которая это? Которая бы это была? — размышлял Стефан. Он видывал Ренату, но ему и в голову не вступило, что это она поет так громко.

*(Окончание следует)*

## Стихи украинских поэтов

*В переводах Игоря Качуровского*

Микола Зеров

### *ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ*

Тепло и чад свечей. С высоких хор  
В тоске и скорби льется песнопенье.  
Здесь — палачей и сторожей скопление,  
Синедрион, и кесарь, и претор.

Здесь — нашей доли роковой узор.  
Для нас петух пропел предупрежденье,  
Для нас и слуг архиерейских бденье,  
И у ограды тлеющий костер.

И мглистый ряд евангельских историй  
Струится цепью тонких аллегорий  
О подлости и грязи наших дней.

И за дверьми, на паперти, в притворе,  
Колокола и голоса детей  
И звезды ясные в ночном просторе.

Евген Плужник

Мужик, косивший у опушки жито,  
О желтый череп зазубрил косу.  
Чей это труп валялся незарытый,  
Кто и за что сражался здесь в лесу —

Ему и дела нет. На месте боя  
Добротная, густая вышла рожь.  
А кто-то жертвовал на перегной собою? —  
Так что ж!..  
И наклонясь на вещью дорогою,  
Он осмотрел серебряный металл  
И, люто череп отшвырнув ногою, —  
Ишь, раскидало вас! — пробормотал.

Володимир Свидзинский

И тишь, и холод. Ты, луна ущербная,  
Со мной побудь и освяти печаль мою.  
Она, как снег на ветке, успокоилась,  
Как с ветки снег, она же и осыплется.  
Три радости со мною, неотъемлемы:  
Труд, одиночество, молчанье. Злой тоски моей  
Не стало больше. О луна ущербная,  
Во тьму несу я грозди обновления,  
Склонюсь над мертвым полем я с молитвою,  
И будут тихо звезды падать на поле.

Леонид Первомайский

*ГАМЛЕТ*

Дотлели звезды в куполе над нами.  
В кошмарных снах терзается земля.  
По Эльсинуру бродит тень ночами —  
Убитого изменой короля.

Все знают всё. Но всем уста сковала  
Коварной лести подлая печать.  
Нет, Дания безмолвия не знала  
Мертвей, чем это. Велено молчать.

Не в матери одной, конечно, дело,  
Вся суть позора, низости и зла,  
Что износить ботинок не успела,  
А с мужниным убийцею легла.

Всё прогнило. Повсюду смрад болота.  
И мир вот-вот рассыплется во прах.  
И скрыть уже не может позолота,  
Что ржавчина — от крови на коврах.

Не надо мудрости, ни благородства,  
Чтоб, истину познав, не трепетать.  
Довольно будет тихого юродства —  
Таким еще позволено болтать.

«Вот флейта, Гильденстерн. Сыграть  
хотите ль,  
Чтоб зазвучала песня в тишине.  
Ах, вас на флейте не учил учитель —  
А думали, что сможете на мне?..»

И мерю единственно-возможной  
Он мерит их, как мерит поле жнец.  
Он приговор изрек им непреложный  
В душе — хоть это и его конец.

И не боясь ни шпаги, ни отравы,  
И верностью, и честью вознесен, —  
«Быть иль не быть?» — он спросит  
нелукаво —  
И гибелью своей ответит он.

---

Сведения о поэтах см. в статье Игоря Качуровского, опубликованной в № 11 «Континента».

## МАМА МОЯ, МАМА...

### *Лирико-публицистическое исследование*

Пожалуй, можно главу, посвященную в основном подсудимому академику С. А. Ефремову, закруглять. Материалов у меня собрано на него много, но боюсь, как бы не спало детективное напряжение: всё об академиках, да о науке. Выстрелов не слышать, взрывов, поджогов, пущенных под откос поездов! Будут, будут, погоди, читатель, вот дай подобраться к террористической деятельности наших украинских «добродиев-интеллигентов»! Да и пора уже, а то как бы Ты, читатель, не повел себя так, как те иностранные корреспонденты, которым уже на пятый день суда в оперном Харьковском театре стало скучно слушать эту оперу... тьфу, процесс, извините за выражение. Я как-то просил Тебя, читатель, запомнить фразу: «Опера СВУ — музыка ГПУ», — и обещал ее растолковать. Вот растолковываю. Так шутили в то время гордые собой представители Органов: «Опера СВУ — музыка ГПУ!» Процесс шел в оперном театре, а придумали всё это, сочинили либретто и написали партитуры — славные чекисты. Хороша шуточка, а?

Авторство ее приписывают некоему Горожанину, крупному гепеушнику из Москвы, имевшему большой опыт в создании и ведении подобных дел. Его специально прислали, он был главным дирижером процесса СВУ. Он разработал фабулу дела, координировал действия отдельных Бруков — Правдиных. Он

---

Начало см. «Континент» №№ 11 и 12.

производил и отбор подсудимых для процесса, о котором — отборе — мы уже упоминали: одних оставлял в безвестности — судили и закатывали закрыто, других выводил в зал оперы на сольные партии. Отбирать было из кого: арестовали тогда в 1929, по очень приблизительным данным, человек 250 (это интеллигентов, кроме мужиков с «Кобзарями» в торбах), вывели на сцену лишь пятую часть. По какому принципу Горожанин отбирал? Ну, это понятно. Отбирал он опытным своим взором только надежных.

— На суде будешь признаваться, как и сейчас на следствии признаешься? — вопрошал он и, если улавливал колебания, оставался неуверенным в возможном поведении преступника — выбраковывал.

Этот отбор на открытый суд тоже был своеобразным способом заставить подследственных признаваться и не трепыхаться. Козырным тузом пришибал Горожанин:

— Будешь заператься — засудим втихаря, получишь пулю в полной безвестности, никто и знать не будет, в какую яму твое падло кинули!

И рвался подследственный — к свету, к людям на глаза... Рвался еще и затем, что питал в себе отчаянную надежду: там, в зале, на глазах людей, крикну с трибуны:

— Всё ложь! Нет никакого СВУ! Всё клевета!

А на этот случай — предусмотрел Горожанин! — чекисты-следователи Бруки — Броневые бесцеремонно сидели на сцене позади суда вопреки всяким правилам судопроизводства. Сидели в упор в спину обвиняемым и суду. Молча сидели. Сверлили глазами. Слушали, так ли густо поливают себя дерьмом подсудимые, как прорепетировано.

Но не дошло до этого случая, не дал промашки Горожанин, разве чуток не разглядел Гр. Холодного, который на мгновение засбоил и крикнул — «Обвинения не признаю!» И в антрактах выходил



Горожанин на авансцену и орлиный взор свой вперял в зал. Шарил по рядам между зрителями. Представь себе, мой читатель, что Ты сидишь там в зале, кушаешь мороженое-эскимо на палочке и вдруг... попал Ты в фокус этого взгляда... Небось, шлепнулось на пол эскимо с палочки?

Так, об иностранных корреспондентах Д. Заславский в «Правде» за 15 марта (процесс начался 9 марта) пишет:

«Зрелище невиданное. И я понимаю иностранных корреспондентов, которые, словно сговорившись, отсутствуют на этом процессе... Иностранные империалистические круги преувеличивали размер и силы ефремовского «Союза освобождения Украины»... иностранные корреспонденты поступили не так уж глупо, уклонившись от присутствия на суде и изменив своему профессиональному любопытству».

Да, ушли иностранные корреспонденты. Неинтересно им стало. Им и их зарубежным органам. Почему? Да потому, что с первого же часа судебных заседаний принялись подсудимые колотья и каяться. Ведь они, иностранные корреспонденты и их органы, наиболее близки к какой из сторон процесса? К защите, не так ли? Уж они-то, зарубежные органы, должны изо всех сил защищать контрреволюционеров, верно? Но вот как красиво и точно характеризует положение защиты на данном процессе адвокат Виленский:

«Защита в этом деле оказалась в положении защитников крепости, которая сдалась до первого штурма, выбросив белый флаг до первого грозного залпа прокурорских батарей. Крепость сдалась давно». И далее: «Подсудимые осуждены собственным признанием, собственным покаянием...»

Очень точно. Чего ж сидеть иностранным газетчикам? Ведь уже напечатали их газеты и прочитали их читатели, что в зале Харьковской оперы разыгрывается хорошо отрепетированный спектакль, никакого бою-драки нет, разве оставить одного на всю ком-

панию дежурить, вдруг все-таки прорвется драчка-кошачка\*, — а остальным ждать теперь уже оглашения приговора.

Вот и я боюсь, читатель, — а вдруг и Тебе уже неинтересно? Крепость выбросила белый флаг до первого грозного залпа...

Даешь, даешь залпы! Вперед!

Но прежде еще немного об академике С. А. Ефремове. Несколько слов в защиту его.

Хотелось бы не винить его сурово за оболгание себя и друзей, за ослабевшую память и усталость. Он неплохой человек. Честный человек. И умный. И очень-очень ненавидел он всё то, что творила на Украине советская власть, — видел, понимал и ненавидел. Вот послушайте, какие отрывки из дневника Ефремова цитировались на процессе. Кстати, дневник Ефремова, тщательно им прятанный от любопытного ока, но выданный следователям племянничком Колей Павлушковым, оказался единственным документом, фигурировавшим на процессе СВУ. Я не преувеличиваю: дневник Ефремова — единственный документ, представленный следствием в распоряжение суда. Остальное — собственные признания обвиняемых.

И вот — из дневника:

«Установившийся строй от Николая рознится в лучшем случае тем, что нет царя Николая II, а на это место стал Николай III — Ленин с красной Аракчеевщиной...»

Сразу, с первой же цитаты, видно — враг! Враг советской власти, диктатуры пролетариата! Враг Ленина!

«Делается наша академия, а может уже и сделалась, падалью, на которую сбегаются со всех сторон шакалы и гиены...»

---

\* «Кошачкой» называют в цирке конфликт, когда взбунтуются против дрессировщика «кошечки» — пантеры, тигры, львы.

Довольно точная характеристика академических дел того времени, если учесть, что настоящие научные работники пересажены или разогнаны, а на их место по головам друг друга лезут бездарные стукачи и «красная профессура».

«Вчера было единение Академии с приезжими работниками Донбасса. Я, понятно, не пошел на это фарсовое единение. Те, кто там был, рассказывают, что впечатление от этого единения просто отвратительное. С одной стороны — хамский тон умничающего невежды — даешь науку сейчас моментально, а с другой стороны — хамское такое оправдывание перепуганных ученых».

Тоже точная картина, верно схвачены взаимоотношения гегемона с недобитой интеллигенцией. Главный государственный обвинитель, цитируя это место из «Дневника» (для пущей важности «Дневник» — везде с большой и в кавычках — документ с настоящим названием!), восклицает:

«Ефремов по-звериному ненавидит сегодня гегемона жизни пролетария и строителя всего будущего человечества, в мае месяце 29 года в своем «Дневнике» он пишет, пусть это услышат трудящиеся — каждый рабочий и каждый крестьянин!»

Верно, на рабочего и крестьянина тех лет это должно было подействовать — проходило, я уверен, под аплодисменты и крики «к расстрелу!» И я согласен с обвинителем: ненавидит Ефремов пролетария, факт, точнее — ненавидит пролетария в фальшивой, нелепой и жестокой роли гегемона, роли, абсолютно ему несвойственной. Не согласен, читатель? Насчет того, что пролетариату несвойственна роль гегемона? А я настаиваю: диктатура пролетариата — это бред! Подумай на эту тему хотя бы вот с какого конца. Аристократ, придя к власти, оставался аристократом: становился политиком, вождем, но от класса своего не отрывался. То же и капиталист. И помещик. И любой представитель интеллигенции — юрист, писатель, ученый — им же и остается плюс приобретает вес поли-

тического деятеля. А пролетарий? Он выдвинут в руководители — и перестал быть пролетарием, рабочим. Прощай, станок и заводская проходная. То же и крестьянин. Не стану фантазировать, что, какие изменения происходят в связи с этим в психическом складе этого рабочего-крестьянина, сам подумай. Секёшь? И получается: диктатура пролетариата — это диктатура властолюбивых выскочек, гегемония новообразованной бюрократии, которая дорвалась до власти и, не имея ни традиций, ни культуры, крушит и уничтожает всё вокруг, что мало-мальски мешает ей сладко жить. Вот так обстоит дело с диктатурой. Не согласен? Порассуждай сам. Опять же — ненавидит Ефремов и советскую власть.

Слышу, читатель, Твое возмущенное:

— Так ведь в самом деле — антисоветчик! Враг! А о Ленине как он? Разве можно? Ленин, наш родной Ильич — и вдруг Николай III с аракчеевщиной! Нет, за такое надо... нельзя прощать такого!

А как Тебе, друг мой, понравится вот такая характеристика, выданная родному Ильичу?

«Поголовное истребление несогласно мыслящих, — старый, испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II-го этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди — почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема?

Он и не отказывается, откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов».

Возмущаешься, шокирован? А как Тебе вот это:

«Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот, грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина — Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны».

— Да кто посмел? — прорывается в Тебе благородное негодование.

Сообщаю. Держись за стенку, не упали.

Это сказано Максимом Горьким. Не три глаза, зрение не изменило Тебе. Алексей Максимович Пешков это сказал, великий пролетарский писатель-революционер Максим Горький, автор романа «Мать», революционных «Песен» о Соколе и о Буревестнике.

Сказал он это в 1917 и 1918 годах, тотчас после того, как свершилась Великая Октябрьская Революция, и ужаснулся писатель тому, сколько грязи и крови принесла с собой ленинская диктатура. Сказал в совершенно зрелом возрасте: к 1917-му написано Горьким в основном всё, осталось сочинить «Артамоновых» и «Самгина». Сказал он это — написал — в газете «Новая жизнь», где из номера в номер протестовал против кровавых ужасов победившего большевизма в статьях под названием «Несвоевременные мысли» (не ищи их, понятное дело, в многотомных собраниях сочинений).

Ты опомнился от шока, мой читатель? Хочешь еще? Пожалуйста.

«Сам Ленин, конечно,.. человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс».

*(«Новая жизнь», 10 ноября 1917 г., предыдущая выдержка — тоже из газеты за 10 ноября, а самая первая — 17 января 1918 года.)*

Алексея Максимовича за его «Мысли» обвинили в измене делу революции и пролетариата, предупреждали его и угрожали ему, а летом 1918 года прихлопнули «Новую жизнь» распоряжением ленинского советского правительства. Однако судить и арестовывать не стали. Побоялись авторитета? Не пришло еще время расправ? Не будем гадать, дело не в этом. Я выписы-

ваю куски из Горького, чтобы Ты, мой читатель, немножко точнее понял, что к чему и что почем. Вот еще несколько выдержек:

«...будучи уверенным, что оно (правительство. — Г. С.) разум народа, оно принуждено позицией своей внушать народу убеждение в том, что он обладает самым умным и честным правительством, искренне преданным интересам народа.

Народные комиссары стремятся именно к этой цели, не стесняясь — как не стесняется никакое правительство — расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага». (*«Н. ж.»*, 19 февраля 1918 г.)

Так это же прямо о поведении правительства 12 лет спустя на Украине в нашем деле СВУ!

«Наша революция дала простор всем дурным и звериным инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила от себя в сторону все интеллигентные силы демократий, всю моральную силу страны...»

(*«Н. ж.»*, 16 марта 1918 г.)

И последняя выдержка из «Несвоевременных мыслей» Максима Горького — длинновата, но полностью к нашей теме:

«На днях какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на семнадцать лет общих работ за то, что этот юноша откровенно и честно заявил: «Я не признаю Советской власти!»

Не говоря о том, что людей, которые не признают авторитета власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов и что всех этих людей невозможно истребить, я нахожу полезным напомнить строгим, но неумным судьям о том, откуда явился этот честный юноша, столь нелепо-сурово осужденный ими. Этот юноша — плоть от плоти тех прямодушных и бесстрашных людей, которые на протяжении десятилетий, живя в атмосфере полицейского надзора, шпионства и предательства, неустанно разрушали свинцовую тюрьму монархии, внося, с опасностью для свободы и жизни своей, в темные массы рабочих и крестьян идеи свободы, права, социализма. Этот юноша — духовный потомок людей, которые, будучи схвачены врагами и изнывая в тюрьмах, отказывались

на допросах разговаривать с жандармами из презрения к победившему врагу.

Этот юноша воспитан высоким примером тех лучших русских людей, которые сотнями и тысячами погибали в ссылках, в тюрьмах, в каторге и на костях которых мы ныне собираемся строить новую Россию.

Это — романтик, идеалист, которому органически противна «реальная политика» насилия и обмана, политика фанатиков догмы, окруженных — по их же сознанию — жуликами и шарлатанами.

Чтобы воспитать мужественных и честных юношей в подлых условиях русской жизни, требовалась огромная затрата духовных сил, почти целый век напряженной работы. И вот теперь те люди, ради свободы которых совершена эта работа, не понимая, что честный враг лучше подлого друга, осудили мужественного юношу за то, что он, — как это и следует, — не может и не хочет признавать власть, попирающую свободу».

*(«Н. Ж.», 3 мая 1918 г.)*

Ну-с? Менее страшными кажутся Тебе теперь высказывания С. А. Ефремова? Ой, забыл еще одно из «Несвоевременных мыслей»: Октябрьскую революцию Горький называет —

«это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии».

Да, это Горький. Это 1918 год. Подшивка «Новой жизни» выдается там же, в газетном отделе научной библиотеки, — и Тебе выдадут, читатель, запишись только в библиотеку. Возьми, не пожалей времени, почитай. Необычайно интересно! А уж о таланте публициста, о блеске мыслей — и говорить излишне, это Горький. Да, Горький. Тот самый, который через десяток лет выдвинет принятую официально формулу убийства без суда и следствия — «Если враг не сдается — его уничтожают!» Тот самый, который станет основоположником осмеянного всем мыслящим миром «социалистического реализма», о котором народ наотмашь скажет: «социалистический реализм — это

воспевание вождей в доступной для них форме». Еще побывал он, Горький, в лагере на Соловках и в труд-колонии для малолетних под Харьковом и восхитился на старости лет, как гуманно и нравственно перевоспитывает советская власть преступников... Так было, никуда не денешься. Анализируй дела эти, читатель мой, сам.

Но вернемся к «Дневнику» Ефремова. Вот еще из «Дневников»:

«Обнищало село, обнищало материально и духовно. Половина ходит в дерюгах, одёжа кузенькая, обтрепанная, часто на дворе строения уничтожены, а под боком лес, да его не за что покупать. Экономии уничтожены — чтобы, когда вернется, то не было бы где сесть, а все же много людей за паном сожалеют. Был заработок, а теперь негде ни заработать, ни в долг взять.»

Это из дневника 1924-26 годов. Довольно благополучная картина, если учесть недавнее военное лихолетье. Остался бы Сергей Александрович на свободе да побывал бы в селе на родной Украине в 33-м, когда пожирали матери мясо своих детей, даже страшно писать о таком буквами обычными...

Еще отрывок:

«Говорят, будто сын Никовского записался в пионеры. Ни он, ни отец к нам не заходят. Из хорошего мальчика вышло стерво. А всё отец виноват...»

Хватит «Дневника». Всё понимает академик. И очень не любит диктатуру пролетариата. И очень надеется на то, что она куда-то сгинет. И очень логично было бы, если бы он с такими настроениями и в самом деле организовал антисоветское общество. Но... он этого не сделал, не основал академик Ефремов общества. А когда ему пришили СВУ — не стал отрицать. Почему? А может, решил — пусть считают, что я его основал? Пусть все считают? Ведь я должен был, прямо-таки обязан был его основать? В интеллигентских кругах, интересовавшихся процессом, ходила та-



кая шепотом и с оглядкой произносимая фраза: «СВУ должно было быть... но его не было».

Нет, не думаю. Не знаю. Это прыщавый мальчишка Павлушков мог так рассудить и оклеветать себя, дядёв, друзей по школе, кого и не знал вовсе, — вон я какой герой! А бывалый Ефремов, умный тонкий ученый — не мог сделать такого хода. Он просто запутался. И его запутали.

Дошло до меня следующее. Уже после суда в общей камере рассказал Ефремов это Голоскевичу, а тот, выйдя в ссылку и прежде, чем повеситься, — одному из моих «свидетелей эпохи»...

Ефремов держался дольше всех. Не признавал ни существования СВУ, ни себя в роли его вождя. Ему принесли признания Павлушкова, Дурдуковского, Никовского и сказали:

— Вы же умный человек и понимаете, что, имея их показания, такие их показания — мы обойдемся и без вашей повинной. Но учтите: вас — расстреляем. Расстреляем, как главу. А раз главу расстреляли — хоть он и не признался, — то тех, которые признались в кровавых преступлениях, и подавно придется расстрелять. Виновником их гибели будете вы. А признаетесь — помилуем всех.

Еще ему говорили, что если не признается, его не отберут для процесса и не выпустят в зал оперы, а шлепнут втихаря и подберут для СВУ другого главаря, более сговорчивого, из тех, кто уже признался.

Влияли на академика и, так сказать, умственно-философски:

— Вы должны всего лишь сойти со сцены — все вы, старые интеллигенты-националисты. И дальше украинская культура будет развиваться без вас. Но она будет развиваться превосходно. Вот видите — мы ведь всецело за украинизацию. В украинскую культуру придут на смену вам новые молодые кадры.

И он стал «признаваться», стал клеветать на себя и на других. Он клеветал и ужасался тому, что творит. И перед началом суда сказал своему защитнику Ратнеру:

— Я решил на суде отречься от всех своих прежних показаний. Скажу с трибуны правду.

Ратнер с ужасом оглянулся на дверь камеры, схватился за голову и зашептал:

— Ради Бога, Сергей Александрович, — только не это. Вы не знаете, сколько народу посажено по этому делу. Они будут мстить, они залиют кровью всю Украину!

Искренен был адвокат? Или играл заодно с ГПУ, которому надо было, чтобы каялись подсудимые? Я склоняюсь к последнему: играл на руку ГПУ. А может — и нет. Теперь того не узнать. Говорят, был Семен Борисович Ратнер человеком порядочным.

И Ефремов, убежденный, хоть и пассивный враг советской власти, *стал ее пособником в самом черном, гнусном, бесчеловечном деле...*

Потихоньку-полегоньку катится наша детективная колымага, дорогой мой читатель. И сам видишь: уже порядком подзапутано, кто убит, а кто убийца.

### *ПРЫЩАВЫЙ МАЛЬЧИК КОЛЯ*

Павлушков Николай был ростом невелик, некрасив, прыщав. Близорук, очки не снимал. Угрюм был, молчалив. Большой аккуратист: всегда всё записывал, вел дневники, подшивал в пронумерованные папки получаемые письма. Лет 16-ти приехал он откуда-то из России, кажется из Тулы, где рос в поповской семье. Очень быстро усвоил украинский язык — отлично усвоил, говорил только по-украински, щеголял этим. Ефремова боготворил, ходил за ним на цыпоч-

ках, слушал, затаив дыхание, каждое слово спешил записать.

Очень хочется досочинить образ Николая Павлушкова, дофантазировать, расписать его психологию. Нарисовать живую картину, как шел он однажды прямой весенней ночью по Фундуклеевской (ныне улица Ленина), всматривался пытливый взглядом в отдельные еще светящиеся окна домов и вдруг ощутил некий толчок изнутри и услышал вещий голос, призывающий его свершить подвиг и стать во главе. Но лучше без липы.

Впрочем, то не липа, что, несомненно, родился и воспитался Коля с ярко выраженным инстинктом лидерства, с желанием власти и славы. Ростом был мал, телом слаб — понял вскоре, что слава Мочалова — Каратыгина, равно как и Дон-Жуана, не его удел. И рассудил вполне здраво: стану учиться, освою родной язык, изучу историю родной страны (вот и знаменитый, эрудированный дядя рядом ходит), ворвусь в высокую науку и... и попробую стать вождем. Учился, осваивал. И науку вождизма тоже постигал. Не без участия и помощи дядек возглавил ТЕЗ, «Товарищество еднання згоди» — пусть школьный детский коллектив, а все-таки. Не удержался ТЕЗ, закончили дети школу — разлетелись кто куда, хоть при школьном расставании и клялись в романтической верности до гроба. А лидерствовать, возглавлять Коле хотелось, да и дядьки своего нравственного наследника подталкивали к тому: хлопец растет разумный, пытливый, неньку-Украину любит — почему такому не послужить неньке.

Созывает Коля нескольких своих дружков по ТЕЗу и говорит:

— А давайте, друзья, организуемся. Всех тезовцев не соберешь — давайте хоть мы встречаться, говорить о том, о сем, планы разные намечать...

— Какие планы? О чем?

— Ну, обо всем. О любви к многострадальной Украине и вообще. Я уже и название для нашего кружка придумал. СУМ — будем называться, по первым буквам слов «Союз (по-украински — «спілка») украинской молодежи». И звучит: «сум» — по-украински «грусть», вот и прекрасно, мы — грустная молодежь, «сумна молодь», поскольку озабочены долей «батьківщини», отечества.

Согласились ребята. Состоялся этот разговор в 1925 году. Было их всего вместе с Колей шестеро: Нечитайло, Бовкун, Кокот, Матушевский, Бобырь и — Павлушков. Больше их и потом не стало:

«Невзирая на свои попытки расширить свое влияние в массах, «СУМ» до последнего времени оставался замкнутой организацией, которая *затащила в свои ряды только незначительные слои* (выделено мною. — Г. С.) националистической украинской молодежи, исключительно выходцев из враждебного пролетариату и крестьянству класса».

«Незначительные слои» — все-таки «слои», так не скажешь о шести пацанах. Фраза взята из данных предварительного следствия. Давайте глянем, что там дальше выяснилось насчет «слоев».

На скамье подсудимых из всего состава СУМ оказались двое — Павлушков и Матушевский. Бобырь привлекался в качестве свидетеля — после чего, само собой, отсидел «свое». Говорят, в тюрпode (тюремный подвал) во время следствия видели еще Кокота. Итого — четверо. Как Тебе, читатель, кажется, судя по тому, что Ты уже о деле СВУ знаешь, — могли сесть на скамью подсудимых только двое, если их было... ну, сорок, пятьдесят? Из организации, о которой сказано:

«... сурово законспирированная, боевая, фашистского типа организация, котррая принимала участие... в подготовке воору-

женного восстания против Соввласти и которая готовилась совершать террористические акты?»

(«Вісті», 5 марта)

Мне кажется — то есть я в том уверен! — нет, не могли сесть только двое, все бы сели. Словом, так их шесть и осталось. Сколько раз они сходились? Вше-стером — два или три раза за всё время. Последний раз виделись все вместе в 1926 г., об этом и приговор свидетельствует, в нем, в приговоре, о Матушевском, например, сказано: «с 1925 до 1926 года был членом руководящей пятерки СУМ».

Итак — всего шесть человек влилось в СУМ. Немногого добился кандидат в вожди Коля Павлушков, хилая армия. Но в материалах суда... А, в материалах суда!

Из допроса Б. Матушевского:

«... часть «СУМа» считала необходимым применение террора и против местных представителей Соввласти» (часть! — слышите? — звучит!)

Из допроса Н. Павлушкова:

«В случае восстания «СУМ» должен был стать отдельной боевой единицей — батальоном...»

Батальон — это, если не ошибаюсь, четыре роты, а рота — 300-400 штыков, итого батальон — не менее 1200 боевых единиц? Хочется по этому поводу грустно подвить: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — неужто всех вас приняла мать сыра земля без суда и следствия? Но не станем подвывать, не надо траура — в данном конкретном случае не надо: батальон, созданный старанием следствия, должен был состоять в случае восстания из 6 штыков, вооруженных, как увидим через несколько страниц, одним малокалиберным пистолетиком системы «монте-кристо» для патрончиков «лонг-райфен» (в детстве был у меня такой пистолетик, медный и блестящий,

отец купил его просто в магазине и учил меня стрелять из него в мишень на столбе). Чтобы покончить с боевым батальоном — еще одна выдержка — и хватит, «Правда» от 14 марта:

«Чахлый во всех смыслах союз контрреволюционной молодежи («СУМ») представлен на скамье подсудимых Павлушковым и Матушевским. О других членах этого союза упоминается в обвинительном заключении, но часть отреклась от союза еще прежде, чем он провалился».

Упоминается о «других» — имеется в виду один Д. Бобырь, фигурирующий на процессе в качестве свидетеля, даже Нечитайло, Бовкун и Кокот — не упомянуты нигде ни разу.

Одним словом, не получилось из Коли вождя широких масс. А хотелось быть вождем, очень хотелось. А тут еще «шерше ля фам» — появилась девушка, Люся Варенуха, красавица и умница, продолжательница старого украинского интеллигентного рода, которая вдруг (любовь зла!) избрала прыщавого Колю среди многих писанных красавцев. Вождь тоже влюбился по уши. И ужасно как гордился тем, что покорил такую дивчину. Но любовь эту надо было заслужить — Коля очень боялся своих прыщей, нелепых круглых очков. Он излагал своей Люсе героические взгляды, сообщал о грандиозных замыслах, намекал с трагическими интонациями о своей подвижнической миссии.

И вдруг... в конце апреля 1929 года арестовывают сестру Павлушкова. Брат добивается правды, носит передачи. Люсе он целует руки, пожирает ее тоскующим «сумным» взглядом и убеждает в том, что она должна оттолкнуть его, уйти от него, не рисковать собой, потому что предать сестру, не добиваться ее освобождения, не носить передач он не может. Люся своей маленькой ручкой жмет его мужественную потную десницу и произносит:

— Мы пойдем вместе по пути борьбы и страданий!

Но в середине мая сестру выпускают. А 18 мая 1929 года — в один день арестовывают Павлушкова, Матушевского, Бобыря. Напоминаю: старики — члены еще несуществующего\* СВУ Ефремов, Дурдуковский, Никовский и вся прочая компания — все на свободе, нормально трудятся в Академии, готовят к изданию словари и учебники, печат советских граждан, служат в советской кооперации, преподают в школах и не ждут для себя никаких бедствий.

Кто донес? Выудили что-то любопытное у сестры? Сумели подкатиться к красавице-умнице Люсе? — перешептывались соседи, будто вызывали ее, красавицу, после ареста возлюбленного и возили к нему на квартиру\*\*. Только обыск у аккуратиста Коли сразу дал улов: дневники с записями об организованном СУМе, с вещими словами дядюшки Сережи, переписку\*\*\*. А среди той подшитой в папки переписки — и мамы моей Наталки Собко письма, в которых она не

---

\* Это не описка. Еще несуществующего, хотя всему миру известно, что СВУ возник в 1926 году. Он не возникал вообще, а к маю 1929 года еще не существовал в фантазиях ГПУ: надо было «расколоть» Павлушкова, чтобы начала жить, расти и действовать «Спілка Визволення України».

\*\* О Люсе Варенухе мне неизвестно более ничего.

\*\*\* Я сказал выше, что ГПУ располагало единственным документом — «Дневником» Ефремова. Пожалуй, надо уточнить. Имею в виду, что больше документов на суде не фигурировало: не зачитывалось, не предъявлялось прокурорами или защитниками, как это всегда на всех судах делается. Не принесли на суд ни дневников Павлушкова, ни переписки его, ни дневников и переписки кого-либо другого. Почему? Ответ может быть только однозначным: ничего в них, в этих документах, не было интересного, обличающего подсудимых. Ниже я буду упоминать листовку, сочиненную по поводу убийства Петлюры, — так и она не фигурировала на суде, хотя на самом деле существовала. Ну, это уже недоработка следствия: не сохранилось с 1926 года ни одного экземпляра листовки — так ничего не стоило сфабриковать, целую боевую фашистскую организацию сфабриковали, а листовочку — не сумели.

соглашалась с националистически-интеллигентской ограниченностью взглядов Коли, живущего в мещанском Киеве, и из пролетарского Харькова звала на широкую дорогу комсомольской романтики... Какую бы роль ни сыграли те мамины письма в разматывании ниток, приведших к созданию клуба СВУ, — можно сказать с уверенностью: спасибо Колиной аккуратности, спасибо, что подшил он и сохранил мамины письма, дышащие пролетарским советским настроением, иначе, по одним только данным об активном участии мамы в ТЕЗе, о дружбе с Павлушковым, Матушевским и прочими ей, дочери царского полковника, неминуемо сидеть бы на скамье подсудимых, или, еще того хуже, выслушать приговор, не будучи отобранной для присутствия в зале оперы. Это в том случае, если мама не писала доноса в ЦК комсомола, а если писала — то, конечно, письма Павлушкову уже не были нужны, она уже была их человеком. Чёрт возьми, голова кругом идет...

Прости меня, мама... Просит покоя душа Твоя, слышу. Она заслужила покой. А я не даю Тебе покоя. Прости...

Но что же все-таки происходило с Павлушковым и еще двумя сумовцами после их ареста, как случилось, что запели они в камерах ГПУ фашистскую оперу СВУ?..

Нет, никак не получается у меня без ссылок на хотя бы одного живого свидетеля. Нужен он мне. Тебе, читатель, необходим. И ведь он есть. Появился уже после знакомства моего с Всеволодом Михайловичем Ганцовым, когда я переискал и порасспросил всех, кто мог иметь хоть какое-то отношение к СВУ — адвокатов и чекистов тех времен, возможных родственников, однофамильцев. Вдруг услышал я от одного старого литератора, которому изложил свою



версию маскировочную о разведках моих по поводу мамы\*:

— Как, да ведь жив и здоров Борис Федорович Матушевский! Инженер, на пенсии, два месяца в году еще подрабатывает, в саду возится. Сын у него, внук, жена жива-здоровая. Бодр совершенно, стариком не назовешь. Когда-то, рассказывает, стишки пописывал, журналистикой грешил, и сейчас литературно-историческими исследованиями занимается. Да вот вам и адрес его!..\*\*

И вот он — передо мной. Живой Борис Матушевский, один из двоих посаженных на скамью подсудимых членов СУМ. Живой и здоровый, с отличной памятью и, к счастью, — не боящийся обо всем том былом вспоминать.

В черновиках своих я засекретил его псевдонимом — Андрей Петрович М. Прележали черновики полгода — никто их, хвала Аллаху, не искал и всё время в глаза не видал (имею в виду, что после первого обыска я, напуганный, всё время ждал повторений, особенно вот теперь, когда часами стучу на машинке и это слышно

---

\* Приступая с расспросами о СВУ к каждому новому человеку, у которого, по моим предположениям, могут быть о том какие-либо данные, объяснял я ему свое любопытство так. Узнал, мол, случайно от одного старого друга покойных родителей о том, что мама была причастна к процессу и якобы принимала в нем участие то ли в качестве свидетеля, то ли даже привлекалась к следствию. Не помните ли вы случайно чего-либо об этом? Нет, не помните... А не знаете ли кого-нибудь из тех — журналистов, адвокатов, чекистов и пр., — кто мог бы помнить? Пожалуй, тоже нет... Несколько раз ответ был чуть иной:

— Вот имярек (такой-то) помнит, конечно, знал и бывал, но... не-ет, он ни за что не расскажет...

Словом, версия для расспросов мной придумана была такая. Собственно, и придумывать труда не стоило, так ведь оно фактически и было. Дядюшка натолкнул меня на разведку по поводу мамы, и отнюдь не его вина, что круг поиска расширился.

\*\* Вот и адрес:

Киев, ул. Тургеневская, д. № 74-б, кв. 3.

и соседям и под окнами). Сел обрабатывать черновые — сразу за машинку — и задумался. Оставить псевдоним? Опять то же самое получается: какой же это живой свидетель? А цитировать мне придется куски из материалов суда и следствия, где речь идет о Матушевском, а не об Андрее Петровиче — слишком уж несложно демаскировать его. Да и фото Бориса Федоровича хотелось бы сюда вклеить... Нельзя мне без его живых воспоминаний, без его присутствия здесь! И какие воспоминания, какое присутствие!

А собственно — ну, придут, ну, найдут. Моя вина — мой ответ. Он чем провинился? Искренне и откровенно, поверив в меня только потому, что уж очень хорошо знал мою маму, кое-что рассказал? Так в конце концов — не давал Борис Федорович никому подписки о молчании, и никто у него той подписки не отбирал. И спите, дорогой Борис Федорович, спокойно!

Вот так. И теперь нам с Тобой, читатель, много легче жить. Знакомы уже мы с Всеволодом Михайловичем Ганцовым, а теперь заговорит и Борис Матушевский. И незачем мне перед Тобой темнить, что отзвуки голосов со следствия и процесса — это, мол, кто-то из участников дела СВУ рассказал кой-чего моим «свидетелям эпохи». То есть было и такое, Голоскевич и Никовский в самом деле рассказывали, но большинство показаний — это воспоминания Бориса Федоровича Матушевского, перед которым я... готово было сорваться — преклоняюсь... Перед которым я преклоняюсь...

Да, пожалуй — преклоняюсь. Перед Вашей, Борис Федорович, замытаренной жизнью. Перед Вашим жизненным любием, которое после всего того прошлого дало Вам остаться полнокровным человеком, верящим в жизнь. И пусть в том прошлом Вы, тогда еще двадцатидвухлетний студентик, показали на себя при допросе:

«Как и Павлушков, признает, что «СУМ» был террористической организацией, имея целью применять террористические акты против выдающихся деятелей партии и соввласти...»

а на вопрос — «Осуждаете ли вы деятельность «СУМ»? — ответили:

« — Конечно, осуждаю. Я считаю, что находился под влиянием этих самых авторитетов — Ефремова и прочих, которые, откровенно говоря, *авторитетами для меня теперь не остались*» (выделено мной. — Г. С.).

С последним — о, как нужно согласиться! Когда у Вас на глазах эти «авторитеты» облили себя дерьмом на весь мир, предали свою веру и свои идеалы — какие уж тут авторитеты!

Вы там, на суде, не взвалили на себя напраслины. Ведь из всех преступлений, которые «шили» членам СВУ и СУМа, единственное реальное, совершенное на самом деле, — это написание Вами лично стихотворения на смерть Петлюры и организация тайной панихиды по Петлюре в Софиевском соборе с разбрасыванием листовок, призывающих чтить память атамана.

— Да, это было, — отвечаете Вы сегодня на мой вопрос. — Петлюру считал выдающимся человеком — он и в самом деле был крупный деятель, вам, людям помоложе, преподнесен его извращенный, изуверский образ. И панихида в Софии была. Официально правила молебен по поводу десятилетия смерти Ивана Франка, но мы пошептали знакомым, которым доверяли, а те своим — пусть мысленно молятся об убиенном Симоне Петлюре. И листовки приготовили — штук с сотню, не меньше, — и там, в Софии, раздавали людям и разбрасывали...

Пожалуй, Борис Федорович, Вам как раз было в чем признаваться. Вы совершили-таки акт беззакония: распространяли листовки. Это уже серьезно, за это можно судить. Вы и Ваш соучастник по молебну и

листовкам Павлушков — вы и в самом деле виновны. Вы — единственные! Остальные 43 сидящих на скамье подсудимых — ни в чем! Ни единого проступка нет за душой ни у одного из всех 43, которые, как мы хорошо помним, — «сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма».

А Ваше, Борис Федорович, последнее слово? Звонкое и достойное, хоть его и покровсали в газетах, оставили только покаянную часть, которую за Вас сочинил Ваш защитник Волкомирский. В газетах осталось:

«Вполне искренне осуждаю бывшие свои контрреволюционные настроения и деятельность. Я испытываю единственное желание — это оправдать свою вину перед трудящимися Украины. Я говорю эти слова искренне, как это может говорить только юноша».

А выброшено — вот:

«В своей любви к родному краю я был верен заветам моего отца, который учил меня любить Украину так, как любил он сам — любил, жертвуя всем самым дорогим ради служения Отчизне. Для меня он всегда был примером, по нему я равнял свою жизнь!»

Это сказано в двадцать два года, вся жизнь впереди... Представляешь, читатель, сколько раз Бруками и Правдинами произносилась ему эта фраза: — Ты молод, смотри — у тебя вся жизнь впереди!..

Но мы отвлеклись от Николая Павлушкова. Остановились на том, что 18 мая 1929 года он и еще Матушевский и Бобырь были арестованы. Что же происходило с ними после ареста?

О Павлушкове известно немного. То есть о том, что заставило его колотиться сверх всякой меры, оболгать себя и всех и создать дело СВУ (да! его трепотня создала СВУ!), — неизвестно вовсе ничего. Можно только догадываться. Уже после процесса кто-то из

подельников спросил с отчаянием и омерзением — от Павлушкова все шарахались, как от чумного:

— Слушай, зачем ты всё это говорил, писал, за чем смешал всех нас с грязью?

Он угрюмо ответил:

— Так надо было.

А дядюшка его Сергей Александрович Ефремов сказал после оглашения приговора Всеволоду Михайловичу Ганцову:

— Никогда не прощу Миколу, Микола для меня умер. Я ему доверял больше, чем даже Дурдуковскому. Он один, Микола, знал тот тайник, где я прячу свои дневники.

Это всё о поведении Павлушкова. Слов его, показаний — мы еще слушаемся. Но и по этому краткому — «Так надо было», зная главные черты характера нашего героя (прежде всего — инстинкт лидерства), легко дофантазировать, что же было. Полный сомнения, готовящий себя в герои плюс перепуганный арестом, он решил: ах, вы меня взяли, значит — я вам страшен, боитесь меня, так вот нате же: не только вам, а всему миру из застенков и с трибуны суда выложу свою программу! а что ее фактически не было, этой программы, — так я для пущей важности подбавлю такого — ахнете!

И Колю понесло. И донесло до того, что сегодня Борис Федорович Матушевский, друг его в прошлом и соратник, квалифицирует его поступки так:

— Решил войти в историю, а назвали предателем.

Хотя о друге своем Борисе Матушевском Павлушков скажет в заключительном слове:

«...за контрреволюционную деятельность Бориса Матушевского на девять десятых беру ответственность на себя, поскольку имел на него слишком большое влияние».

И в этой фразе — словно бы мужественной, произнесенной порядочным человеком — звучит мотив

вождизма: вот я какой, имел влияние, даже слишком большое! А начинаться заключительное слово будет так:

«Еще с 1922 года я проводил антисоветскую работу и превратился в закоренелого врага революции. Потом я основал и руководил "СУМом"..."»

Здорово! Храбро, отважно, хотя в 1922 году и было-то ему всего 17 годков, в самом деле «так надо было»! Но зачем же вдруг после этого —

«Я полностью признаю свою вину и вполне искренне осуждаю свою преступную деятельность»?

А? Зачем? Ох, ничего тут не понять, всё спуталось...

У Бориса Федоровича я спросил:

— Били вас, пытали? Применялись физические меры?

— Нет, не били. Меня — не били, от других тоже не слышал, от наших. Вообще физические меры — это уже позже пришло, туда, к 37-му. А с нами обращались по-людски. Ну, спать, конечно, не давали, приведут с допроса, только приляжешь — опять на допрос, а там следователи сменяют друг друга, а ты — не спи. Ну, сидел в сыром темном тюрпode. По ночам крики в коридоре: «Прощайте, товарищи, ведут на расстрел!» — и слышим шум мотора в гараже и выстрелы, заглушали, значит, мотором стрельбу. В самом деле расстреливали, или для острастки арестованным — не знаю. Да нет, расстреливали, точно. Вот из записок, которые умудрялись передавать, мы знали, что сидит с нами в тюрпode семья Бондаренков: двое братьев-близнецов Василь и Борис, сестра Галя и их дядя, им пришили создание КВУ — Комитета вызволения Украины. Борису и Василию года по 23 было, студенты кооперативного института. Так Павлушков рассказывал — уже после суда, когда в общей

камере сидели, — меня перевели в тюрьму на Лукьяновку, а он там, в Липках, в тюрподе оставался, рассказывал, что Бориса и Василя расстреляли: ночью слышали они их крики — «Прощайте, товарищи!» — и потом шум мотора в гараже и выстрелы... Был такой шофер Стасик, полячок, и комендант Зимовский — так поговаривали, что они расстреливают и получают по 7 рублей за голову... Ну, наган на стол клали. Меня допрашивал сначала Брук, страшный и отвратительный тип, это о нем Дурдуковский говорил, что он его гипнотизирует и он под его взглядом совершенно уничтожается и не может говорить, а потому всё пишет, мы, подсудимые и следователи, его Нестором-летописцем прозвали, Дурдуковского. Так этот Брук — потом он передал меня Правдину, тоже сволочь не последняя, — допрашивает меня, и заходит тоже следователь, Гольдберг, кажется, а на столе наган лежит — это с самого первого допроса так, наган на стол клали. И Гольдберг берет наган, вертит барабан и пересыпает патроны, на меня поглядывает. А Брук ему — «брось, говорит, это успеется, от одной из этих пуль он не уйдет»... Ну, на расстрел меня водили. Ночью — «собирайся, живо». И ведут через темный сад, дуло нагана сзади в спину, останавливают — «стой». Потом опять ведут, открывается дверь, ступени вниз, там свет — ну, вот тут и конец. Оказывается, в другой тюрпод перевели.

Вот так. Еще не 37-й...

О первых допросах после ареста Борис Федорович вспоминает:

— Сначала следователь — первые три или четыре допроса — только орал, ругался и требовал в чем-то сознаться, во враждебной деятельности. Я пожимал плечами и отвечал, что сознаваться мне абсолютно не в чем. И уже на пятый раз этот Брук, — вот так я через стол от него сидел, — он через стол ко мне рванулся, кулаком вперед — почти мне в лицо, чуть-чуть

не достал, аж я отшатнулся, и как заорет: «Сво-оло-очь! А СУМ — знаешь?» Я ему потом сказал: если бы вы меня ударили тогда, дотянулись бы кулаком — я бы вам тут же стулом голову проломил... «СУМ, — орет, — знаешь?» Ну, и всё мне стало понятно. Говорю ему — так это ж когда было, мы же после 26-го года ни разу и не собирались и не виделись, три года прошло! Какое там. И покатилося... Он мне одно каждый раз твердил: «Нам надо украинскую интеллигенцию поставить на колени, это наша задача — и она будет выполнена; кого не поставим — перестреляем!»

И покатилося. Матушевский честно поведал следствию всё, что было: стихи о Петлюре, молебны, листовки, антисоветские разговоры на заседаниях — заседаний было аж два, — попытки научиться владеть оружием и приобрести его... Было, признался, — три года назад.

Об оружии необходимо рассказать детальнее. Решили, что членам организации надо уметь владеть оружием на всякий случай. Где же его взять и какое оружие? Оказалось, в магазине можно купить пистолетик «монте-кристо», более солидного ничего не достать. Но — и то дело: выехать за город, в лесок, пострелять в мишень. Стали собирать деньги — стоил он, «монте-крист», 7 рублей\*. Собрали 3 рубля 30 копеек — больше не сумели, так и не купили оружия, а деньги-то где девались? Деньги отдавали Борису Матушевскому — вот он и казначей организации. Эпизод этот дал повод защитнику Ратнеру, главному адвокату на процессе СВУ, состричь насчет того, что, если говорить о терроре, к которому готовились сумовцы, то надо употреблять слово «тирористы», от слова «тир».

---

\* Только что я записывал эту же сумму, 7 рублей — совпадение, столько же Стасик и комендант Зимовский получали за расстрелянную «голову».



Что, читатель, я раньше времени раскрыл карты? Обещал взрывы, стрельбу, трупы? И — не будет этого? Не будет — поскольку не было? Ни взрывов, ни трупов? А следствию и суду очень их хотелось, ничуть не меньше, чем нам с Тобой, читатель, воспитанным на Шерлоке Холмсе, Мегре и Штирлице! Один бы трупик, крошечный, как бы враз заиграл процесс всеми красками!

Погодите, а откуда вообще взялись данные о терроре? А от Коли Павлушкова они и взялись. Вот послушайте. И внимательно слушайте, это занятная история, в ней и взрывы и трупы — миллион трупов!

Газета «Известия» от 21 марта 1930 года. Под общей шапкой «Процесс «СВУ» — заголовок: «А в Киеве — дядьки...» Пишет А. Аграновский, бойкий и остроумный репортер.

«Павлушков ведет себя «крайне неприлично». Киевские дядьки — Ефремов и Дурдуковский — нервничают, племян больно много знает и слишком подробно рассказывает. Как домочадец и Ефремовский нахлебник, Павлушков может перечислить по пальцам, сколько раз бывали у Ефремова в гостях атаманы бандитских шаек. Павлушков может точно вспомнить, когда ему была дана директива взрывать мосты. Это было в день получения извещения о наступлении Тютюника\*, может, наконец, рассказать, кого из миллиона коммунистов\*\* он, как генеральный секретарь «СУМ» (не удержался — выделил, как звучит, а? — Г. С.), должен был уничтожить в первую очередь в случае восстания».

---

\* Ой, мил-журналист Аграновский, ври — да не завирайся! Тютюник — это год 1921, племянцу Колюшке всего 16 годков, какую директиву, какие взрывать мосты?

\*\* Непонятная штука. Панас Петрович Любченко в своей блистательной речи воскликнул, что Ефремов мечтал о фашистской диктатуре с массовым уничтожением миллионов коммунистов. На что Ефремов со скамьи подсудимых бросил реплику:

— Я сказал не миллионов, а — «миллионА».

В зале на это последовал взрыв смеха. Смеялся и сам Ефремов. Борис Федорович Матушевский слышал всё это своими собствен-

Тут же через абзац:

«Реальная сила «СУМ» заключалась в том, что он готовил кадры советских вредителей на самых ответственных участках нашего строительства. Об этом Павлушков не говорит, об этом вы не найдете специального пункта в программе «СУМ», но это вытекает из всего того, что мы узнали из допроса Павлушкова...»

«СУМ» была боевой организацией, поэтому каждый ее член должен был изучать военное дело. В случае необходимости «СУМ» должна была выступить, как отдельная боевая единица» (мощная, как мы помним, — шесть штыков. — Г. С.).

Еще приводит А. Аграновский кусочек допроса:

«Тов. МИХАЙЛИК: — Ефремов дал согласие на утверждение пункта о терроре?»

ПАВЛУШКОВ: — Да.

Тов. МИХАЙЛИК спрашивает: «Как вы квалифицируете теперь «СУМ»? ПАВЛУШКОВ категорически отвечает: «СУМ» — это контрреволюционная боевая фашистская организация».

Это — общие, так сказать, постулаты к теме террора. А вот пишет наш уже хороший знакомец, выдающийся советский журналист Д. Заславский. «Правда», 18 марта. Тут уже имеем детали.

«Павлушков рассказывает (опять обратите, обращайтесь внимание: только — «рассказывает», только — «вытекает из допроса», ни тебе документика, и всё — Коля рассказывает! — Г. С.), что во

---

ными ушами и тоже... смеялся. Природу смеха этого он мне так растолковать и не сумел — не понял я, почему смеялся зал и Ефремов. И что означала эта нелепая поправка Ефремова. Панас же Петрович подхватил ее тут же и — тоже под смех зала — подсчитал, что, поскольку на Украине коммунистов всего 250 тысяч, то остальные 750 тысяч на уничтожение — беспартийные трудящиеся... Мне весь этот казус воспринимается, как идиотизм играющих в шашки, когда один ведет игру по правилам атаки, а другой играет в поддавки... Потом уже в беседах доанализировали мы с Борисом Федоровичем причину смеха. Зал смеялся из-за фантазмагорической абсурдности всего дела, как и обвинения в уничтожении миллионов, и Ефремов реплику свою бросил, поправляя миллиОНЫ на миллиОН, издеваясь, уже смеясь, чтобы подчеркнуть абсурдность.

время чистки студентов Ефремов удивлялся, почему студенты не решатся *уничтожить* (выделено мной. — Г. С.) нескольких лиц, проводящих чистку...»

Я прервал Д. Заславского и тотчас продолжу, вставлю только сюда показания о том же из другой газеты — «Вісті», 1 марта:

«Подсудимый Павлушков показал: «Наконец, Ефремов прямо обратился ко мне — слушай, Микола, что же думают себе честные студенты? Неужто спокойно соглашаются со всей этой вакханалией или тихонько в своем уголке ждут баранами, пока их не поволочут на бойню? Неужто не стало теперь смелых юношей, чтобы собрались проучить (разрядка моя. — Г. С.) нескольких наиболее наглых шпиков из студенчества... если уж не смогут добраться куда-то повыше, до всяких наркомов, которые заправляют всей этой сволочью?»

Как вам этот диалог? Припомните, пожалуйста, показания моего «свидетеля эпохи» о репрессиях и доносах среди студентов. Как еще мог реагировать на «всю эту вакханалию» старый честный ученый, украинский интеллигент? Правильно реагировал. Надо «проучить», устроить темную в мешке на голову — это и мы с Тобой, читатель, студентами бывши, с подлецами проделывали и будут, надеюсь, наши дети проделывать!

Продолжаю Д. Заславского:

«...проводящих чистку.

Тов. ПРИХОДЬКО: — Могу ли я сделать вывод, что Ефремов наталкивал вас на террористический акт?

ПАВЛУШКОВ: — Для него это было бы желательно.

На предварительном следствии Павлушков заявлял немного откровеннее: «Ефремов сказал мне: «Неужели нет юношей, которые *уничтожили бы* (подчеркнуто мной. — Г. С.) нескольких нахальных студентов, если нельзя добраться до наркомов?»

Видели? Как легко и просто усилил эффект опытный «шакал пера» Д. Заславский! В мягкотелых хохлацких «Вістях» — «проучить». Слабо! Ничтоже

сумняешься «правдист» заменяет на «уничтожить» и убирает «шпиков» — и получается прямой призыв к резне — снизу и доверху. Учись, мой юный читатель, если Тебе (избави Боже) суждено стать советским журналистом!

И дальше читаем-наслаждаемся Д. Заславского:

«Обвиняемый (Павлушков. — Г. С.) сообщает, что на другой день после смерти Ленина Ефремов и Дурдуковский говорили, что было бы полезно уничтожить 10-15 наиболее выдающихся деятелей партии и таким образом развалить партию, считая, что смерть Ленина очень подходящий момент для осуществления террористических актов. Этот вопрос обсуждался также и на заседании пятерки «СУМ»\*. Три члена этой пятерки считали, что террористические акты должны быть направлены против выдающихся деятелей, а два, в том числе Павлушков, — что убивать каждого коммуниста есть достижение и что нужно распространять круг террористической деятельности на комсомольцев и пионеров (ужас! ну, звери! — Г. С.).

Член суда тов. ВОЛКОВ спрашивает Павлушкова:

— Не было ли попыток осуществлять террористические акты против комсомольцев?

ПАВЛУШКОВ: — Были, но случайно не удавались».

Поверь, читатель, — всем святым клянусь, собственным благополучием и детьми своими клянусь — ни в «Вістях», ни в стенографическом отчете этого нет. Этого вот: «Были — но случайно не удавались». Не решились «Вісті» так неприкрыто лгать, посовестились, все-таки — Украина, часть читателей была в зале суда, слушали, стыдно журналисту, хоть какой уж тут стыд. А правдисту-москвичу Д. Заславскому что терять? Кто проверит? кто опровергнет? Пусть попробуют! А что, в самом деле, жвачку жевать? Всё теории о терроре да гнилые интеллигентские настроения. Растяпы следователи не сумели ни взрыва подстроить, ни парочку трупики подкинуть — так журна-

---

\* А ведь не было еще СУМа в год смерти Ленина, СУМ, по данным следствия, возник в 1925 году.

лист Д. Заславский своим пером их подправит. Были выстрелы, были бомбы и поезда под откос — но случайно обошлось без жертв...

Подонки вы, Д. Заславский. Мразь. Знайте это на том свете и пусть потомки ваши знают на этом.

*(Окончание следует)*

## СТИХИ

Михаил Крепс

### МАЙ НА КОЛЫМЕ

Рассвет норовит куснуть в лицо,  
Рассвет норовит рвануть кольцо  
И солнца раскрыть парашют.  
Так дразнят красной тряпкой быка,  
Так шпоры вонзают коню в бока,  
Так рвут с лица паранджу.

Тебе ж до зарезу нужна темнота —  
Утихнет охрипшей пурги маята,  
Забрезжит — и нечем крыть!  
Так падают в снег, увидав кордон,  
Так тонущий — воздух хватает ртом,  
Так стонет тифозный — пить!

А май, словно лай, отрывист и хрипл,  
А май, как Мамай, срывается в крик,  
Пропойца и злой бедокур,  
Сломает хребет тому, кто предаст,  
Мордаст и грудаст, проходу не даст  
Ни пешему, ни седоку.

Коль есть огонек и есть табачок,  
А путь недалек, то могут еще  
По следу пустить собак,  
И если тебя повалил и сгрёб  
Мороза белый медведь в сугроб  
То дело твое — табак!

Глоток метели тебе питье,  
Разбудит застывших губ забытье  
Пурги голубой набат,  
В глаза сыпанув сухие снега,  
Зайдется в свирепом кашле тайга,  
И горлом хлынет закат.

Но если ты чудом остался жив,  
Приди и ляг у межи во ржи,  
Речам колосков внимай,  
Вздымай желваки, сжимай кулаки,  
Пурги ледяной вспоминай клыки  
И лихом май поминай.

Когда ты с поля домой придешь,  
Навстречу — сиреней цветных галдеж  
И ставен резных прищур,  
И шепчет сад — позади пути,  
И шепчет ветер — забудь, прости,  
Но сердца стук — не прощу.

\* \* \*

Свет мигает, нефть полосует  
переулка пустой каток.  
За окном моим голосует  
стон иль оборотень — зевок  
И за тыльным когда отеком  
не останется никого —  
остывающий полый кокон  
доля воздуха моего

Если ватой в ушах сыреет  
злополучная полоса  
и толкается как умеет  
ось сезонного колеса  
если мрамор любить бесплатный  
нестареющий оселок  
если будет билет обратный  
и отлив не замочит ног —  
городской известковой тиной  
или всей землей на плаву  
остающейся половиной  
я другую переживу

Я не сам календарь тасую  
и на землю без глубины  
я не выпущу тень босую  
незаметную со спины



\* \* \*

Город на вдохе, на месте пустом  
только молочные зубы навесил  
только в молочных зубах — а не весел  
ствольными водами стянутый дом  
Эти ли воды накрою руками  
Этим ли пухом подушку набью  
Слабому сору, сухому репью  
легче остаться и жить между нами  
— не молоко переходим вброд...  
в речке обваренной, в уличном стоке  
только не встречный наводим лед...

Остерегайтесь, сады на припеке,  
львы у оград — домой, домой!  
кислую вам погоду  
могут вытянуть, перебрав...  
Но остановится у стесанных трав  
голос, надвинутый на колодку.

\* \* \*

Кто дышит пылью в солнечном столбе?  
Что говорить о том, кто в трубку скручен.  
Он каждый угол мерит по себе,  
где пухнет шлак, просеян и окучен.

И вдвое сложенный, он виден на просвет,  
он жив и там, где лучше не бывает,  
где первых нет, и, радуясь, кивает:  
«Я выбираю сам и сам теряю след».

Пока прищур выхватывает лица,  
переодетых гонит из толпы,  
и тянет нас как угольную пыль,  
и делит нас, и не дает слепиться,

подмокшая, повернутая вспять  
цветет земля невзрачнее и уже,  
и первым ветром выдует снаружи,  
что не успели пальцами прижать.

\* \* \*

Только оставьте мне имя мое  
Одноголосье на землю прольется  
В наши ладони надежда вернется  
рядом идущий да вспомнит ее.  
И на пороге тяжелых времен  
песенный шум наши стены источит  
траур безоблачный — нет похорон  
и отчего только трубы грохочут

Лавой меня спеленали земной  
вот я остался, и вижу за это  
в темном наборе соснового лета  
дым и помет и неловкий конвой.  
Вот я остался на праздники ваши  
где же мой посох и парусный флот  
голос далекий на утренней страже  
воды текущие, зеркало вод?

Месяц медленного бега,  
Камня мертвая струя.  
Словно вещего Олега,  
Стережет меня змея.  
Жизни мельничная спешка,  
Звезд пожизненная слезка —  
Мир в нейлоновом дыму.  
Утешать меня не надо:  
От неграмотного гада  
Этой смерти не приму.

День ложится на вагонку,  
Под коптящую свечу.  
Я лежу ему вдогонку,  
Спину мертвую лечу.  
Что-то змеи ходят стадом —  
Глаз да глаз за этим гадом,  
Ночи медные без сна,  
Бреда медленный проселок,  
Жизни мельничный осколок —  
Койка мертвому тесна.

Я и так дышать не смею,  
Прячу воздух в узелок,  
И уже другому змею  
Сердце послано в залог.  
Как в работу отдавали,  
Беглый ветер подковали,  
В балке плакала трава,  
Потому что в ветре вера,  
Песни мельничная мера,  
Млечной жизни жернова.

\* \* \*

Как солнце в облаке тяжелом,  
Лежала улица в окне,  
Когда весна была ожогом,  
А лето — гибелью вполне.  
Начальных дней чередованье  
Сжигало детство новизной,  
И казнью чрез четвертованье  
Грозилась улица весной.

Когда из политых бороздок  
Взлетали мальвы тяжело,  
За ними комнатный подросток  
Следил в оконное жерло.  
Сентябрь, как медное полено,  
Сгорал до первого дождя,  
Но детство бедное болело,  
Под новым снегом проходя.

В заклеенной скорлупке грецкой  
Тропинка ненависти детской  
В горящих мальвах под окном  
Катилась белым полотном.

\* \* \*

Пойдем играть, расставим шашки,  
Дневная смена коротка.  
Уже не вымолит поблажки  
Оглохший гвоздь у молотка.  
Оставим невидаль земную  
В удел жестокому труду.  
Я небо в клетку разливаю  
И солнце в дамки проведу.

Поедем зимником убогим,  
Пока на станции обед,  
За черным воздухом глубоким,  
За белым воздухом побед.  
Там дни высокие пернаты,  
Сады в скрипичном серебре,  
А нам железные пенаты  
В короткой выпали игре.

Течение музыки недолгой  
Нам перепутало ходы,  
Покуда ласточки над Волгой  
Таскали годы из воды.  
Свернем работу без улыбки,  
Пойдем играть, настроим скрипки,  
Валторны стиснем у бедра:  
Здесь только музыка — игра.

\* \* \*

Трехцветную память, как варешку, свяжем,  
У проруби лет соберемся втроем.  
Я вспомнил, что дома, в Елабуге, скажем,  
Испытанный мне уготован прием.

Товарищ мой верил в стихи, как в примету,  
В подкову, как всадник на полном скаку,  
И ясно, что я непременно приеду,  
Коль скоро не вычеркнул эту строку.

Мне выдан в дорогу пятак полустертый  
В конце отпереть кольцевое метро  
И шесть падежей, из которых четвертый  
На крестном листе распинаят перо.

Товарищ мой выпьет с друзьями в зарплату,  
Бездомным подпаском проспится в кустах,  
Откуда весь день по дороге к закату  
Трехцветные флаги бегут на шестах.

Мы странно дружили, мы виделись редко,  
Пройдя Зодиак под конвоем Стрельца  
В ту пору, когда радиальная ветка  
Меня навсегда уносила с кольца.

\* \* \*

Оскудевает времени руда.  
Приходит смерть, не нанося вреда.  
К машине сводят под руки подругу.  
Покойник разодет, как атташе.  
Знакомые съезжаются в округу  
В надеждах выпить о его душе.

Покойник жил — и нет его уже,  
Отгружен в музыкальном багаже.  
И каждый пьет, имея убежденье,  
Что за столом все возрасты равны,  
Как будто смерть — такое учреждение,  
Где очередь с обратной стороны.

Поет гармонь. На стол несут вино.  
А между тем все умерли давно,  
Сойдясь в застолье от семейных выгод  
Под музыку знакомых развозить,  
Поскольку жизнь всегда имеет выход,  
И это смерть. А ей не возразить.

Возьми гармонь и пой издалека  
О том, как жизнь тепла и велика,  
О женщине, подаренной другому,  
О пыльных мальвах по дороге к дому,  
О том, как после стольких лет труда  
Приходит смерть. И это не беда.

\* \* \*

На четверых нетронутое мыло,  
Семейный день в разорванном кругу.  
Нас не было. А если что и было —  
Четыре грустных тени на снегу.  
Там нож упал — и в землю не вонзится.  
Там зеркало, в котором отразиться  
Всем напряженьем кожи не смогу.

Прильну зрачком к трубе тридцатикратной —  
У зрения отторгнуты права.  
Где близкие мои? Где дом, где брат мой  
И город мой? Где ветер и трава?  
Стропила дней подрублены отъездом.  
Безумный плотник в воздухе отвесном  
Огромные расправил рукава.

Кто в смертный путь мне выгладил сорочку  
И проводил медлительным двором?  
Нас не было. Мы жили в одиночку,  
Не до любви нам было вчетвером.  
Ах, зеркало под суриком свекольным,  
Безумный плотник с ножиком стекольным,  
С улеткой, с ватерпасом, с топором...

Опубликованное в № 12 «Континента» письмо за подписью проф. Н. Меймана дошло до нас в неполном самиздатовском варианте. В действительности под письмом стоит 5 подписей:

*Проф. Наум МЕЙМАН*  
*Лев КОПЕЛЕВ*  
*Валентин ТУРЧИН*  
*Петр ГРИГОРЕНКО*  
*Татьяна ХОДОРОВИЧ*



# Россия и действительность

Михаил Карпович

## Русский империализм или коммунистическая агрессия?

Приступая к рассмотрению корней советской экспансии, мы должны прежде всего отвергнуть идею, согласно которой народы по природе своей могут быть воинственными или миролюбивыми, империалистическими или не империалистическими. Нет необходимости оспаривать этот странный вид расизма. Достаточно вспомнить, что с конца XVII и до середины XIX века бóльшая часть Европы считала французов глубоко воинственной и агрессивной нацией, а немцев, наоборот, миролюбивыми и почти беззащитными. После 1870 года открыли «первобытную агрессивность» немецкого народа, а французская воинственность отошла в область исторического предания. За пределами Европы в течение всего 19-го столетия англичан считали врожденными империалистами; теперь мало что осталось от былой славы Великобритании, зато всё больше говорят об американском империализме, причем говорят о нем не только в коммунистических странах.

Естественно, оценка империалистической или не империалистической природы народов меняется в зависимости от изменений в соотношении международ-

---

\* Мы убеждены, что эта статья, опубликованная более четверти века назад в одном из американских журналов, не утратила своей актуальности и по сей день. (Ред.)

ных сил. Поэтому вопрос о русском империализме можно рассматривать только на фоне конкретных исторических данных. А с этой точки зрения поражает не уникальность развития России, а наоборот — сходство его с развитием других европейских стран.

Даже если видеть в Киевской Руси IX века первую попытку создания Российской империи (как это делал Маркс, запугивая мир «русской угрозой» накануне Крымской войны), нельзя не признать сходства с несколько более ранней, но подобной же попыткой Каролингов на Западе. И то, и другое государство построено было на элементарных политических основах; от подчинения родственных этнических групп оба перешли к захвату чужих соседних территорий. Обе империи скоро развалились под совокупным давлением как внутренних, так и враждебных внешних сил: азиатских кочевников — на востоке, арабов и норманнов — на Западе. В Западной Европе за этим последовал ранний феодализм, а в России вскоре началось феодальное раздробление.

С момента создания Московского царства российский государственный опыт не только протекает параллельно с ростом национальных держав на Западе, а и прямо с ним связан. Василии и Иваны, объединявшие русские земли, были современниками Фердинанда и Изабеллы испанских, Людовика XI во Франции, Тюдоров в Англии. По сути дела, все они действовали одинаковыми методами и искали для своей политики того же самого «идеологического оправдания».

Польский историк Кухаржевский видит нечто специфически русское в агрессивности, хитрости и лицемерии первых московских царей; на самом же деле легко привести западные королевские аналогии каждому примеру политической безнравственности царей. В эпоху Макиавелли большинство европейских властителей прибегали и к хитрости, и к насилию, на-

рушали договоры и были безжалостны к побежденному врагу. Цари ссылались на мнимые права и сомнительные исторические традиции: западноевропейские «законники» придумывали точно такие же мифы. Пресловутый московский мессианизм, бесспорно, напоминает идею восстановления Римской империи, которой так долго увлекался Запад. Возвышение Москвы является просто одной из глав современной истории Европы в целом.

Когда Европа вступила на путь колониальной экспансии, Англия, Франция, Испания и Португалия переплыли Атлантический и Индийский океаны, направляясь в Америку и в Индию; Россия пошла на восток и постепенно завоевала Северную Азию. И тут, и там процесс экспансии охарактеризован теми же экономическими и политическими моментами: частной инициативой и государственным контролем, мирной колонизацией и насильственным покорением. Ермак был современником Писарро и Кортеса. Завоевание Сибири — тоже одна из глав всеобщей европейской истории.

Мне думается, что одна черта русской экспансии сыграла решающую роль при возникновении преувеличенного о ней представления на Западе. Россия была державой континентальной, у нее никогда не было сильного флота. Не имея возможности покорять заморские страны и рассеивать по ним колониальные владения, цари, вместо того, присоединяли к своему государству просто соседние земли. Экспансия такого рода при поверхностном рассмотрении производит большее впечатление, чем колониальная экспансия великобританского образца. Если взглянуть на карту, обязательно заметишь территории, занятые Российской Империей, — все подряд и одного цвета; а чтобы отдать себе отчет в размерах Британской Империи, нужно умственное усилие. Маркс всё высчитывал, насколько миль продвинулись вперед границы России

со времен Петра Великого; одновременная оценка роста Британской Империи оказалась бы не менее поучительной.

«Русская угроза» начала вызывать опасения на Западе сравнительно поздно, к концу XVIII века, иными словами тогда, когда Россия вышла на сцену в роли великой европейской державы. С точки зрения Запада, внешнеполитические успехи Петра и Екатерины были удивительны и даже сенсационны. Почти неожиданно возник могучий и сравнительно новый фактор, нарушавший традиционное европейское равновесие сил.

Франция первой среди великих держав ощутила тревогу. Действительно, в той мере, в какой конкретные политические цели царей были достигнуты, соответственно ослабели Турция, Польша и Швеция, и «восточный барьер», так старательно воздвигнутый французскими дипломатами в ходе борьбы против Габсбургов, был разрушен. Когда в конце века назрел конфликт между великодержавными интересами Англии и России, Великобритания тоже стала беспокоиться. Россия дошла до Черного моря и оказывала давление на Турцию; она прочно овладела Кавказом и старалась подчинить Турцию своему влиянию; через закаспийские области она продвигалась в направлении Средней Азии. При этом Россия преследовала отдельные, вполне конкретные, цели, отнюдь не связанные друг с другом какой-либо общей идеей. Тем не менее, англичанам стало казаться, что Россия ведет систематическое наступление именно против великобританской колониальной империи.

Преувеличение «русской угрозы» западноевропейскими державами психологически понятно, однако в исторической перспективе российский империализм того времени не представляет собой ничего исключительного или беспрецедентного. В начале XVII в. Габсбургов сильно подозревали в стремлении к ми-

ровому господству. В конце того же столетия главным «врагом рода человеческого» стал старший современник Петра Великого, Людовик XIV. Агрессивная политика Фридриха Великого несколько десятилетий спустя привела к возникновению европейской коалиции при участии России; Фридрих не меньше Екатерины II был ответствен за раздел Польши. Усиление Пруссии, как и усиление России, содействовало нарушению равновесия сил в Европе, однако ни одна царская экспансия никогда не вызывала на европейском континенте таких сотрясений, какие вызвала Франция при Наполеоне.

В XIX веке Ближний Восток стал главной целью европейской экспансии. До появления России на ближневосточной сцене — Франция начала экономическое, а затем и политическое проникновение в Османскую Империю. Вмешательству России в балканские дела — задолго предшествовало подобное же вмешательство со стороны Австрии. Еще до начала XIX в. восточное Средиземноморье стало важнейшим звеном в цепи связи Британской Империи. Германия и Италия вступят в игру несколько позже. В общем, царская Россия на Ближнем Востоке далеко не была одинока.

Подобную картину европейской экспансии мы наблюдаем и в эпоху так называемого неоимпериализма в конце XIX — начале XX века. Какой критики ни заслуживает дальневосточная политика царской власти, приведшая к Японской войне, однако она бесспорно представляла собой неотъемлемую часть всеобщего европейского империализма, который в какой-то момент прямо угрожал самому существованию Китая как независимого государства. В начальной стадии дальневосточной экспансии, задолго до конца XIX в., Англия и Франция играли тут гораздо более активную роль, чем Россия. В 1890-х гг. команду для нападения на Китай подала Япония, а Англия, Франция, Россия и Германия — все приняли участие

в последовавшей схватке за концессии. В то же время значительная часть Африки разделена была между рядом европейских держав, к числу которых Россия не принадлежала.

Империализм был нормальным явлением.

Уже из этого беглого обзора видно, что дореволюционный русский империализм в основном ничем не отличался от империализма других великих держав. Российская Империя была вполне нормальной державой, и политика ее была традиционной политикой любой империи. Ни развитие, ни экспансия ее не нуждаются в ссылках на какой-то русский мессианизм или же какие-то особые черты русского характера. Если и есть кажущаяся тождественность между дореволюционной международной политикой России и такой же политикой Советского Союза, то это объясняется просто тем фактом, что предметом экспансии часто являются те же самые территории. Финляндия, Балтийские страны, Польша, Бессарабия, Балканы, Константинополь, Дарданеллы, Персия, Китайский Туркестан, Монголия, Манчжурия, Корея — все эти, те же самые имена мелькают на страницах истории царской дипломатии и на страницах современных газет, создавая впечатление исторической преемственности. Неужели же нужно впадать в такого рода географический фатализм? Советский Союз находится на той же территории, на которой стояла Российская Империя, и поэтому совершенно логично, что его экспансионистские склонности проявляются на тех же соседних областях. Но из этого вряд ли можно заключить, что цели, методы и всеобщая природа этих двух империализмов тождественны.

Как советская система, или современное тоталитарное государство вообще, коренным образом отличается от традиционных национальных держав (будь они абсолютными монархиями, конституцион-

ными монархиями или республиками), так и международная политика такого тоталитарного государства представляет собой нечто совершенно и глубоко новое. Часто и справедливо подчеркивались необычайные масштабы и динамизм послевоенной международной политики Советского Союза. Они как раз совершенно понятны, так как речь тут идет о политике, целиком направленной на достижение одной, совершенно определенной цели, о политике, постоянно пытающейся осуществить многочисленные агрессивные действия по всему миру одновременно. Уже одно это резко отличает советскую политику от политики царей, которые, как правило, преследовали лишь ограниченные цели и в определенной последовательности.

Петр Великий быстро отказался от конфликта с Турцией для того, чтобы целиком сосредоточиться на борьбе за Балтийское море. Екатерина Великая удовлетворилась завоеванием черноморского побережья и охотно уступила пресловутый «греческий проект». На Конгрессе в Вене Александр I отказался от своего первоначального польского плана ввиду оппозиции других держав. Дипломатическое давление, и только оно, заставило Николая I отказаться от того, что Россия получила от Турции по соглашению в Ункияр Селесси. После Крымской войны и Берлинского конгресса русские дипломаты немедленно вывели должные заключения из своего поражения, временно «заморозили» ближневосточный вопрос и сосредоточились на других проблемах (в Азии). После Японской войны Россия разделила с Японией зоны влияния на Дальнем Востоке, заключила соглашение с Англией по вопросам Средней Азии и только после этого, весьма осторожно и сдержанно, проявила свои намерения и пожелания касательно Ближнего Востока, пытаясь достичь решения вопроса путем переговоров.

Эту разницу между «глобальной» деятельностью Политбюро и ограниченной деятельностью царской власти иногда пытаются объяснить большей военной и экономической мощью Советского Союза. Не надо, однако, преувеличивать эту мощь, как не надо и преуменьшать мощь Российской Империи. По сравнению с другими великими державами, Россия отнюдь не была военно слабой при Петре Великом, Екатерине Великой и Александре I.

Другое объяснение представляется более серьезным. Оно указывает на необычайно благоприятную международную обстановку, созданную для советского строя в конце Второй мировой войны. Нарушение установленного равновесия сил и крушение существующих институтов всегда представляют собой соблазн к экспансии. Хаос, господствовавший в конце Второй мировой войны, не имеет прецедентов в современной истории. Таким образом, считается, что у Сталина были небывалые возможности, каких никогда не было у российских императоров.

Мне кажется, однако, что и этого недостаточно для удовлетворительного объяснения динамизма советской политики. Разница между политикой царского правительства и политикой советской власти не количественная, а качественная. Наличие нескольких могущественных соперников не было единственной причиной, по которой в российской политике отсутствовал глобальный или континентальный масштаб. Самое важное то, что, в противоположность советской политике, русская докоммунистическая политика не ставила себе никаких глобальных мировых целей. А целей этих не было потому, что у России не было никакого всеобъемлющего политического плана, опирающегося на универсальную идею.

С советской политикой дело обстоит иначе: идея мировой революции и есть основа всеобъемлющего советского плана, который сформулирован в учении,



называемом коммунистами марксизмом-ленинизмом-сталинизмом. У царей не было никаких таких целей или планов.

Такое заявление противоречит, конечно, недавно развитой теории о каком-то врожденном русском мессианизме. Давайте отставим в сторону на минуту русский народ и рассмотрим роль, которую мессианизм играл в государственной политике России. Самое знаменитое выражение этого мессианизма — учение о Москве как о третьем Риме; учение это зародилось в церковных кругах и служило эффективному утверждению национального лица и независимости русского православного христианства. Но историки не смогли доказать, что это учение оказало какое-либо влияние на внешнюю политику Московского государства. Московская власть никогда не заявляла о каких-либо своих правах на византийское наследие, в то время как на Владимирово или киевское наследие она требовала предъявляла. Больше того: когда западные державы, преследуя свои цели и интересы, пытались соблазнить Москву указаниями на ее права на византийское наследие, как раз сама Москва упорно опровергала существование подобных прав.

Те, кто признает теорию русского мессианизма, обычно совершают прыжок от Третьего Рима к панславизму XIX века и опять-таки придают этому эпизодическому и неорганизованному движению значение, которого оно на самом деле никогда не имело. В большинстве случаев панславизм был просто настроением. Он питался от множества различных идеологических источников, из которых многие не имели ничего общего с религиозной идеей Третьего Рима или даже с романтическими историческими теориями раннего славянофильства. Правда, в отдельные моменты отдельные панслависты играли какую-то роль в дипломатической, военной или придворной среде, но никогда панславизм не был официальным правитель-

ственным учением. Даже в апогей панславистских волнений (во время Балканского кризиса 1870-х гг.) правительство ни на минуту не отождествляло себя с этим движением, а наоборот, отмежевывалось от него и иногда даже преследовало его. Прекрасно известно враждебное отношение Николая I к панславизму.

Так же не обосновано утверждение, будто бы императорская Россия стремилась к европейской гегемонии. Священный Союз в понимании Александра I совсем не был орудием осуществления русской гегемонии, он просто должен был быть долгосрочным европейским соглашением. Роль его как идеи в дальнейших событиях можно сравнить, пожалуй, с той ролью, какую в наше время сыграла Атлантическая Хартия. В союзе четырех держав (в дальнейшем, когда примкнула Франция, их стало пять) Россия далеко не всегда играла ведущую роль.

Преувеличивается и роль идеологии во внешней политике Николая I. Его часто рисуют как какого-то Дон Кихота реакционного монархизма, всегда готового броситься в бой против революции и в защиту братьев-самодержцев. В таком изображении есть немало исторической стилизации, не принимающей во внимание совершенно определенных и реальных политических моментов. Как указывал граф Нессельроде, когда Николай I помогал Австрии подавить венгерское восстание, он при этом думал прежде всего о Польше: он помог соседу потушить пожар, так как боялся, чтобы пламя не перекинулось на его собственный дом. Вполне возможно также, что ко времени венгерского вмешательства Николай I уже перестал бояться распространения революции в Европе и руководило им, главным образом, желание обеспечить целостность Габсбургской Империи в противовес Пруссии.

Наконец, остается так называемое «завещание Петра Великого», документ, который недавно снова

появился на сцене, несмотря на то, что неоднократно уже, путем изучения его происхождения и путем анализа его текста, было доказано, что это просто фальшивка. Образ мыслей Петра Великого и его политика были в высшей степени эмпиричны; нелепо предполагать, что монарх, не назначивший себе даже преемника, мог начертать план завоевания Европы в последующее столетие. К тому же такой всеобъемлющий план находится в полном противоречии с природой дореволюционной внешней политики России.

Внешняя политика царского правительства была обычной политикой национального государства. Самодержавная Россия при Романовых, в отличие от Советского Союза, не была идеократией и не была революционно-тоталитарным государством; невозможно провести параллель с «марксизмом-ленинизмом-сталинизмом» во внешней политике. Кроме того, самодержавная Россия никогда не располагала ничем, даже издали напоминающим Коминтерн или Коминформ. Различию целей царской России и Советского Союза соответствует и глубочайшее различие методов.

Техника дипломатии царской России мало чем отличалась от той же техники других великих держав. Как и их западные коллеги, русские дипломаты мыслили категориями равновесия сил, раздела сфер влияния, территориальной компенсации, политических союзов и военных коалиций, «исправления» стратегических границ, «мирного проникновения» и т. п.

Западные общественные деятели, а иногда и члены правительств, временами обвиняли Россию в «революционном» поведении, но такие обвинения в большинстве случаев просто являлись средством политической борьбы. К этой категории принадлежат заявления Маркса накануне Крымской войны. Маркс говорил о «сотнях русских агентов, которыми кишат

Турция и Балканы», о стремлении России «объединить все ветви великого славянского племени под одним скипетром и сделать из славян правящую расу в Европе» и т. д. Трудно найти какие-либо факты, которые подтверждали бы эти обвинения Маркса.

Царские дипломаты временами прибегали к не совсем ортодоксальным методам, однако они всегда считали такого рода поступки отступлением от нормы. Им и в голову не приходило, что мероприятия этой категории можно было бы возвести в ранг глобальной внешнеполитической системы. Маркс обвинял Россию в том, что она организует восстания в Османской Империи, а тем временем Великобритания помогала кавказским горцам бороться против русской власти. Использование тайных агентов за рубежом, подкуп иностранных газет и политических деятелей, закулисное влияние на иностранные политические партии — такими методами пользовались временами все европейские державы. Главы, посвященные тайной дипломатии XVIII века в книге Сореля о Европе и французской революции, опровергают утверждение, будто бы одна только Россия прибегала к подобным методам. То же самое применимо, конечно, и к XIX веку.

Когда в наши дни западные писатели искусственно сочетают специально подобранные факты и утверждают, что советская дипломатия — прямая преемница дипломатии царской, они делают в основном то же, что и апологеты советской внешней политики. Эти апологеты говорят: «Да, Советский Союз вмешивается в дела восточноевропейских стран, но разве Америка и Англия не делают то же самое в Греции и в Иране? Да, Москва шлет за границу коммунистическую пропаганду, а разве Америка не ведет пропаганду за границей? Советский Союз создает марионеточные правительства, а что делает Америка в Корее?»

Тут опять мы сталкиваемся с той же логикой, как и в уподоблении дореволюционной и коммунистической внешней политики. И в том, и в другом случае вся хитрость состоит в том, чтобы вырвать из контекста на вид сходные факты и таким образом скрыть *первоначальное принципиальное* различие между двумя разными системами. Это классический пример того, как разница количественная становится разницей качественной. Что в одном случае отклонение от нормы — в другом становится нормой. Дипломатия старой России была составной частью мировой дипломатической традиции. Советская дипломатия враждебна этой традиции и сознательно ее нарушает, причем в минуты честности она оправдывает нарушения принципиальными соображениями.

Как и фашистские государства, сталинский строй использует дипломатию в целях гражданской войны. Дух, цели и методы этой дипломатии выработаны были большевиками во время борьбы за власть в России и *против русского народа*. Когда представился случай, их применили и в международном масштабе. Коминтерн и Коминформ не принадлежат к категории внутренних вмешательств иностранных держав, какими они бывали в прошлом. С появлением коммунистической пятой колонны на историческую сцену вышло нечто абсолютно новое. Кто этого полностью не понимает, не в состоянии понять советскую иностранную политику.

Когда западные дипломаты бывают неприятно поражены раздражительностью советских дипломатов, они ищут себе утешение в дневниках иностранных туристов в царской России, как *La Russie en 1839* маркиза де Кюстина. Однако такие сравнения создают лишь иллюзию преемственности. В конечном итоге, дипломаты царской России говорили на языке, общем для всех европейских дипломатов, и западные державы всегда могли достичь соглашения с доком-

мунистической Россией путем традиционного дипломатического договора. Правда, Теодор Рузвельт однажды гневно заметил, что «русские всегда лгут», но дипломаты царской службы следовали совету Талейрана и лгали столько же, сколько и другие европейские дипломаты.

Невероятное вранье Вышинского и Малика — нечто совсем иное. Его нельзя приписать никакой общедипломатической или российской национальной традиции. Советские дипломаты ведут себя так не потому, что они русские, а потому, что они коммунисты, потому, что у них есть особые цели, ничего общего не имеющие с целями докоммунистической России. Чтобы объяснить поведение советских дипломатов (а также дипломатов «красного Пекина и народных демократий»), *достаточно вспомнить историю партии большевиков.*

Для сравнения экспансии при царском строе и при советской власти особенно важным может быть изучение понятия безопасности при этих двух системах. Мне представляется, что правильная оценка единственного в своем роде советского понятия безопасности гораздо эффективнее поможет понять советскую внешнюю политику, чем всякие сравнения с царским строем.

По традиции, внешняя безопасность нации гарантировалась политическими и военными договорами, «исправлением» стратегических границ и — в крайних случаях и при возможности — сферами влияния и протекторатами. С этой точки зрения безопасность Советского Союза была полностью обеспечена, например, отношениями, установленными с Чехословакией после Второй мировой войны.

Чехословакия пошла на все политические и экономические уступки, каких требовал Сталин. Бенеш и Масарик «добровольно» отдали Карпатскую Украину, предоставляя СССР прямой доступ в Венгрию:

насушно важное для Советов «исправление» стратегической границы. Влияние коммунистов в чехословацком правительстве намного превосходило их реальную силу в стране. Москва наложила вето на участие Чехословакии в плане Маршалла. По сути дела, Чехословакия была советским протекторатом до переворота в феврале 1948 г.

Однако Сталину все равно нужен был этот переворот. Нужен он был ему потому, что всё то, чего он достиг, всё еще было неудовлетворительно с точки зрения его собственного понятия безопасности. В противоположность традиционному пониманию, советское понятие безопасности имеет в виду не территориальную безопасность нации, а политическую безопасность стоящего у власти строя.

Чехословакия представляла собой угрозу советскому строю потому, что даже в 1947 году ей еще удавалось сохранить немного демократии и свободы — как внутри страны, так и в отношениях с некоммунистическим миром. А с коммунистической точки зрения нет ничего опаснее, чем свобода где-то поблизости. Страх свободы лежит в основе советской системы безопасности. Установленная в России тирания не спокойна до тех пор, пока такая же тирания не установлена во всем мире. Так называемое торжество социализма и есть конечная цель партии Ленина и Сталина. Немедленное задание ее — это «обезопасить» соседние страны, которые подпадают под советское влияние. А обезопасить их — значит провести полную сталинизацию. Переход от «народной демократии» к просто и открыто советскому строю обязателен и неизбежен — в Восточной Европе, в Китае, всюду, где Советский Союз получит власть.

Политика, основанная на таком понятии безопасности, — политика агрессивная. Подавив свободу в одной стране, Политбюро должно искоренить угрозу свободы в соседних с ней странах. *Эта порочная*

*спираль может быть пресечена только мировым торжеством коммунизма или уничтожением советского строя.*

Всё это ни имеет ни малейшего сходства с понятием безопасности при царском строе. Николай I, может быть, и предпочитал германские монархии конституционному строю Англии или Франции; Александр III, может быть, и колебался, прежде чем заключать союз с Третьей Республикой. Но ни одному русскому дипломату не могло прийти в голову, что для безопасности России необходимо мировое торжество самодержавия.

До сих пор мы видели, что российская государственная политика в докоммунистическое время была традиционной и уважала договоры и соглашения. Этот исторический факт заставляет тех, кто хочет верить во врожденный вековой русский империализм, — связывать свои исторические гипотезы с теориями о «русской душе». Так, польский историк Кухаржевский говорит, что русские — кочевники, не умеющие создавать достаточно прочную и богатую культуру на своей земле и поэтому неизбежно захватывающие богатства, накопленные другими, оседлыми народами. Но чаще всего настаивают на том, что русским от рождения присущ мессианизм. Доказательств ищут в высказываниях русских мыслителей, от славянофилов до Бердяева. Эти высказывания, действительно, доказывают, что в русском мышлении можно найти элементы мессианизма. Но для того, чтобы доказать, что именно мессианизм был вековой движущей силой русской экспансии, надо было бы доказать сначала, что он был широко распространен в русском народе. А это задание неосуществимое, во всяком случае исторически. «Святая Русь» была частью русского фольклора, а «Москва — третий Рим» — никогда. Трудно себе представить, чтобы народные массы много задумывались над византийским наследием. Време-



нами русские действительно чувствовали родство с другими славянами, братьями по крови и по вере. Это чувство трудно, однако, истолковать, как принятие панславизма в качестве политической программы русского народа.

В образованных русских кругах мессианизм никогда не был особенно силен. В царствование Николая I славянофил Аксаков жаловался, что столько русских интеллигентов в провинции поддерживает западника Белинского, в то время как никто не разделяет его взглядов. Книга Данилевского, когда-то называвшаяся Библией панславизма, пользовалась кое-каким успехом при Александре III, но к концу века о ней просто все забыли. В это время панславизм стал принадлежностью почти одних крайне правых групп, а у интеллигенции он вызывал мало интереса.

Вообще мессианизм, панславизм и империализм были глубоко чужды большинству русской интеллигенции, начиная с первой четверти XIX столетия. До того выдающиеся представители русской культуры действительно гордились русскими внешними победами. (Пушкин был одновременно певцом империи и свободы.) Но после Пушкина такой подход стал постепенно исчезать.

Отсутствие «имперского сознания» у российской интеллигенции — факт. Среди русских исторических произведений нет ни одного значительного труда, посвященного развитию Российской Империи. В русской историографии нет Силей или Трейтшке; в русской литературе нет Киплинга или Д'Аннунцио. Попытки создать либерально-национальное движение, сделанные Петром Струве и князем Г. Н. Трубецким, не удалась.

Среди русских либералов и демократов принято считать империалистом Милюкова. Империализм его состоял в том, что в 1917 г. он не захотел отказаться от русских притязаний на Константинополь и на Про-

ливы — т. е. от того, что по договору обязались дать России западные союзники. Тот же Миллюков в 1914 г. настаивал на ограничении австро-сербского конфликта и готов был предоставить Сербию своей судьбе, лишь бы не развязывать войну. Но даже умеренный империализм Миллюкова оказался неприемлем в первые месяцы после демократической революции 1917 г. Революционное правительство немедленно предложило мир без аннексий и контрибуций: программа эта корнями глубоко уходила в дореволюционный пацифизм и антиимпериализм. Оценивая настроения и мнения русских людей, нельзя забывать о восторженном принятии этой программы, а также о том, как искусно использовал ее Ленин.

История показывает, что империализм, как и национализм, никогда не зарождается среди народных масс, а доходит до них сверху, от культурной элиты. Докоммунистическая русская интеллигенция была преимущественно антиимпериалистической, а вообразить себе империалистически настроенные народные массы — тем более трудно. Эти традиции, по всей вероятности, дали русскому народу иммунитет от коммунистического мессианизма.

Мне кажется, нет никакого основания утверждать, что русский народ горит желанием силой ввести коммунизм во всем мире. Бывшие советские граждане показывают обратное. Фредерик Баргхорн, который служил в американском посольстве в Москве во время войны, заявляет: «Я никогда не встречался с советскими людьми, которые бы гордились советской политической или территориальной экспансией, панславизмом или распространением коммунистической власти».

В свете исторического опыта это гораздо более походит на русскую национальную традицию, чем какой-то мифический «врожденный русский империализм». Русский народ очень далек от того, чтобы

поддерживать коммунистическую агрессию за рубежом. Наоборот, русский народ жаждет постоянного мира, нормальных и приличных условий жизни, а главное — собственного своего освобождения от коммунистической агрессии у себя дома.

КАРПОВИЧ Михаил — родился в 1889 году в Тифлисе. Окончил Московский университет. В 1917 году был отправлен с дипломатическим поручением в США, где его застал Октябрьский переворот. С 1930 года — профессор, а затем — до самой кончины в 1959 году — руководитель департамента славянских языков и литературы Гарвардского университета. С 1946 по 1959 год — главный редактор «Нового журнала».

## **Андрей Седых — член Академии Политических Наук**

Главный редактор «Нового Русского Слова» Андрей Седых избран членом Академии Политических Наук.

Президент Академии Роберт Н. Коннери письмом от 28 января 1977 г. известил Андрея Седых о его избрании в Академию.

Академия Политических Наук была основана в 1880 году. В состав ее входят ученые, профессора, видные политические деятели, писатели и публицисты, известные своими работами в области экономики и политических наук. Академия издает «Журнал Политических Наук», выходящий каждые 4 месяца, в котором принимают участие члены Академии.

Андрей Седых окончил парижскую Школу Политических Наук в 1926 году и в течение 20 лет был парламентским корреспондентом «Последних Новостей», парижским корреспондентом «Нового Русского Слова» и газеты «Сегодня». С 1942 года он — городской редактор «Нового Русского Слова», с 1967 года — редактор-администратор и с 1973 года — главный редактор.

## Восточноевропейский диалог

*ОТ РЕДАКЦИИ: Ниже мы продолжаем дискуссию по национальным проблемам СССР, начатую в одиннадцатом номере нашего журнала статьей С. Рафальского «Болезнь века».*

Эдуард Оганесян

### Я — НАЦИОНАЛИСТ!

Умудренный опытом Сергей Рафальский называет национальную форму мышления «болезнью века». Я действительно принадлежу к тем больным, которые, как он выражается, «горой стоят за самоопределение, за национальные культуры и за то, чтобы их в мире было как можно больше: они-де разнообразием обогащают духовную сокровищницу человечества». Но если это болезнь века, то я горжусь, что я являюсь сыном века и что мой народ, не вылечившись от этой болезни, через века пронес свою национальную культуру, над которой так глумится г-н Рафальский.

В 1914 году, когда г-н Рафальский кончал гимназию в городе Остроге, не очень далеко от него умирал мой народ. Его кололи штыками, резали ножами и сжигали на кострах только потому, что этот народ был армянским. На глазах у человечества, которое бодро шагало к всепланетарному единению, в предсмертных судорогах бились женщины, старики и дети, в предсмертной агонии был весь мой народ, потому что он хотел жить «по-армянски». Может, тогда-то мы и заболели? Нас физически уничтожали за веру и национальное самосознание, а Вы говорите о национальных костюмах и о фресках с китайских картин.

Через огонь и воду мой народ пронес свой язык. В` ассирийских, персидских, турецких и прочих империях армянка-мать, рискуя жизнью, обучала своих детей армянскому языку, а Вы нам предлагаете общепланетарный язык. Искусственно введенным Вы называете язык Израиля, а его, как мессии, дожидался этот народ и молился на нем. И как может этот язык быть искусственным для еврея? Так ли хорошо мы знаем генетику, чтобы утверждать такое. А может быть, этот язык был заложен в генах этого народа, как цвет волос и грусть в глазах?

Г-н Рафальский предлагает общепланетарный язык только потому, что считает язык средством общения, «орудием человека в его борьбе за существование, как и, скажем, одежда». Между тем, это далеко не так. Язык не только, а может быть не столько, орудие борьбы, сколько орудие духовного самовыражения. Мы говорим на нашем языке не только с людьми, но и с Богом. Мы говорим на нашем языке даже с новорожденными младенцами и животными, которые нас не понимают, говорим сами с собой. И если существует национальный характер и национальный дух, то он может быть выражен лишь на национальном языке. Не смог бы Пушкин своего «Онегина» написать на английском, как не смог бы Шекспир написать «Ромео и Джульетту» на русском языке. И если о любви Джульетты сегодня знает весь мир, так это не потому, что эта любовь внациональна, а потому, что она стала достоянием человечества. А о любви нашей «Ануш» просто никто не знает, но от этого она не становится менее прекрасной.

Г-н Рафальский утверждает, что современное абстрактное искусство внационально. Я не знаток искусства, но, на мой взгляд, это неверно. Достаточно взглянуть на яркие полотна армянских абстракционистов, и по сочетаниям красок вы угадаете Армению. Абстрактное искусство только тогда стало искус-

ством, когда выяснилось, что форма в чистом виде также несет в себе информацию. Именно поэтому ей удалось оторваться от содержания, но от этого она не стала бессодержательной. Об этом знал уже Кандинский, да и мы все это смутно ощущали, когда одно и то же содержание, преподнесенное нам в разных формах, вызывало в нас прямо противоположные чувства. А музыка, эта царица искусств, разве она не абстрактна? Разве можно, «не прочитав надписи», догадаться, что 14 соната Бетховена имеет какое-то отношение к луне, а первая симфония Малера — к Титану? Но вместе с тем, можно ли назвать музыку вненациональной? Если же я ошибаюсь и абстрактное искусство действительно вненационально, тогда это просто не искусство, ибо не может существовать вненациональное искусство, как не может существовать вненациональная красота.

Или, может быть, мы с нашими европейскими понятиями красоты хотим сунуться в Индию и «исправить» худосочных индианок, окормив их до Рубенсовских кондиций? Или, может быть, нам не нравятся косоглазые китайки и толстогубые негритянки? Да кто мы вообще такие, чтобы от имени мировой справедливости и мирового Судьи судить нравы тех или иных народов. Кто, например, г-ну Рафальскому дал право утверждать такое: «С точки зрения, пусть далекого, но неизбежного всепланетарного объединения человечества, передовым представляется стремление западных европейцев создать объединяющую их конфедерацию и безусловно устарелой и реакционной — мечта о государственной самостоятельности басков и бретонцев или, хотя бы — канадских французов». Вы можете так думать, г-н Рафальский, но не возводите своего греха в истину. Существует множество людей и народов, которые думают иначе.

Ну, казалось бы, чего добиваются фламандские националисты? Живут они себе припеваючи в Бель-

гии и пользуются всеми гражданскими правами. Но ведь и евреи до войны жили в Германии, пользуясь равными с немцами правами, до тех пор пока не появился Гитлер и не разбил иллюзию равенства этих прав. Да и армяне жили в свое удовольствие в Египте до тех пор, пока не появился Насер и одним ударом не разбил все армянские культурные центры. Полстолетия армяне жили в Ливане, как в собственной стране, пока гражданская война не напомнила им, что они чужие и что им с оружием в руках нужно защищать свой нейтралитет, т. е. свою чужеродность. И если избегающие советского режима и гонимые из страны в страну армяне мечтают о государственной самостоятельности, можно ли их стремление называть устарелым и реакционным?

Пожалуй, можно согласиться с тем, что «мир еще не созрел для планетарного единства», но трудно согласиться с тем, что «множество народов и народов упрямо правят против ветра истории». Что мы знаем об этих ветрах? Да и так ли важны ветры, если маяк расположен против ветра. А может быть, национальная гармония и есть планетарное единство? Возражения г-на Рафальского по национальному вопросу можно было бы рассмотреть гораздо более подробнее. Но, стесненный рамками настоящей статьи, я не имею возможности этого сделать. Однако на одном существенном вопросе не могу не остановиться.

Г-н Рафальский недвусмысленно приписывает израильским гражданам, читай евреям, вмешательство в дела Советского Союза и желание разделить его на ряд самостоятельных государств. Он справедливо возмущается этой чуждой израильским интересам деятельностью и говорит, что настоящую любовь не меняют как перчатки. Но позволительно спросить у г-на Рафальского: что общего имеют с Израилем те, кого он имеет в виду? Ведь речь идет о тех, кто остано-



вился на полпути, не дойдя до «Земли Обетованной». Что общего имеют эти люди с прекрасными израильтянами, которые вымучили свою прекрасную родину и теперь героически защищают ее? Почему оскорблять этот великий народ, который на клочке земли, горсткой мужественных патриотов буквально творит чудеса? Его пример воодушевляет и вселяет надежды во все малые народы, в частности в мой народ, который, отталкиваясь от сионизма, назвал свое национальное движение «араратизмом» и книжку Герцля «Еврейское Государство» сделал своей настольной книгой. Не дошедшие до Израиля евреи занялись общечеловеческими и планетарными проблемами, потому что по отношению к абстрактному человечеству мы не имеем никаких обязательств. У человечества нет военкомата, который призвал бы нас в армию, нет банка, в который мы отчисляли бы свои моральные подоходные налоги. Не взваливая на свои плечи никакого конкретного груза, можно писать и защищать человечество вообще. А если подумать о судьбах тех людоедов, которые съели Рокфеллера-младшего, или о людях, которых Иди Амин бросает крокодилам, так ведь придется съездить к ним миссионерами! Если посвятить себя национальным проблемам Израиля, так ведь надо же с израильтянами встать на баррикады! А Россией они занимаются только потому, что кто же ею не занимается! Она сегодня в центре политического рынка, ею и занимаются политические купцы.

Речь идет, конечно, не о тех «недошедших», кто себя считает русским человеком по духу и культуре, для которых Россия не вторая, а первая родина. Если эти и хотят раздела Советского Союза, то не из мести, а из любви к России. Не можем мы предъявить претензий и к тем, кто «не дошел» потому, что просто хочет жить, без политики и без общественной деятельности. Пусть для этого он едет в Канаду или в Америку

ку, не наше это дело, но пусть он и не обижается, когда его обвинят в отсутствии гражданского долга.

Но пора, наконец, перейти на более спокойный тон и постараться без эмоций разобрать некоторые аспекты национальной проблемы в СССР.

Из всех общественных институтов и образований, в которые на протяжении десятилетий пыталась проникнуть советская власть, пожалуй, наиболее чистыми остались семья и нация. Все попытки через комсомольские и партийные собрания решать внутрисемейные проблемы оказались тщетными. Семья полностью сохранила свою надпартийную структуру, и по сей день она управляется независимо от партии, государства и идеологии. Несколько больше удавалось советской власти проникнуть в сферу национальной жизни. По крайней мере, внешне казалось, что жизнь народов СССР вошла в то, не очень понятное, русло, которое с легкой руки большевиков было названо национальным по форме и социалистическим по содержанию. Но так только казалось. На самом деле все было наоборот. Жизнь народов СССР была социалистической по форме и национальной по содержанию. Неожиданно выяснилось, что для всей Армении, вместе с секретарями и председателями, гораздо важнее французский шансонье Шарль Азнавур, американский писатель Вильям Сароян, чем Федин, Шолохов и советские певцы. Выяснилось, что зарубежные капиталисты-армяне дружно болеют на шахматных соревнованиях за «чужого» Тиграна Петросяна, против «своего» Роберта Фишера.

Национальная проблема в СССР не решена. Об этом говорят философы, писатели, журналисты, социологи и просто люди, которые по роду занятий или в порядке хобби занимаются Советским Союзом. Но в чем состоит эта нерешенность? Отвечая на этот вопрос, я выделяю три фактора, которые, на мой

взгляд, влияют на нерешенность национальной проблемы:

1. Фактор империи.
2. Фактор социального строя.
3. Фактор эпохи.

Не знаю, насколько удачно мне удалось подобрать названия, но сущность этих факторов заключается в следующем.

*Фактор империи* характеризует те стороны национальной проблемы, нерешенность которых обусловлена наличием империи. Не социалистической, не русской, а просто империи, т. е. государственного образования, где различные народы вынужденно (а не добровольно!) живут по единым законам сверхцентрализованной государственной власти. Даже если бы такая империя была не социалистической, а какой-либо иной, если бы государственный язык в такой империи был бы не русским, а скажем, китайским, все равно многие аспекты национального вопроса оставались бы нерешенными. Это важно подчеркнуть, потому что, как только мы касаемся империалистической стороны Советского Союза, по ассоциации с другими старыми империями моментально возникает готовое решение. Империя эта русская, работодатели — русские, а угнетенные и обездоленные — это все остальные народы. И следовательно, борьба должна вестись угнетенными нерусскими народами против империалистов-русских. Я категорически не согласен с этой точкой зрения. Она не только вредна, не только наивна, не только аморальна, по просто-напросто ложна. Я утверждаю, что ни один нерусский народ не притесняется и не эксплуатируется со стороны русского народа. На территории Советского Союза нет ни одной точки, где бы армянин или узбек, ученый или рабочий за свой труд по-

лучал бы меньше русского, только за то, что он нерусский. Никто не может пожаловаться на то, что достойный человек не назначался на соответствующую должность только потому, что он киргиз или грузин. Исключения составляют те народы, которые по тем или иным причинам впали в немилость властителей, но о них разговор особый. Национального неравенства, которое проявлялось бы в виде различных правовых норм для различных народов в Советском Союзе, нет.

А если это так, то, может быть, и не стоит рассматривать империю как фактор, препятствующий решению национальной проблемы в СССР? Нет, в национальном вопросе империя проявляется той своей стороной, которую можно было бы назвать социальной несовместимостью различных народов. Подобно тому, как даже с близкими друзьями мы становимся раздражительны и взаимно нетерпимы, когда вынуждены жить в условиях коммунальной квартиры, — подобно этому становятся совершенно нетерпимы друг к другу народы, живущие под одной и той же экономической, духовной и правовой крышей. Взаимная нетерпимость отдельных народов намного превышает взаимную нетерпимость, существующую между русским и нерусским населением Советского Союза. И в этой неприязни зачастую бывает трудно отыскать какие-либо глубокие исторические корни. Причина одна: пороки общежития.

Конечно, в пороках общежития имеются также русско-нерусские конфликты, но их не следует возводить в ранг русского империализма, ибо ни в одном приказе нет указаний на целенаправленную русификацию. И если, тем не менее, русификация идет, то это происходит всё по той же причине, что народы вынуждены жить под одной крышей. Я не оспариваю наличие русификации, я лишь утверждаю, что этот процесс связан с пороками общежития, а не с во-

лей русского народа. Если народы вынуждены жить в одном государстве, то вполне естественно иметь общий государственный язык. Ну, не армянским же должен быть этот язык?! Если отсутствуют национальные армии, не по-киргизски же отдавать команды в Советской армии? В условиях такого общежития, которое создали большевики и которое именуется Советский Союз, русификация неизбежна и естественна. Но обвинять русский народ в этом не приходится. Шовинистические проявления русских вельмож полностью ложатся на их собственную совесть, и, в известных мне примерах, они исходят не из империалистических побуждений, а из самого примитивного внутреннего несовершенства. У одного «шовиниста» жена сбежала с казахом, другому грузин очень дорого продал лавровый лист, третьему сосед-армянин под пьяную руку наговорил грубостей или дал в морду.

Я окончил институт в Москве, аспирантуру в Ленинграде и таким образом в течение 8 лет непосредственно общался с русской интеллигенцией и простым народом. Ни я, ни мои товарищи-«нацмены» не испытывали на себе русского давления. Напротив, нам всегда легче русских удавалось получать необходимые для стипендии высокие оценки. К нам относились более снисходительно при защите дипломов и диссертаций. И, откровенно говоря, наши русские друзья завидовали этому благосклонному отношению. Нам, национальным меньшинствам, учиться было легче, чем им, русским. И никто из нас не забудет добрых старушек-хозяек, у которых мы жили и которые проявляли к нам поистине материнскую заботу.

Все это так, — спросит критически настроенный читатель, — ну а крымские татары, а калмыки, автономии которых упразднили в 1943 году, а судьба сосланных чеченцев и ингушей, а месхи, изгнанные из

Грузии в 1944 году за культурно-исторические связи с Турцией, а евреи, перед которыми одна за другой закрываются двери в государственные и общественные учреждения? Не является ли всё это следствием русского империализма? Нет, здесь действует второй фактор, *фактор социального строя*.

С точки зрения этого фактора, нерешенность национальной проблемы имеет одну фундаментальную основу, которую можно было бы назвать недооценкой национального многообразия. Говорим ли мы о социализме, о теократии или о еврокоммунизме, мы всегда должны задаваться вопросом: социализм или еврокоммунизм — для кого? Для евреев, для армян, для индусов или для одного из племен Африки? Без ответа на этот вопрос все планетарные рекомендации и предложения не могут быть не только приняты, но даже не могут стать предметом серьезного обсуждения. Немецкий философ Вальтер Шуберт в своей интересной книге «Европа и душа Востока» дифференцирует человечество на четыре прототипа: гармонический, аскетический, героический и мессианский. Он, в частности, пишет: «Гармонический человек живет во всем мире и со всем миром, связанный с ним в единое целое. Аскетический человек отвращается от мира. Героический же и мессианский выступают против него, первый — из желания полноты своей власти, второй — во имя задания, полученного от своего Бога». Развивая эту мысль, Вальтер Шуберт анализирует национальные характеры различных народов и в особенности русского, наделяя их не только различными характерами, но различной значимостью в различные эпохи при решении судеб человечества.

Будучи философом, Шуберт, естественно, рисует картину разнообразия национальных характеров большими мазками. Но нам, малым народам, заинтере-

сованным в более детальном вырисовывании картины разнообразия характеров, ясно, что число прототипов не только гораздо больше, но просто неисчерпаемо. Это огромное многообразие теряется при обобщающих формах исследования. Все народы, составляющие частицы единого социального организма, нуждаются в различных питательных средах. Навязывать им единый социальный режим, даже для кого-то очень хороший, равносильно лечению всех болезней одним и тем же лекарством. Советский режим и есть то единственное лекарство (а еще точнее, яд), которым лечатся (отравляются) все народы и в результате которого большинство из них плетутся в хвосте чужой судьбы, сводя на нет собственную значимость. Вот тут-то и рождаются «неблагонадежные» нации. Это те, кто не желает лечиться единым для всех лекарством и продолжает питаться из своей собственной среды. Ну, разве секрет, что после появления государства Израиль еврейская политическая мысль вертится вокруг произраильской оси? Разве это не естественно? Разве в этом можно обвинить евреев? Разве можно обвинить еврейского юношу, который, сидя в Москве, болеет за баскетбольную команду Израиля против команды социалистической Югославии или, более того, желает победы Израиля в арабо-израильском конфликте? Но разве не ясно и то, что для советской власти возрождение еврейского национального духа, как и возрождение национального духа любого народа, опасно, ибо оно порождает оппозицию к власти. И если какие-то народы попали в немилость правителей, то честь и хвала им, ибо это доказывает, что они первые проявили свою неприязнь к власти, которая ее действительно заслуживает. Сейчас стало известно, что после грузинских событий марта 1956 года Хрущев грозился выселить всех грузин из Грузии. И выселил бы, удивляться нечему, но русский народ здесь ни при чем.

Но давайте разберемся, в чем недовольны советской уравниловкой отдельные народы, в каких сферах централизация власти противоречит национальным интересам.

*Сфера экономическая.* Обобществление средств производства, централизация и общегосударственное планирование экономики по существу лишили народы Советского Союза собственно национальной экономики. Действительно национальными можно назвать только те экономические мероприятия, в результате осуществления которых поднимается экономический уровень нации, когда количество и качество выпускаемой продукции непосредственно сказывается на покупательной способности граждан, т. е. на их жизненном уровне. Именно это обстоятельство создает заинтересованность национального правительства в развитии национальной экономики (ведь частная инициатива запрещена!).

В сложившейся ситуации, какие бы ни принимались экономические решения, какие бы заводы и фабрики ни создавались на территории национальной республики, они не влияют на жизненный уровень населения республики. Как бы хорошо ни работали эти заводы, они не способны ни увеличить заработную плату, ни снизить налоги, ни изменить цены на товары, ни даже увеличить ассортимент товаров в магазинах. И только через один канал, тем не менее, такая национальная экономика способна влиять на жизненный уровень населения. Это канал увеличения занятости населения, т. е. сокращение безработицы. Действительно, чем больше занятость населения, тем больше из общесоюзного котла к нации поступает самая ценная и дефицитная часть государственного бюджета: фонд зарплаты. Но именно этот единственный канал открывать при централизованном управлении бывает очень трудно. Центральные власти, совершенно справедливо с общегосударственной точки



зрения, строят заводы там, где это им экономически выгодно. Не построят же они завод в горах Армении или Грузии, если постройка этого же завода в Краснодаре или Сибири им обходится в три раза дешевле? Ну, а чем заниматься жителям этих горных поселений? Ответ прост: переселяться в промышленные районы. И возникает проблема естественной ассимиляции.

Целыми семьями, а то и поселками, люди переселяются в промышленные районы обширной страны. Оседают, женятся и русифицируются. Но, как мы видим, и здесь ассимиляция связана не с русским империализмом, а со спецификой социалистического хозяйствования. Миграция населения из республики имеет еще и другую неприятную сторону. Увеличение так называемой внутренней диаспоры сокращает затраты на национальные нужды. Например, вне Армении, на просторах «братского союза» живет и трудится примерно полтора миллиона армян. Пользуясь марксистской терминологией, прибавочный продукт, создаваемый этими армянами вне Армении, никак не прибавляет национального богатства. Полтора миллиона армян, или полмиллиона крымских татар, живущих в других республиках, создают колоссальный прибавочный продукт. Но на эти средства не строятся национальные школы, национальные театры, не издаются национальные газеты и не оплачивается ни одна национальная ценность. Между тем, даже эти лишенные родины граждане пользуются национальными газетами, посещают национальные декады и болеют за свою национальную футбольную команду, а в старческом возрасте приезжают умирать на и без того переполненные кладбища родины. Создание всей этой национальной пицци ложится на хрупкие плечи республики, которую они, эмигранты, лишают части своего прибавочного продукта, лишают на-

циональную академию, национальный театр, национальную промышленность талантливых голов и рабочих рук.

*Сфера политическая.* Здесь можно быть предельно кратким. Никакой политической самостоятельности ни одна нация в СССР не имеет. Отсутствует национальная армия, национальная внешняя торговля, внешние сношения и т. д. Даже правительственные республиканские газеты не имеют за рубежом своих корреспондентов, не говоря уже о послах, консулах и торговых представителях. Республиканское министерство иностранных дел находится на таком смехотворном уровне, что назначение на должность министра иностранных дел справедливо расценивается как политическое банкротство и приравнивается к должности начальника туристического бюро. Есть в конституциях союзных республик такой параграф, согласно которому каждая республика имеет право давать иностранцам гражданство своей республики. Но насколько комично это право, следует из следующего параграфа, согласно которому граждане республики одновременно считаются гражданами СССР. Ну, нельзя же предположить, что армянам, грузинам или киргизам дадут право решать, быть или не быть, скажем, Солженицыну гражданином СССР. Не может же советская власть через какую-либо республику открыть свои, так наглухо запертые двери.

*Сфера историческая.* У каждого народа своя история, свои исторические даты, свои исторические герои, своя историческая судьба. Без исторической памяти не может быть национального самосознания, без исторического анализа невозможно самопознание и оценка тех или иных событий. По разным историческим путям, исходя из разных побуждений, двигались народы из далекого прошлого в настоящее. Многие боролись,

падали, вставали, приспособливались и снова боролись. Многие погибали и снова воскресали из пепла и руин. История многообразна многообразием существующих наций и даже более, ибо сколько их остались на полпути, так и не дойдя до наших дней. Но для большевиков существует только один исторический путь — это путь к коммунизму через борьбу классов. Для них все остальные пути не историчны, поэтому либо они усиленно вычеркивают из памяти народа эту историю, либо оценивают ее с точки зрения классовой борьбы. Будь то политика грузинского царя Ираклия или 20-летняя борьба Шамиля, национально-освободительное движение армян или деятельность эсеров, всё это, перекраиваясь и переоцениваясь, лишает нацию ее исторического Я.

В историческом плане есть еще один нерешенный вопрос. Вовлеченные в бурю октябрьской революции, различные народы вышли отсюда с разными потерями и приобретениями. В горячие дня революции, когда молодое советское государство в Брест-Литовске заключало свой позорный договор, когда 11-я Красная Армия громила молодые закавказские республики, когда турецкая армия стояла на подступах Еревана, а Украина и Средняя Азия боролись против советской власти, статус-кво, установленный в дни этих грозных пожаров, не мог быть справедливым. И когда рассеялся дым этих пожаров, приступить бы советской власти к кропотливому изучению национальных проблем и исправлению сложившихся несправедливостей. Но это не было сделано. А потому и по сей день обостренность межнациональных отношений объясняется еще и этим.

Ну и, наконец, последний фактор, *фактор эпохи*. Что под этим я подразумеваю? Независимо от государственной системы, национального характера и прочих факторов, эпоха предъявляет к нам свои требования,

которые иногда бывают столь существенны, что адаптация к ним становится одним из главных условий самосохранения. Если мы не умеем и не желаем остановить прогресс, то по крайней мере должны приспособиться к нему. Научно-технический прогресс предъявляет особые требования к формам организаций систем. Чем выше уровень организации отдельных элементов системы, тем сложнее управлять ею, вплоть до полной неуправляемости. Чем выше уровень организации отдельных элементов, тем меньше элементов вовлечено в сферу оптимального управления. Иначе говоря, можно было бы сформулировать следующую простую закономерность. Чем выше организация, тем меньше должны быть размеры оптимальной системы. Уровень организации есть дар эпохи, он связан с получением информации, которую мы не властны остановить ни глушениями радиопередач, ни таможенными досмотрами. Этот дар эпохи является чем-то более абсолютным, чем всё то, над чем мы имеем власть. И, следовательно, в оптимальных системах мы должны идти не по пути снижения уровня организации, а по пути уменьшения размеров системы.

Если обратиться к государству как к высшей форме общественной организации, то можно увидеть, что государство, в отличие от общества, которое возникло на почве наших нужд, родилось на почве наших недостатков. И следовательно, чем несовершеннее, чем примитивнее человек, тем в большем по размерам централизованном государстве им можно управлять. Это прекрасно понимали классики анархизма, которые в пределе, для совершенного человека, вообще отрицали необходимость государства. Соотношение размеров и управляемости государства понимали уже древние мудрецы. Обратимся, например, к Аристотелю: «Ясно, что государство не есть совокупность людей, определенная одним общим местожительством. Пелопоннес не станет одним государством от того, что

окружить его одной стеной. Не станут одним государством Коринф и Мегара, если два места, на которых они существуют, образуют одно целое. Население государства не должно быть очень многочисленным, а территория — очень большой. Всякая вещь имеет свою меру; корабль величиной в два стадия перестает быть кораблем. Государство с очень большим населением перестает быть государством и становится народом. Так же не может иметь оно слишком большой территории, вроде Вавилона. Граждане для исполнения своих публичных обязанностей должны знать друг друга, государство должно быть обозримым. В слишком большом государстве население не знает, кто им властвует, и герольд не сможет созвать его на народное собрание». Этому закону «обозримости государства» в еще большей степени подчинены многонациональные общности. С ростом информированности человечества всё меньше и меньше должны становиться государственные образования. Если анархисты в пределе видели отдельного человека, то, пожалуй, вначале это сокращение дойдет до национальных размеров. В этом отношении прав Сергей Рафальский, когда утверждает, что «как только самоопределится, скажем, губерния — встанет вопрос о самоопределении уезда, против которого губерния выставляет те же самые доводы, которыми только что против ее самоопределения пользовалась область». Пусть так, но что в этом плохого? Очень может быть, что дальнейшее повышение уровня организации потребует разбиения нации на более мелкие образования. Но это ничем не угрожает ни нации, ни национальной культуре. Жили же некогда нации отдельными княжествами! Эти княжества могут возникнуть вновь, но уже на более высокой организационной базе.

Таким образом, советское общежитие, советский социальный строй и эпоха требуют разделения Советского Союза на отдельные государственные образова-

ния, в виде ли конфедерации или российского содружества, или полного отделения — это покажет будущее и это решат сами народы. Так или иначе, это будет выгодно всем народам и в первую очередь русскому народу, на голову которого взвалили опеку над всеми народами и ответственность за судьбу всех. Выгадают от этого и нерусские народы, которые не нуждаются ни в чьей опеке и хотят сами заняться своей судьбой.

Я националист, поэтому я знаю, что национальная идея, неправильно понятая, неправильно претворяемая, может всегда привести к нездоровым последствиям: к шовинизму, к расизму, к национал-большевизму. Но я так же знаю, что не искажениями определяется подлинная ценность идеи. Все искажения неприемлемы. И христианство, и социализм, и демократия, и национализм в искажении своем отвратительны. Так будем же мужественно отстаивать национализм в его неискаженном виде!

ОГАНЕСЯН Эдуард — родился в Ереване в 1932 году. Окончил Московский станкостроительный институт. Доктор технических наук. Возглавлял научно-исследовательский институт адаптивных систем Академии наук Армянской ССР. Избирался депутатом Ереванского городского Совета. Был Председателем комитета кибернетики Армении. В настоящее время живет в Мюнхене.

## Запад — Восток

*Его превосходительству министру юстиции СССР  
Теребилову Владимиру Ивановичу  
ул. Воровского, 13. Москва, СССР*

Ваше превосходительство!

По сообщениям шведской печати, во время Вашего визита в Швецию, на пресс-конференции в Стокгольме 23 сентября 1974, Вам был задан вопрос о моем сыне Рауле Валленберге и Вы якобы ответили: «А в чем с ним дело? Я впервые слышу это имя».

В газетах не сказано, ответил ли кто-нибудь на Ваш вопрос. Поэтому я хотела бы передать Вам следующие сведения.

Мое имя Май фон Дардел; мой муж — бывший генеральный директор Фредрик фон Дардел. От первого брака с лейтенантом Раулем Валленбергом у меня 4 августа 1912 родился сын, который был назван именем отца, скончавшегося незадолго до его рождения. Летом 1944 мой сын был назначен первым секретарем посольства Швеции в Будапеште с особой миссией — спасти преследуемых нацистами венгерских евреев. Эта задача была связана с большими трудностями, особенно после того как немцы в октябре 1944 свергли главу государства Хорти и установили диктатуру главаря венгерских нацистов Салаша. Тем не менее, Раулю Валленбергу удалось спасти несколько тысяч человек от лагерей смерти. Когда советские войска в январе 1945 вошли в Будапешт, Валленберг приветствовал их как освободителей. Однако его арестовали

и увезли в Москву — причины мне неизвестны. И до сих пор он не вернулся домой.

В ответ на множество запросов шведских властей о судьбе Рауля Валленберга советский МИД ответил дважды:

— *18 августа 1947*: что его нет в пределах СССР, что розыски его оказались безуспешными и остается лишь предполагать, что он или убит во время боев в Будапеште, или арестован салашистами;

— *6 февраля 1957*: что в архиве санчасти Лубянской тюрьмы найден документ, который можно рассматривать как относящийся к Раулю Валленбергу, а именно — датированный 17 июля 1947 рукописный рапорт начальника санчасти Смольцова министру госбезопасности СССР Абакумову о том, что известный Абакумову заключенный Валленберг скоропостижно скончался ночью, вероятно — от инфаркта миокарда; что никаких других сведений в виде документов или свидетельств найти не удалось и поэтому следует сделать вывод, что Валленберг скончался в июле 1947.

Фамилия заключенного в рапорте отличается от фамилии моего сына, а имя, отчество и год рождения отсутствуют, поэтому я не считаю доказанным тот факт, что рапорт касается именно моего сына. Тем более, что значительное число лиц, прибывших из СССР, сообщило о встречах с Раулем Валленбергом в разных советских местах заключения или о дошедших до них сведениях по поводу его пребывания там после 17 июля 1947.

Я позволю себе перечислить даты и места, указанные в этих сообщениях:

1. *1947, нач. декабря* — в ИНТАЛАГ около Северного Ледовитого океана прибыл заключенный, рассказавший, что его зовут Валленберг и что его арестовали в Будапеште. Через несколько дней он был этапирован в другое место.



2. 1947, конец декабря (Рождество) — 1948, июнь (день Ивана Купалы) — в Москве на ЛУБЯНКЕ сидел шведский дипломат.

3. 1948, лето — шведский заключенный Рауль Валленберг находился в лагере ХОЛМЕР-Ю севернее Воркуты.

4. 1949, весна — заключенный, чья внешность соответствует фотографии Рауля Валленберга, находился в Москве в БУТЫРКАХ.

5. 1950/51, под Новый год — в БУТЫРКАХ был заключенный шведский дипломат.

6. 1953 — один заключенный на ЛУБЯНКЕ, назвавшийся Валленбергом, просил другого после освобождения сообщить шведским властям о том, что он в тюрьме.

7. 50-е годы, начало — несколько раз сообщалось, что Валленберг заключен в корпусе № 2 ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЫ.

8. 1954, август — заключенный, назвавшийся Валленбергом, первым секретарем шведского посольства в Будапеште, находился в корпусе № 2 ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЫ и просил другого заключенного, если он освободится, сообщить шведскому консульству или посольству, что он лишен права переписки.

9. 1955, конец января — нач. февраля — один заключенный в корпусе № 2 ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЫ просил своего сокамерника, если тот освободится, рассказать, что он сидел вместе с Валленбергом, а если забудет имя, сказать, что это швед из Будапешта.

10. 1961, январь — Валленберг находился в ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ в Москве или ее окрестностях.

11. 1961-62 — Валленберг находился в бараке-изоляторе ЛАГЕРЯ НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ.

12. 1966 — Валленберг был в заключении в СИБИРИ.

13. 1966-67 — Валленберг находился в ЛАГЕРЕ ПОД ИРКУТСКОМ и содержался в ШИЗО.

Вполне возможно, что одно или несколько свидетельств не достоверны, но трудно себе представить, что все приведенные данные или хотя бы большинство их ошибочны. Следовательно, можно считать, что Рауль Валленберг был жив после июля 1947, и, значит, вышеназванный рапорт начальника санчасти Лубянской тюрьмы касался другого лица, а не моего сына.

Я не знаю, жив ли он еще, но так как, по этим сведениям, он оставался в живых много лет после ареста и так как я знаю его выносливость, то думаю, что это очень может быть. Ему было бы сейчас 62 года, а это еще не глубокая старость.

И я обращаюсь к Вам, Ваше превосходительство, как к человеку наиболее компетентному — с настоящим ходатайством, чтобы Вы приняли тщательные меры для розысков моего сына и, если он будет найден, чтобы ему немедленно разрешили вернуться в Швецию.

Мне неизвестна причина его длительного заключения, но я знаю, что он не способен совершить тяжкое преступление. За всё то счастливое время, что мы жили вместе, он не дал повода сомневаться в его глубокой порядочности и благородстве. Если же он чем-нибудь случайно нарушил советские законы, то достаточно заплатил за это почти тридцатилетним заключением.

Прилагаю фотографию портрета моего сына, написанного во время его пребывания в Будапеште в 1944. Похож ли он на преступника?

Мне уже больше 83 лет, а моему мужу, отчиму Рауля, — 89. Для нас обоих был бы великой радостью еще раз, перед смертью, обнять нашего дорогого сына.

Подарите нам эту радость!  
С глубоким уважением

*Май фон Дардел*

Maj von Dardel  
Auravägen 25  
18262 DJURSHOLM  
Sverige

## Рауль Валленберг — арестант, похороненный заживо

«...Раулю Валленбергу удалось спасти несколько тысяч человек от лагерей смерти. Когда советские войска в январе 1945 вошли в Будапешт, Валленберг приветствовал их как освободителей. Однако его арестовали и увезли в Москву — причины мне неизвестны. И до сих пор он не вернулся домой», — с горечью и болью утраты писала мать Валленберга, г-жа Май фон Дардел, министру юстиции СССР в 1974 году. На посту первого секретаря шведского посольства в Будапеште во второй половине 1944 Рауль Валленберг действовал бесстрашно и бескомпромиссно, спасая евреев Венгрии от преследования. Валленберг поплатился за свой гуманизм: он избежал мести Эйхмана, но стал узником сталинских застенков.

В этом выпуске «Континента» вы можете прочитать полный текст письма матери Валленберга, которое я процитировал. В свои 85 лет госпожа фон Дардел сохранила душевные силы и стойкость. Она постоянно обращается к советскому правительству с просьбой сообщить ей о судьбе сына, но тщетно. Правительство Швеции также пытается это выяснить, но без необходимой настойчивости и последовательности. Солидный том документов по делу Валленберга по сей день хранится в архивах шведского министерства иностранных дел, но лишь часть их опубликована. В ноябре 1976 девять влиятельных шведских граждан обратились в правительство с требованием обнародовать все документы и продолжить расследование дела Валленберга, чтобы помочь ему вернуться на родину, если он еще жив. Без доступа

к архивам невозможно составить полное представление о деле, что затрудняет дальнейший ход расследования этой трагической истории.

Насколько нам известно, советское правительство так и не объяснило причин ареста Рауля Валленберга. Даже НКВД было вынуждено выдвигать какие-то версии, чтобы мотивировать свои акции в отношении дипломата нейтральной страны. Можно предположить, что Валленберга обвинили в шпионаже. Специальная миссия Валленберга в Венгрии была организована Государственным Департаментом США и Международным Конгрессом представителей еврейских общин. Возможно, следуя укоренившимся предрассудкам, советские власти сочли нереальным, что кого-то могли направить в Будапешт в те дни с гуманными целями. Свидетельства бывших заключенных подтверждают гипотезу о том, что русские рассматривали Валленберга как шпиона или особо опасного государственного преступника, но мы не можем утверждать это с полной определенностью. Во всяком случае, Валленберг никогда не был открыто осужден или обвинен в каком-нибудь преступлении. Мы знаем только одно: те, кто бросил его за решетку, так и не удосужились сказать правду.

Сначала русские подтвердили, что Рауль Валленберг находится у них. Уже 16 января 1945, накануне его похищения, зам. министра иностранных дел Деканозов сообщил в Москве шведскому министру иностранных дел Сёдерблому, что советские военные власти в Будапеште приняли меры по защите Валленберга и его имущества — из дружественных побуждений. Через месяц советский посол в Стокгольме г-жа Коллонтай заявила матери Валленберга, что ее сын спасен и находится в России. Сообщив то же самое жене шведского дипломата Христиана Гюнтера, она добавила: в интересах самого Валленберга не следует поднимать шум по этому поводу.

Потом штора задернулась. Внезапно Валленберг перестал существовать. Отвечая на шведский запрос, зам. министра иностранных дел Вышинский в ноте от 18 августа 1947 заявил, что Валленберг не был взят в Будапеште и не находился в Советском Союзе. «Нам ничего неизвестно. Можно предположить, — добавил он, — что Валленберг погиб во время боев в Будапеште или был захвачен салашистами».

Как известно, Сталин практиковал вызовы в Москву под ложными предложениями неугодных лиц, чаще из числа своих сотрудников. Леопольд Треппер, глава антифашистской разведывательной сети «Красная капелла», осенью 1944 совершил роковую поездку из Парижа в Москву, чтобы попасть прямо на Лубянку. Остаток сталинской эпохи он провел в тюрьме. Жена Треппера, хотя и жила в Москве, не могла разыскать его и выяснить, что с ним. Ей тоже советовали ничего не предпринимать (Leopold Trepper. Die Wahrheit. 1975).

Шли годы, и сведения о судьбе Валленберга стали проникать в Швецию. Основным источником информации были показания освобожденных из советских лагерей иностранных граждан. Лишь более чем через 10 лет удалось восстановить истинный ход событий: Валленберг был арестован и доставлен в Москву вместе со своим шофером, венгерским инженером по имени Вильмос Ленгфельдер.

До этого времени, как я уже говорил, советское правительство весьма двусмысленно отрицало этот факт. Однако в феврале 1957, рассмотрев представленные шведской стороной показания, г-н Громько передал загадочную бумагу, подписанную начальником санчасти Лубянки Смольцовым, из которой следует, что Рауль Валленберг умер в этой тюрьме 17 июля 1947 (ровно за месяц до того, как Вышинский изрек: «Нам ничего неизвестно»). Следовательно, по официальным данным, Валленберг был узником Лу-

бянской тюрьмы. Но, увы, — оправдывалась Москва, — это случилось по вине тогдашнего министра госбезопасности преступника Абакумова, впоследствии казненного. И советское правительство выразило искреннее соболезнование семье Рауля Валленберга.

Такое объяснение факта, что Валленберга в полной безгласности держали в центральной политической тюрьме, звучит неубедительно: Абакумов не являлся единственным формально ответственным лицом — такие вопросы, как правило, решал сам Сталин; да и МИД сначала подтверждал, что Валленберг доставлен в Москву. Можно ли доверять клочку бумаги, рукописному извещению о смерти арестанта, если советское правительство до сих пор не обнаруживает следов пребывания Рауля Валленберга в Советском Союзе — ни в архивах, ни в памяти тюремщиков Лубянки и Лефортова. Видно, совесть нечиста у политиков рангом выше Абакумова.

Правительство Швеции и семья Валленберга продолжали получать свидетельства о том, что он жив. Однако Москва упорно отвергала или вовсе игнорировала все доказательства. Тринадцать из этих показаний г-жа Дардел приводит в своем письме Теребилову. «Вполне возможно, что одно или несколько свидетельств не достоверны, но трудно представить, что все приведенные данные или хотя бы большинство их ошибочны. Следовательно, можно считать, что Рауль Валленберг был жив после июля 1947...»

Стоило бы описать подробно детали более поздних сообщений — не для того, чтобы анализировать их подлинность, но для распространения этой важной информации, которая может быть проверена или дополнена другими лицами.

Свидетельство о пребывании Валленберга в психиатрической больнице в январе 1961 (показание №10 из письма г-жи фон Дардел) основано на заявлении

профессора Александра Мясникова, в то время директора Института терапии АМН СССР. В Москве с Мясниковым встретила его коллега из Швеции проф. Нанна Шварц, которая уже была с ним знакома по различным медицинским конгрессам. Разговаривали они, как обычно, по-немецки. Г-жа Шварц упомянула о Рауле Валленберге, который, по достоверным сведениям, был еще жив. Она обратилась к своему коллеге за советом — как разыскать Валленберга. Мясников ответил, что ему известна эта история и что человек, который ее интересует, — в очень тяжелом положении. Когда г-жа Шварц сказала, что Валленберга необходимо вернуть в Швецию, Мясников, понизив голос, сообщил ей, что Валленберг находится в психиатрической больнице. Затем Мясников вышел из комнаты, чтобы проконсультироваться со своим коллегой по фамилии Данишевский; позднее проф. Шварц беседовала с Данишевским и убедилась, что тот уже говорил с Мясниковым о Валленберге. Она написала на бумаге «Валленберг» и спросила, нет ли возможности встретиться с зам. министра иностранных дел Семеновым, которого она случайно знала. Данишевский обещал ей помочь. Когда г-жа Шварц попыталась попасть на прием к Семенову, ей заявили, что он за границей. Шведка и двое русских обсуждали проблему, как помочь Валленбергу вернуться на родину, но пришли к выводу, что этот вопрос может быть решен только на правительственном уровне. Шведское правительство заявило решительный протест в Москву, но ответом была одна беспредельная злоба. Хрущев пришел в бешенство, и Мясников отказался от своего свидетельства. Он не отрицал факта беседы с проф. Шварц, но сказал, что у него нет никакой информации о Валленберге, и высказал предположение, что вышло недоразумение — из-за его плохого немецкого. Однако проф. Шварц утверждает, что они с Мясниковым были достаточ-



но хорошо знакомы и, по предыдущим деловым встречам, трудно поверить, что он ее неправильно понял: фамилию Валленберга она называла в разговорах и с Мясниковым, и с Данишевским, и сам Мясников назвал ее в своем разговоре с Данишевским.

Так какой же вывод можно сделать относительно фразы о психиатрической больнице? Неужели Мясников, ученый-медик, употребил не тот медицинский термин или проф. Шварц искажила в памяти эту важнейшую информацию? Несомненно, Мясников изменил свои показания после грубого хрущевского выговора. Неясно только одно: откуда Мясников получил сведения о Валленберге — встречаясь с ним или иными путями. (Мясников умер в 1965.)

Сообщение о том, что Валленберг находился в лагерях на острове Врангеля в 1961-1962 гг., поступило от Хаима Мошинского, ныне проживающего в Израиле. Об этом рассказал в своих показаниях подкомитету Американского Сената другой еврейский эмигрант, Авраам Шифрин: Мошинский был арестован в 1958, этапирован в Амурскую область, а затем на остров Врангеля, где оставался до 1962. В лагерях он знал, в числе других: «...Рудольфа Трушновича, врача, Василия Ивановича Полякова, полковника владовской армии, многих эсэсовцев и гестаповцев, а также многих итальянцев, которых объявили давно погибшими... Там находился также Рауль Валленберг». У Мошинского брал интервью итальянский комитет, который продолжает розыски пропавших без вести военнопленных. Несколько итальянских имен, названных Мошинским, были сверены со списком военнопленных, которые, как предполагалось, находятся в Советском Союзе. Кроме того, нам известно, что человек по имени Александр Рудольфович Трушнович был похищен в Западном Берлине в 1954 г. восточногерманскими или советскими агентами. Предста-

вители Швеции тоже встречались с Мошинским, но серьезного расследования так и не провели.

Об острове Врангеля на Западе очень мало информации. Секретарь по иностранным делам прежнего правительства Швеции Свен Андерсон заявил в Парламенте, что ему неизвестно, действительно ли существовали лагеря на этом далеком острове. Русские эмигранты, с которыми я беседовал на эту тему, слышали от хорошо осведомленных друзей в России, что таких лагерей теперь нет, но утверждают категорически, что 15 лет назад ГУЛаг простирался и до острова Врангеля. Это совпадает со свидетельскими показаниями Шифрина о том, что в Потьминском лагере №7 в мае 1963 он встречал заключенных, этапированных с острова Врангеля.

И, наконец, в последних двух показаниях восточноевропейских эмигрантов, о которых упоминает в своем письме госпожа фон Дардел, есть сведения о пребывании Валленберга в сибирских лагерях строгого режима в середине 60-х годов. Один из лагерей — в Завидово, под Иркутском, откуда Валленберга этапировали в Казахстан, а затем, в 1972, во Владимир.

Поразительно, что нам приходится собирать информацию у тех, кто добывал ее, перестукиваясь через стены камер. А правительство, перед которым открыты все замки, отказывается дать отчет в действиях своих официальных лиц. О судьбе Рауля Валленберга, как и многих других политических заключенных, преступник предпочитает хранить молчание, игнорируя все доказательства пострадавшей стороны. Несомненно, всё это ярко демонстрирует фальшивую законность, вполне естественную для тоталитарной системы. Но можем ли мы покорно мириться с бесчестьем и нарушением элементарных человеческих прав? Существование такого режима вызывает опасения и тревогу!

Когда правительство миролюбивой страны пытается узнать о судьбе арестанта, заживо погребенного на Архипелаге ГУЛаг, его лицемерно обвиняют во враждебных выпадах и вмешательстве во внутренние дела.

Швеции ясно дали понять, что продолжение расследования будет расценено как попытка возврата к временам холодной войны. Шантаж такого рода — эффективный метод воздействия на слабого соседа. Именно по этой причине правительство Швеции опалось принимать энергичные меры. Но в то же время протесты шведской общественности и пресса настойчиво привлекали внимание правительства к трагической истории Рауля Валленберга.

Однако и призывы к примирению тоже не умолкали. Тем, кто настаивал на серьезном и полном расследовании дела, советовали проявить благоразумие. «В конце концов следует оправдать Москву за недостаточностью улик, — требуют критики. — Русские говорят, что Валленберг умер в 1947 г., и приходится поверить, даже если это не так». Иные великие умы сочли вопрос неразрешимым с точки зрения дипломатической: «Под нажимом общественного мнения правительство Швеции вынуждено было в течение многих лет проявлять сдержанность в своих отношениях с Советским Союзом, всякий раз принимая во внимание историю с Валленбергом». В самом деле, какая досада! Виновны не те, кто должен нести ответственность за свои преступления!

И, наконец, дошло до того, что кампанию в защиту Валленберга стали высмеивать: «Поклонение культу героев! Это миф! Он не воскреснет!» Все эти доводы весьма удобны для самоуспокоения.

Обстановка, созданная вокруг дела Валленберга, дает нам ясное представление о том, какими изощренными и коварными методами политического и психологического давления достигается мнимая разрядка

напряженности. Тоталитарная власть отлично понимает, как восстановить свой престиж, и маленький человек, посмеявшийся жаловаться, может быть уверен, что его объявят врагом мирного сосуществования. Он виновен по определению: преступления режима могли бы остаться в тайне, если бы он не протестовал.

И так всё продолжается, десятилетие за десятилетием.

Отчим Рауля Валленберга господин Фредрик фон Дардел напоминает нам о другом дипломате нейтральной страны — синьоре Маттеоли, выдающемся деятеле при герцоге Мантуйском. В 1679 году наемники Людовика XIV похитили Маттеоли на нейтральной территории и, распустив слух о его случайной гибели, бросили в королевскую тюрьму. Он умер, пробыв в заточении 24 года, но тайна истории была разгадана только через 180 лет.

Итак, единственный путь и наш долг — это дальнейшее активное расследование дела. Необходимо продолжать поиски новых свидетельств, пока еще живы многие из союзников и тюремщиков Валленберга. Нельзя возлагать эту задачу на будущих историков: без нашей помощи им не удастся восстановить истину. Судьба Рауля Валленберга — не частное дело. Необходимо добиться от советского правительства объективной информации. Преступники обязаны сказать правду. Они должны, наконец, понять, что и теперь, через 32 года, книга трагической жизни узника советских застенков Рауля Валленберга еще не закрыта.

**Библиографическая справка:** О Рауле Валленберге опубликовано несколько книг на иностранных языках: Jenő Levai. Raoul Wallen-

berg. Budapest, 1948; Josef Wulf. Raoul Wallenberg. Il fut leur espérance. Paris, 1968. В Швеции первым рассказал об аресте Валленберга Рудольф Филипп: Rudolf Filipp. Raoul Wallenberg. Diplomat, Kämpfe, Samarit. Stockholm, 1947. Все известные документы собраны в книге: Fredrik von Dardel. Raoul Wallenberg — fakta kring ett öde. Stockholm, 1970. Шведский МИД опубликовал две Белых книги — в 1957 и 1965.

ВИГФОРСС Харальд — род. в 1911, журналист, в 1958-71 главный редактор либеральной гётеборгской газеты «Хандельс-ог Шефартстиднинг», неоднократно писал о судьбе Валленберга и добивался публикации всех связанных с ним секретных документов.

## В ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО МУЗЕЯ В ИЗГНАНИИ

«Русский музей в изгнании», находящийся в Шато дю Мулен де Санлис в Монжероне, был организован почти два года назад по предложению Русского эмигрантского Центра помощи. Председатель Центра госпожа Беф за месяц до открытия Музея писала на страницах «Русской мысли» о том, что часть Русского дома в Монжероне будет служить помещением для постоянной экспозиции картин неофициальных русских художников, и в основу этой экспозиции ляжет коллекция, собранная Александром Глезером и вывезенная им из СССР.

Музей открылся 24 января 1976 года. С того времени в ряде европейских стран им было организовано около десяти выставок, о нем писала европейская и американская пресса. Музей постоянно посещается и несомненно играет очень серьезную роль в деле популяризации свободного русского искусства. Ни для кого не удивительно поэтому, что деятельность Музея доставляет крайнее беспокойство советским властям, постоянно ищущим пути для его дискредитации. Гораздо большее удивление вызывает то обстоятельство, что у Музея нашлись враги в самом Комитете, возглавляющем Центр помощи.

29 марта сего года официальным письмом А. Глезеру было категорически предложено в течение двух месяцев покинуть Монжерон, забрав свою коллекцию. Письмо подписал генеральный секретарь Центра помощи С. Татищев. Это недвусмысленно означает ликвидацию «Русского музея в изгнании».

В связи с вышеупомянутым решением «Центра помощи», 21 июня, на встрече французской интеллигенции с русскими диссидентами в парижском театре Рекамье, был создан Комитет поддержки «Русского музея в изгнании». В него уже вошло более тридцати человек, в том числе: Владимир Буковский, Тамара Бортен, Марсель Бозоннэ, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Наталия Горбаневская, Андре Глюксман, княгиня Голицына, Вадим Делоне, Эдуард Зеленин, Эжен Ионеско, Виолетта Иверни, Василий Карлинский, Владимир Максимов, Александр Ниссен, Виктор Некрасов, Михаил Шемякин, Гарри Файф.

Вся деятельность Комитета направлена на спасение «Русского музея в изгнании», на спасение картин, лишенных права гражданства на родине и с большими трудностями вывезенных на Запад.

Желающие поддержать Комитет или получить какую-либо информацию могут обратиться письменно:

Comité de soutien au «Musée Russe en Exil», c/o Vladimir Maximov,  
11 bis, rue Lauriston, Paris 16

# Факты и свидетельства

Алексей Лосев

## ЖРАТВА

- Ты сегодня будешь в Смольном?
- Да.
- Купи мне блок болгарских сигарет.
  - ... свежих огурчиков, если будут.
  - ... полкило сосисок.
  - ... конфет хороших — на елку вешать.
  - ... пачку «Марии».
  - ... колбасы.
  - ... боржома пару бутылок.
- Боржом нельзя на вынос. Можно только там пить.
- Ну, ты попроси как-нибудь. Моей доктор велел теплым боржомом горло полоскать, а у нас как всегда — как тебе чего надо, так его нигде нет. Закон.
- Я попробую.

\* \* \*

Архитектор Шусев построил в 20-е годы, скромненько, но со вкусом, пропилеи — подъезд к Смольному обрел бюрократическую торжественность.

Поставили в меру размахивающего ручкой Ильича на аккуратном подстаканнике, сверху над фронтоном воткнули флаг. Получилось — как будто красным военным карандашом прочертили по линейке ось симметрии и теперь, чтобы увидеть Кваренгиев Смольный, нужно советское умение цензуровать то, что видишь, глядя, усилием воли стирать с ретины пропилейчики, памятничек, флажок.

Не всегда получается.

Стайка экскурсантов поднимается по ступенькам. Сейчас им покажут койку В. И. и табуретку Н. К.; иностранцы выходят несколько ошарашенные увиденным, наши — привычны.

Слева от входа пустынный стерильный холл — бюро пропусков. Подбородок дежурного старшины торчит в арочном окошке. Другой старшина для порядка прогуливается по холлу. Почти всегда какой-нибудь безумный правдоискатель: старуха, или студент, или еврей, или работяга дожидается на скамейке — пропустят или не пропустят. Почему-то даже приодевшиеся по отчаянному случаю прорыва в Смольный люди выглядят на фоне чистых мраморов кучей тряпья. Многие нервничая рассказывают свою судьбу наружному старшине, но тщета этих попыток завязать личные отношения с властью и таким образом продвинуть свою пешку на одно поле вперед очевидна. Хотя бы потому уже, что они говорят неприлично громко, вызывая совершенно уж неуместное эхо под высоким потолком, и нужно иметь большое терпение и выдержку, чтобы не прервать, не заткнуть рот, не выставить вон без всяких разговоров. Старшина проявляет эти качества и еще и еще раз объясняет, в какую организацию следует обратиться по данному вопросу, хотя, конечно, можете и подождать, и товарищ примет вас сегодня, если освободится. Объясняет толково. И без эха.

Но из посетителей Смольного мало кто идет через бюро пропусков. Вызванные к товарищу такому-то на такое-то время товарищи деловито шагают с папочками к первому посту прямо против входа, правая рука ныряет в левый карман пиджака, сержант смотрит в партбилет, в лицо товарища — пожалуйста.

Видно по лицам, что поход в Смольный для большинства — что-то праздничное (кроме тех, конечно, кого на ковер тащат). Может быть, просто от того,



что вокруг так чисто, торжественно, приглушенно, мрамор, красные ковровые дорожки, четкость и вежливость стражей — вот не мурыжит, как какой-нибудь дядя Вася на заводской проходной, а: раз, два — взглянул — проходите, пожалуйста! — и очень ответственный товарищ встает тебе навстречу из-за светлого финского стола на паркете, сверкающем шведским лаком, и ты обсудишь с ним важные вопросы, от решения которых, возможно, зависит что-то очень приятное для тебя или большая гадость для твоих недругов. И еще по совсем простой причине люди чувствуют себя празднично: начищенные ботинки (новые лодочки), чисто выбрит (сделала укладку в парикмахерской), белая рубашка, скромный галстук, приличный импортный костюм, лучше всего — темно-серый (кримпленовая юбка, чехословацкая кофточка).

Иногда проходят военные, милицейские, прокурорские мундиры. Они хорошо смотрятся здесь, но ловишь себя на мысли, что одеть всех в мундиры или вроде того было бы уже слишком.

Во-первых, перестали бы выделяться охранники.

Во-вторых, ушло время френчей и сапог. Сглаживаются грани между работником партийного аппарата и ученым, писателем, деятелем культуры. Товарищи бывают за границей. Мы не против того, чтобы брать то лучшее, что может дать прогрессивная культура Запада. В человеке всё должно быть прекрасно.

\* \* \*

Наша — всегда хочется сказать «богоспасаемая» — редакция помещается в двух кварталах от Смольного, через дорогу от Таврического дворца (где ВПШ). Учреждение в полтора десятка сотрудников не может иметь собственной столовки, что не избавляет нас от потребности что-то где-то время от времени есть. Поблизости — ничего. Единственная забегаловка — пирожковая, на которой долго не продержишься. Столь

неудачное местоположение дает в руки нашему начальству козырь для ежегодных переговоров в верхах, в результате которых мы получаем доступ в одну из двух столовок — либо (удачный год) в смольнинскую, либо (чуть похуже) в таврическую, ВПШ.

Это сказочная привилегия, на которую мы, по малости статуса нашего, в общем-то не имеем права, она нам далась не по заслугам, как-то ненароком, в силу случайных обстоятельств и с оговорками.

Приходить не раньше половины второго (доедать, так сказать, что останется от основных едоков) — это раз; не пользоваться магазином — строго-настро-го — это два.

Магазин, где, по слухам, можно купить всё, при-мыкает непосредственно к столовой в Таврическом, а в Смольном укрыт где-то поглубже. Доступ в магазин — трудно оценимая привилегия: он полностью освобождает от безнадежной беготни по магазинам, от очередей, которые один мой друг так удачно назвал школой ненависти.

Но, повторяю, с нас взято джентльменское обязательство в магазин не соваться (на всех не хватит). Отчасти мы можем вознаградить себя в буфете, где кое-что из дефицитных продуктов добрая (и спешащая выполнить план) буфетчица может продать в количествах, превышающих нормальную порцию закуски или десерта (список см. в начале).

Как-то нас на время лишили нашей кормушки, наказали, потому что две преподавательницы марксизма-ленинизма пожаловались в администрацию: «Чужие длинноволосые, с бородами — забрали в буфете последние сосиски...»

Вальяжный мужик Пашаев (некогда порученец при Толстикове, а ныне завхоз ВПШ) напомнил нашим ходатаям, что всегда рад пойти навстречу творческой капелле, но товарищи должны понимать...

Мы должны понимать. У нас отношения дели-

катные, не Китай, чай. Вот в Китае, как пишет Симон Лейс, строго регламентировано, кто по какому разряду кушает; чиновника приличного разряда, руководящего революционного кадра, так и называют «тот, кто ест мясо»; а у нас всё на нюансах, полутонах, недомолвках — все всё должны понимать.

Но не всегда понимают. Не всегда. Иногда проявляют непонимание.

И порой даже ответственные товарищи.

Удивительные порой вспоминаются сценки.

Однажды перед Новым годом, когда, как сказал поэт, «в продовольственных слякоть и давка» (всем хочется праздника, пира), я шел по киновоспетому смольнинскому коридору, и у поста, где, бывало, статисты Ромма и Юткевича катали пулемет «максим», а народный артист Щукин бегал бочком, на ходу играя в карманный бильярд, там я увидел следующую жанровую картину в духе малых голландцев — «Рыжая дама с гусями и солдат».

Рыжая Н. С. (образование — физкультурный техникум, должность — идеологический секретарь Дзержинского райкома, по роду занятий — подтягивает ленинградский Союз писателей на должный уровень идейной зрелости и художественного мастерства, подсказывает Эрмитажу, чего вывешивать, а чему в запаснике пылиться, и дает указания Малому Оперному — уж не знаю какие — в какую сторону фуэте крутить, что ли?..) препиралась с часовым.

Одной рукой держит два гусиных трупа за морщинистые шеи, другой книжечку свою часовому кажет. А он:

— Не положено, вынос продуктов из Смольного в открытом виде запрещен.

И потом доверительно:

— Народ ходит, видит, кто что выносит. Нехорошо. Надо портфель для этого дела иметь или ридикуль. Вы вернитесь в магазин, там у Вали большие пакеты имеются.

У нас не Китай. Иерархические ступеньки не вырублены топором бюрократа, а обозначены даже как бы художественно, невзначай — тут деталькой, там намеком.

Все знают, что даже в самом замызганном райцентре в ресторане (б. чайная) есть заветная комната почище, куда приходит гудеть то комсомол, то райисполком, а то и сам райком.

Но и посетители заветной комнаты не могут рассчитывать на одинаковый сервис, а только в соответствии с иерархией, определяемой местными обычаями.

Помню, несколько лет тому назад мы с фотографом Львом Поляковым побывали в Гурьеве, самом грязном городе этой планеты (который, между прочим, кормит черной икрой богатых гурманов всего мира). Местный комсомольский лидер решил угостить нас в райкомовском зале местного ресторана знаменитым бишбармаком. Мясо было на редкость горячее и вкусное, а водка холодная и тоже ничего себе. Однако мы заметили, что по мере приближения обеда к концу гостеприимный комсомолец проявляет все большую нервозность. И наконец последовал взрыв: потемнев с лица, как от большой обиды, наш хозяин стал показухами кричать на официантку, та огрызалась.

Вышел повар, сверкая жиром того высокого качества, которого добиться можно только многолетним употреблением отборной баранины и зеленого чая. Повар вроде бы утешил нашего комсомольца, ссора утихла, официантка вышла и вернулась с пиалами на подносе. В пиалах был бульон, ароматный, вкусный и живительный, как в сказке Гауфа «Карлик-Нос»:

Испив бульону, комсомолец объяснил нам ситуацию:

— В бишбармаке самый главный — бульон. Буль-

он в бишбармаке — самый «цимус». А он (жест в сторону кухни) думает, что комсомол дураки. Когда райком партии приходит, он дает бульон. Когда комсомол приходит, он бульон сам пьет.

Видимо, в Гурьеве руководящий кадр — это тот, «кто пьет бульон при бишбармаке».

\* \* \*

Очень хороши пироги с курагой, пекомые в Смольном.

К тому же, курага полезна от давления.

Каждый день пекут свеженькие, а те, что остались со вчера, перебрасывают (за два квартала) в Таврический дворец, где воспитываются и питаются будущие кадры. У молодежи зубы покрепче. И жевать мягкий пирог тоже, выходит, привилегия.

По разряду в системе образования Высшая Партшкола приравнена к университетам. Да только студенты особенные. Все они хоть маленько, да глотнули уже сладкого воздуха власти и потому не могут не относиться к своему временному студенческому статусу вроде как с юмором.

По костюмам, на вид, они аппаратчики как аппаратчики, но то, что им не приходится подготавливать вопросы, подрабатывать постановления, вентилировать отношения и т. д., заставляет их вести себя с той веселой насмешливостью, под которой важные номенклатурные люди скрывают неловкость выходного дня, смущение несерьезностью рыбалки или охоты.

Звонок с лекции, и в гулкую уборную бывшей государственной думы, где некогда облегчались, не глядя друг на друга, депутаты Пуришкевич и Малиновский, вваливаются студенты ВПШ. Перебирая плечами над писсуарами, они делятся новостями из области политэкономии, хоккея, происков сионизма и пр.

Посещаемость парламентского (ныне ВПШ) сортира выше, чем в Смольном, т. к. в Таврическом буфете продается пиво, тогда как в Смольном абсолютный сухой закон. Пиво в Таврическом — игривый намек на несерьезное студенческое положение впшовцев — балуйся, молодежь.

В мраморных сенях сортира рядом с умывальниками стоит большой стол.

Несколько раз я заставлял коллегу по конторе, прозаика Валеру, работающим за этим столом.

Валера — гад, нарушитель конвенции, индивидуалист, плюющий на коллектив. Но, с другой стороны, рачительный семьянин.

Он ведь что делает. Мало, что с бородой ходит жрать в ВПШ (у меня борода не в пример меньше, и то неприятности); мало, что одет вызывающе (Валера — большой фронт, из писательской турпоездки во Францию привез себя ярко-розовый галстук и того же цвета ботинки, при том он носит зафарцованный синий блейзер с золотыми пуговицами и пошитые в ателье Литфонда брюки цвета бордо — и это на фоне то серых в гедеэровскую искру пиджаков ВПШ!); но мало всего этого — он еще нахально ходит в магазин!

Просто так, берет и идет. И покупает, чего хочет. Знает, что не станут орать и выводить (а что могут отменить пропуска всему коллективу, не думает, паразит).

Он закупает там горы кульков, баночек и свертков. У него много денег. Он написал художественную биографию Емельяна Ярославского. Он доказал, что это Емельян придумал название для газеты — «Правда» («Правда, гениально?»). Он жалуется на редакторов: вычеркнули такую человеческую деталь — цитату из тюремных дневников: Емельян переживал в дневнике, что мастурбирует.

На столе в сенях уборной Валера укладывает свои

баночки и сверточки в полиэтиленовые пакетики, а пакетики складывает в сумку, которую называет спортивной (в ней впору штанги носить). Он кладет в пластиковый мешочек говяжью парную печенку в окровавленной расплзающейся бумаге, держа пакет на отлете, чтобы не закапать блейзер. У него пальцы в крови.

\* \* \*

Однажды я встретил другого франта, доктора, которого знал еще студентом мединститута.

Слово за слово, и он рассказал мне о своей удивительной карьере.

Поначалу после института пришлось трудно: поселковая амбулатория, ставишь старухам клизмы, выписываешь справки покойникам, пьяные на тебя бьют, плюс — аборт, аборт, аборт.

Но прорвался в аспирантуру. Нажал на общественную работу. Вступил в партию. И по анкете — представляешь! — прошел в спецполиклинику.

— В Свердловку?

— Ну, в общем да, только мой кабинет на Каменном острове, в резиденции. Там старинные особнячки отделали, заборами огородили, сделали вроде городскими дачами, чтобы начальство могло культурно отдохнуть, когда сильно переработается. Короче — банкеты у них там. При банкетном зале построили туалет — это дворец! Всё оборудование финское. Биде! При этом предусмотрено всё до мелочей — если кто крепко перебрал, вышел облегчиться, запачкался, из туалета есть другой выход — прямым ходом к комнатам отдыха, к спальням. И при туалете построена комната — медпункт, на случай оказания помощи товарищам, которым стало нехорошо. Но, сам понимаешь, любого эскулапа в такое место не посадят. Им надо не ниже кандидата медицинских наук — раз, член — это,

конечно, два, анкета как стеклышко — это три... То есть это такая синекюра, что мне никогда и не снилось.

— Ну а пациентов много?

— Да нет... Работа — груши околачивать. Ну, бывает, что сунешь одному валидолчику, другому нашатыря понюхать и проводишь бай-бай, в кровать. Но это же не пьянь с Московского вокзала в вытрезвителе... Отдыхают вполне культурно. Рассказывают анекдоты, поют.

— Что поют?

— Разное. Народное... Советское... Между прочим, лучший певец — Романов. У него такой бархатный тенор и поет всё задушевное, морской репертуар: «Раскинулось море широко...», «Прощай, любимый город...» Через это и пошел в гору. Был в каком-то райкоме на подхвате, но как компанейский мужик, к тому же с таким репертуаром, завел корешей на верхах и пошел в гору... Сажу я там, пишу докторскую, музыку слушаю. Коньячок у меня там французский всегда. Жратвы — это, конечно, навалом...

\* \* \*

Старая большевичка Лазуркина, та, что потрясла 22-й съезд сообщением о своих потусторонних консультациях с Ильичом, как-то выступила на ленинградской партконференции. Продолжая свой натиск от имени старой гвардии, она сурово критиковала обкомовских товарищей за то, что завели специальные поликлиники, детские сады и т. п.

Тов. Толстиков осадил зарвавшуюся старушку:

— В нашей стране почти все учреждения и предприятия имеют свои столовые, поликлиники, детские сады. Почему же дети работников аппарата не могут посещать свой детсадик?

Ничего не сказала старуха. (А может быть, повторного слова не дали согласно регламенту.) А могла,



конечно, развести демагогию сравнений: мол, смольнинский детсад так же похож на детсад какой-нибудь там фабрички «Красная пробка», как похожа смольнинская поликлиника и больница Свердловка («полы паркетные, врачи анкетные») на обычную, с безнадежными очередями за номерком на рассвете, как похожи вышеописанные столовые на заводскую (винегрет — «двадцать копеек туда и обратно»).

Да и кандидатов медицинских наук на должности туалетных мужиков тоже не на каждом шагу встретишь.

\*  
\*  
\*

Другой раз, тоже под праздник, ехал я на такси с развеселым шофером.

В городе повсеместно что-то давали, и шофер, сам возбуждаясь, всё обращал мое внимание:

— Во очередь — одни бабки. Лук репчатый выбросили... У Елисеевского наборы хорошие дают: две банки сайры, бутылка экспортной, а нагрузка — полкило песку, всё равно в хозяйстве сгодится... А на Васильевском, слышал, что было? Знаешь магазин на ...-й линии, три ступеньки вниз? Завезли красную икру. Два килограмма на магазин. Это-то у них один раз в год бывает, не чаще. О продавцах, конечно, и речи нет. Директорша с заместительшей стали между собой делить. Разругались, и директорша эту ударила хлебным ножом. Вот настолько от сердца прошло...

По тротуару не спеша идет серьезная женщина. Обе руки у нее оттянуты огромными авоськами, а на шее висит гирлянда рулонов туалетной бумаги. Мой шофер чуть не по пояс высунулся из машины:

— Тетка! Где туалетную бумагу брала? Или из химчистки несешь?

Едем дальше.

— А лично для меня икра не проблема. У меня жены сеструха работает буфетчицей в Смольном. Там у них бутерброды нераскупленные полагается через три дня списывать. Так она, икра, еще хорошая, только сверху вроде как бы обветрилась... Жены сеструха икру счищает в банку, а батон выкидывает. У меня в холодильнике банка икры это всегда как штЫк.

\* \* \*

Слава Богу, не голод.

Но чтобы прокормиться, надо проявлять изворотливость. В Москве, в Ленинграде еще ничего, а вот в провинции. (Почему-то особенно вспоминается все время мраморный прилавок под вывеской «МЯСО» в Костроме, заставленный запылившимися бутылками плодоягодного вина. Может быть, потому что Кострома по старинке — мясная, молочная.)

У меня был друг, который, пока еще работал с нами, отказывался пользоваться сказочной нашей привилегией. В обеденное время, нахлобучив шляпчонку и спрятав бороду в шарф, ехал он на автобусе довольно далеко, до заведения под вывеской «Пельмени» (о них же поэтом сказано: «А в животе стучат пельмени, как шары бильярдные»).

Он говорил:

— Здесь они меня не унижат. Это мой *поступок*.  
Последнее слово он всегда произносил курсивом.

\* \* \*

Шофер с баночкой позавчерашних смольнинских оскребков.

Идеологический секретарь с гусями.

Прозаик Валера в уборной, с печенкой в расплывающейся окровавленной бумаге.

Пожилой писатель, которого я очень люблю, сказал мне как-то:

— Я бы хотел написать еще только одну небольшую книгу в заключение всего — о человеческом достоинстве.

О, и я бы хотел написать такую книгу! И я.

# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

# Звуковые барьеры радиовещания

Петр Григоренко

## Что же произошло на площади Пушкина в Москве 5 декабря 1976 года?

*Открытое письмо в редакцию передач  
на русском языке Би-Би-Си*

Сообщения зарубежных радиостанций о демонстрации на площади Пушкина в Москве 5 декабря 1976 в главном не соответствуют истине. Особенно извращенно подала эти события Би-Би-Си в своей вечерней передаче 6 декабря. В связи с этим я, по поручению многих моих друзей, обращаюсь к Вам с просьбой огласить настоящее письмо. Наша просьба тем основательнее, что мы, со своей стороны, сделали всё, чтобы донести правдивую информацию об этих событиях.

Сообщение о демонстрации, составленное на основе наблюдений многих ее участников, в том числе А. Д. Сахарова, в 19.30 5-го декабря было зачитано мною лично корреспонденту агентства «Ройтер» Бобу Эвансу, а в 21 час вручено приехавшему ко мне на квартиру корреспонденту «Файненшл Таймс» Дэвиду Саттеру. По непонятным причинам это сообщение, текст которого приводится ниже, совершенно не учтено при составлении радиосообщений.

**Текст нашего сообщения от 5. 12. 76 «О демонстрации  
на площади Пушкина в Москве 5 декабря 1976»**

Днем 5 декабря нам стало известно, что КГБ готовит какую-то провокацию для намечающейся демонстрации. Каков характер намечаемой провокации, узнать не удалось.

В половине шестого вечера у памятника Пушкину собралось 150-200 чел. К 18 часам количество людей удвоилось. Выделялись две наиболее плотные группы. В центре одной — Андрей Сахаров; вокруг него плотным кольцом молодежь. В центре другой — Нина Буковская, Зинаида и Петр Григоренко.

Ровно в 18.00 прозвучал чей-то голос: «Товарищи, прошу снять головные уборы!» Андрей Дмитриевич просигналил то же самое, сняв шапку. В это время ему в голову ударил ком снега, смешанного с песком. Из рук у него вырвали букет цветов. На кольцо молодежи, окружившей Сахарова, со всех сторон набросились хулиганствующие молодчики. Однако прорваться им к Сахарову не удалось. Произошла свалка, в которой люди, охранявшие Сахарова, были плотно сжаты вокруг него и постепенно оттеснены в сторону от памятника. К этой свалке бросились и многие любопытствующие, в том числе ВСЕ иностранные корреспонденты. Но основная масса прибывших к памятнику подчинилась призыву — Спокойно, товарищи! Не поддавайтесь на провокацию! — и осталась на месте. Не менее 180-200 человек в торжественном молчании стояли у памятника со снятыми головными уборами.

По прошествии пяти традиционных минут к собравшимся обратился Петр Григоренко. Он сказал:

«Спасибо всем, кто пришел сюда почтить память миллионов невинно загубленных людей.

Спасибо всем вам и за то, что вы своим присутствием здесь выразили солидарность с узниками совести!

Традицию демонстраций на площади Пушкина установил Владимир Буковский, который сейчас является узником Владимирской тюрьмы. Требуйте свободы Владимиру Буковскому!»

Присутствующие начали скандировать: «СВОБОДУ БУКОВСКОМУ! СВОБОДУ БУКОВСКОМУ!»

Провокаторам не удалось сорвать митинг. Выполнила свои обязанности и охрана Сахарова. А это было не легко, так как они могли оказывать только пассивное сопротивление. Если бы они дали должный отпор, немедленно появилась бы милиция и начались аресты — не хулиганов, разумеется, а тех, кто от них постра-

дал (хулиганы выступали бы пострадавшими и свидетелями на суде). Хулиганы, чувствуя свою полную безнаказанность, вели себя с предельной наглостью: срывали головные уборы, сбивали очки, хватали за горло, наносили удары, сбивали с ног демонстрантов.

Три милиционерских работника в форме — впоследствии появилось еще два (сколько было без формы — сказать трудно) — никаких мер против хулиганов не принимали, а к демонстрантам пытались придирааться, но те вели себя столь дисциплинированно, что такие попытки потерпели неудачу.

#### Сообщение из Ленинграда

Сегодня, 5 декабря 1976, состоялась аналогичная московской демонстрация в Ленинграде на площади Искусств у памятника Пушкину. Присутствовало 25 человек.

5.12.76. 19 часов.

Итак, состоялась демонстрация или она разогнана, как утверждает Би-Би-Си?

Мы считаем — состоялась, притом в более полном объеме, чем в прошлые годы. Впервые произнесена, пусть и очень короткая, речь, и мы проскандировали наше требование: «СВОБОДУ БУКОВСКОМУ!»

В демонстрации не участвовал А. Сахаров. Его оттеснили в сторону и несколько десятков минут продержали в осаде. Но он и этим сыграл большую роль. За ним ушли и все КГБистские провокаторы, и мы оказались полными хозяевами площади. Мы спокойно провели митинг, а затем организованно пошли на выручку Андрея Дмитриевича.

Кому же такая демонстрация могла показаться провалившейся?! КГБистам, столь сильно занятым Сахаровым, что они не заметили проходившего в сотне шагов от них митинга. В таком же положении оказались и все иностранные корреспонденты.

Так обстоит дело с мнимым разгоном демонстрации. Наше движение оказалось более зрелым, чем то представлялось КГБ, который рассчитывал деморализовать пришедших на площадь провокацией нападе-

ния на А. Сахарова. Эта попытка провалилась. Демонстрация прошла на более высоком уровне, чем в прежние годы. Сделан еще один шаг, пусть и небольшой, по пути освобождения духа.

Неправильно освещен и вопрос о количестве присутствовавших на площади. Корреспондент Би-Би-Си не подтверждает и не опровергает нашу цифру (300-400 чел.), но по содержанию его заявления можно судить, что эта цифра не кажется ему преувеличенной. Однако он сильно расходится с нами в том, что касается состава присутствовавших на площади. Ф. Шорт — неизвестно, на каких основаниях — заявляет, что демонстрантов было около двух десятков человек, а переодетых в гражданское КГБистов — несколько сот человек. Он считает также, что оказавшиеся на площади случайные люди были в основном враждебны демонстрантам.

Наша оценка иная. И имеет она под собой твердые основания. Демонстрантов, известных нам лично, было на площади более двухсот (это подсчет, а не гадание). Переодетых в гражданское хулиганствующих КГБистов — 20-30, и уж во всяком случае не больше полусотни. Это не подсчет, но оценка, имеющая в своей основе надежные критерии. Значит, случайных, а вернее, нам незнакомых людей, — не менее 150 человек. И они не были враждебны демонстрантам и даже не относились к нам с безразличием. С их стороны было или сочувствие, или благожелательная лояльность. Среди них было немало приехавших из других городов с целью «увидеть Сахарова». Один из таких «случайных» (иностранец) вручил мне сразу после моего выступления на митинге прекрасно оформленный «самиздатский» томик переводов сонетов Шекспира. Приведу некоторые доказательства благожелательного к нам отношения со стороны «случайных».



Когда мы по окончании митинга подошли к толпе, осадившей Сахарова, пришедшие вместе со мной товарищи начали прокладывать нам с женой проход в толпе. При этом они говорили: «Товарищи, пропустите Григоренко к Сахарову!» На это в толпе послышался множественный говор: «Где, где Григоренко...» — ... Да вот же, вот он... И толпа расступалась, давая нам дорогу. Мы с женой почти беспрепятственно дошли до Андрея Дмитриевича.

В этом факте и доказательство отношения к нам «случайных», и косвенное подтверждение названной нами цифры КГБистских провокаторов. Они все до единого находились в толпе, окружавшей Сахарова, но тон толпе задавали явно не они. Значит, их в толпе было не более четверти или, в крайнем случае, трети. Да и то, чтобы подавить столь активный элемент, «случайные» должны были очень активно высказываться за Сахарова. Только это могло заставить провокаторов затихнуть и замаскироваться под людей из толпы.

В сообщении Ф. Шорта есть и еще одна неприятная деталь. Отъезд Сахарова с площади у него выглядит почти как бегство на случайной машине. Это всё выглядело совсем не так. Машину для Сахарова нашел по моей просьбе художник Киблицкий, сразу же после окончания митинга. Митинг окончился, и ни у кого из нас, в том числе у Сахарова, никаких дел на площади не оставалось.

Шли мы с Сахаровым к машине в сопровождении всей той толпы, которая его окружала до нашего подхода, и всех тех, кто прибыл с нами после митинга. По дороге примыкали новые люди. Неоднократно слышались крики «Ура Сахарову!» и раздавались аплодисменты. Отъезжала машина с ним и сопровождавшими его родственниками под аплодисменты огромной толпы и крики — СПАСИБО САХАРОВУ!

## Разве это похоже на поражение?

Изложенное в этом письме известно всем нашим единомышленникам, находившимся на площади. Расходились все довольные, вдохновленные одержанной, пусть и очень маленькой, победой. И как же все были возмущены тем, что услышали по радио! Я устал отвечать на непосильный для меня вопрос: «Откуда они (т. е. Вы) всё это взяли?» Были и злые вопросы: «Да что они — в союз с КГБ вступили?» Понимая всю неправомерность такого вопроса, я не могу его осудить, так как подобная информация, хотели Вы этого или нет (не хотели, конечно), играет на руку КГБ. К сожалению, миллионы Ваших слушателей в СССР услышали о таком важном событии, как ежегодная демонстрация на площади Пушкина, не правдивый рассказ, который порадовал бы наших многочисленных молчащих друзей по всей стране, а «страшную сказочку» о том, как сотни КГБистов избили и выбросили с площади Пушкина два десятка жалких демонстрантов.

Я надеюсь, что публикация этого письма Би-Би-Си исправит эту, верю — случайную ошибку.

*Петр Григоренко*

119021 Москва Г-21, Комсомольский пр. 14/1, кв. 96

7.12.76

ГРИГОРЕНКО Петр Григорьевич — род. в 1907 в украинской деревне, в 1922 уходит из деревни в город, работает слесарем, активно занимается комсомольской работой, в 1927 вступает в партию, в 1931 — член ЦК ЛКСМУ, в эти годы учится на рабфаке, в Харьковском технологическом институте и в Военно-технической академии, в 1939 с отличием оканчивает Академию генерального Штаба, участвует в войне 1941-45, после войны преподает

в Военной академии им. Фрунзе, осваивая новую область — военную кибернетику, в 1961 за выступление на партийной конференции переведен с понижением в должности на Дальний Восток, в 1963 создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма», в 1964 арестован, признан невменяемым, отправлен в Ленинградскую психиатрическую тюрьму, при этом исключен из партии и разжалован в рядовые, освобожденный в 1965, он становится одним из вдохновителей и активных участников открытого сопротивления — движения за права человека, в частности, отдает много сил защите права крымских татар вернуться на родину, в 1969 арестован в Ташкенте, снова признан невменяемым и отправлен в психиатрическую тюрьму в Черняховск, освобожден в 1975. В настоящее время — член московской и украинской Групп-Хельсинки. Статьи и выступления Григоренко собраны в книге «Мысли сумасшедшего» (Амстердам, Фонд им. Герцена, 1973).

## РАССЛАБЛЕНИЕ РАДИО КАНАДА

Слово «разрядка», по-ихнему «детант», имеет, как известно, еще значение «расслабление».

Кто регулярно слушает передачи Радио Канада на русском языке, вероятно, заметил, что за последнее время в них стало меньше политики, меньше интересной и значимой информации о канадской жизни, еще меньше — о событиях в СССР и тех мировых событиях, которые заведомо волнительны для советского человека, и уж совсем ничего о Самиздате. Зато стало больше развлекательных передач, больше — о трудностях в самой Канаде: об инфляции, о росте преступности и загрязнении вод, о росте числа самоубийц среди канадской молодёжи — одним словом, всего того, что можно прочесть в советском журнале «За рубежом» под рубрикой «это говорят они сами», и что само по себе, да в увеличенных дозах, вызывает скуку и вряд ли побуждает советского радиослушателя, кому эти передачи адресованы, просиживать у радиоприемника вечерами, позабыв про домино и «родию». Радио Канада расслабилось, одетантилось.

Радио Канада, собственно говоря, никогда почти за все свои 30 с гаком лет существования не было действительно эффективным органом информации. По сравнению с другими западными радиостанциями, вещающими на русском языке, Радио Канада отличалось овощностью, беззубостью, безграмотностью. Ещё будучи в СССР, я диву давался, зачем Канада тратит деньги, рассказывая нам о Прокофьеве и Чайковском или описывая канадскую речку Маккензи. О композиторах наших с успехом вещает московское

радио, и, на мой непосвященный вкус, отлично вещает. А про канадскую речку Маккензи можно прочесть в Большой Советской Энциклопедии на букву М. А вот про зарплату и цены в Канаде ни московское радио, ни БСЭ не говорят. Радио Канада никогда, на моей памяти, не глушилось, да и глушить-то было нечего — ничего непозволительного Радио Канада себе не позволяло.

В годы хрущевской оттепели, когда на Запад стали выпускать отдельных хорошо ведущих себя туристов, был искусно распространён миф о том, что Радио Канада является якобы более «объективной и правдивой» радиостанцией, нежели, скажем, Голос Америки.

И вот, несмотря на хорошее, с точки зрения Агитпропа, поведение, в мае 1976 года на Радио Канада была введена своеобразная политическая цензура — ничего «антисоветского» или того, что может быть истолковано таковым, более не допускается. Канадская газета «Торонто Сан» писала 14 июля 1976 года о том, что в распоряжение членов канадского парламента от оппозиционной консервативной партии была предоставлена внутренняя переписка между отделами Радио Канада, из коей следует, что директор Отдела Международного Вещания Радио Канада мистер Аллан Браун в циркуляре для сотрудников русской и украинской секций запретил сотрудникам секций составлять какие-либо обзоры новостей и писать какие-либо комментарии на политические или экономические темы. Более того, бюллетень новостей, говорится в циркуляре, будет отныне составляться *без* учета потребностей какой-либо отдельной языковой секции или специфики страны, на которую ведется радиовещание, — а всё это отныне будет составляться в централизованном порядке, людьми, не имеющими ни малейшего понятия, где находится

Ленинград или Киев, а сотрудники секций будут всё это автоматически и дословно переводить. Никаких вольностей!

«Все это может означать одно, — пишет газета, — дирекция Радио Канада не желает мешать внутренней пропаганде в СССР и посему исключает из своих программ любой факт или идею, не дозволенную в СССР».

Что же случилось? Как же это вдруг Радио Канада из пайныки превратилось в антисоветского шалуна? Началось это года четыре тому назад, когда Радио Канада стало привлекать к работе эмигрантов из СССР последнего выпуска, которые несколько освежили содержание передач. В небольшое число «новеньких» попал и я, и в течение трех с половиной лет с переменным успехом составлял пресс-обзоры, обзоры новостей — ежедневно, и периодически, был автором передач о канадской молодежи и канадском сельском хозяйстве. Именно отход Радио Канада от «травоядности» в сторону большей информативности был началом нынешнего кризиса. По моим скромным подсчетам, за последние четыре года объем политически-значимой информации удалось расширить примерно в одиннадцать раз, вытеснив, соответственно, развлекательные и «овощные» передачи. Вот это-то и встревожило советские пропагандистско-диверсионные органы.

Канадская столичная газета «Оттава Ситизен» писала 18 декабря 1975 года о том, что посол СССР в Канаде А. Яковлев, бывший начальник Агитпропа, выразил недовольство содержанием и тоном передач Радио Канада, охарактеризовав их как «искаженную информацию и пропаганду». Вслед за этим неофициальным замечанием советского посла среди канадских чиновников началась паника. Сотрудники Министерства иностранных дел Канады потребовали от руководства Радио Канада отчета по поводу со-

держания некоторых передач. Руководство Радио Канада для составления такого отчета провело длительное и неуклюжее «расследование», обнаружив при этом, что, действительно, некоторые передачи можно с советской точки зрения расценить как «недружелюбные» — если, скажем, Радио Канада сообщает о демонстрации протеста канадских украинцев перед зданием советского посольства или если сообщает о протестах канадской общественности против въезда в Канаду группы врачей из института имени Сербского (это там, где пытаются медицинскими препаратами политически-инакомыслящих).

Руководству Радио Канада потребовалось всего пять-шесть месяцев, чтобы установить эти факты, вслед за чем и была введена вышеупомянутая цензура.

Естественно, встает вопрос: возможно ли такое в стране, считающей себя независимой и свободной? Мыслимо ли, чтобы радиовещательная станция Канады руководствовалась в своей работе неофициальными заявлениями посла иностранной державы, пусть даже дружественной? (Что в данном случае отпадает.) Как докатилась Канада до жизни такой? А вот здесь дозволейте сделать экскурс в историю.

Радио Канада, или иначе — Международный Отдел Канадской Радиовещательной Корпорации (Си-Би-Си) — был создан под эгидой Министерства иностранных дел Канады в 1945 году для того, чтобы рассказывать миру, как живется в Канаде, объяснять канадскую внешнюю политику и, учитывая «холодную войну» и «железный занавес», информировать людей, лишенных свободного доступа к нецензурированной информации, учитывая их положение, интересы и осведомленность о событиях в мире. Работа это нелегкая, требующая тщательной обработки и подбора материала. Поди Расскажи, к примеру, советскому колхознику, что такое государственная выплата для

сокращения производства мяса. Или советскому заключенному, что такое «хабеус корпус». Но работа шла, и шла неплохо.

Шло себе и время. Шла американская помощь разрушенным войной хозяйствам. Развивались страны, в том числе и Канада.

И вот в середине «сумасшедших» шестидесятых годов стало очевидным, что с ростом благосостояния и национального самосознания в такой стране, как Канада, почему-то наблюдается некоторый спад интереса и понимания по отношению к *народам* в странах с тоталитарным режимом при одновременном росте связей с их правительствами, центральными комитетами, генеральными секретарями. Созданный в 1945 году и разбухший к тому времени орган радиовещания стал мешать этим связям.

В 1967 году правительство Канады решило закрыть Радио Канада ради экономии средств. Было заявлено, что вещание на языках стран социализма обходилось канадским налогоплательщикам почти в четыре миллиона долларов в год. К чести налогоплательщиков следует отметить, что они оказались более политически сознательными, чем... этого можно было ожидать. В редакции канадских газет посыпались письма, в которых указывалось, в частности, что не следовало бы закрывать радиовещание на соцлагерь как раз в то время, когда поток пропаганды и дезинформации из лагеря социализма увеличивается. Отмечалось также, что многие рядовые граждане «оттуда» благодарны Радио Канада и желают ему процветания. Отмечалась и идеологическая важность вещания на соцлагерь: монреальская газета «Стар» в редакционной статье, озаглавленной «Глупая экономия», писала, что «... международное радиовещание — это часть обороны Запада». А обороняться-то ой как надо было! Вспомним, что созданное в 1961 году Агентство Печати Новости к 1967 году выросло почти вдвое



и заполонило своими сотрудниками (по совместительству сотрудниками КГБ) — все информационные отделы посольств СССР. К 1967 году было разоблачено в качестве шпионов и диверсантов по крайней мере с десятков сотрудников АПН, ТАСС, Московского Радио.

Возможно, учитывая всё это, правительство Канады, как говорится, «пошло навстречу пожеланиям трудящихся», и Радио Канада было спасено. Но Министерство иностранных дел с тех пор отмежевалось от своего детища, подчинив его формально дирекции Си-Би-Си непосредственно.

А затем произошло неизбежное: спасенное налогоплательщиками в 1967 году, Радио Канада стало быстро качественно деградировать, в то же время разрастаясь количественно. Этому способствовал целый ряд причин внешнего и внутреннего порядка.

Внутренние причины: бюрократизация, изолированность от общественности, прессы, академических кругов — круги были шибко заняты протестами против Вьетнамской войны, а пресса и общественность не понимали по-русски и не знали, чего там Радио Канада вещает на СССР, а Радио Канада им не говорило по простой и понятной каждому бюрократу причине: «так спокойнее».

Далее: отсутствие квалифицированных кадров и невозможность пополнения, пока не вымрут старые кадры (закон Паркинсона). Работники Радио Канада, как эмигранты, так и коренные канадцы, почти не заботились о повышении своего образовательного и профессионального уровня, сидя тепло и уютно, в то время как вокруг Си-Би-Си ходили стаями молодые выпускники канадских университетов, отлично владеющие русским и украинским языками.

Далее: в руководстве Радио Канада не наблюдается профессиональных журналистов. Всё это профес-

сиональные бюрократы, имеющие мало опыта работы в студии, за пишущей машинкой или с магнитофоном по городам и весям. От перемены мест таких руководителей ничего не менялось, кроме таблички на дверях. Ни один канадский начальник, насколько мне известно, не имеет четкого представления о положении в СССР, не получил высшего образования в области политических наук или «советологии», не удосужился толком изучить русский язык, не читает даже, простите, «Правды», не говоря уж про Самиздат, а стало быть — имеет весьма ограниченную возможность и способность направлять или редактировать тот материал, который готовится не более грамотными и, увы, стареющими эмигрантами. Сочетание безграмотного канадского бюрократа с обленившимся (а то и спившимся) в уютном и бесконтрольном офисе эмигрантом — самое пагубное для творческой журналистской работы, где, как говорится, надо «кипеть» и чтоб «ни дня без строчки».

Снижало качество передач и отсутствие «обратной связи». Радио Канада, ввиду скромности своего объема — полтора часа в день до недавнего времени — и по причине своей серости, оставалось долгие годы безответным, вещая как бы в пустоту. Согласитесь, это деморализует. Единственным критерием эффективности или качества были письма из СССР, причем было их мало, за исключением непродолжительного периода хрущевской оттепели, и писалось в них ни о чем, часто просили джинсы или почтовые марки — в общем, искренних и критических писем ожидать было наивно. Всякий, кто знаком с Уголовным кодексом РСФСР, статьями 64, 70, 75 (шпионаж, пропаганда, разглашение), — может легко себе представить, или припомнить из недавней истории СССР, что бывает за переписку с «враждебными органами», и как бы Радио Канада ни старалось быть «дружественной и объективной» радиостанцией, с точки зрения Агит-

пропа, — мы враги, пока не завещаем стопроцентную советскую пропаганду, что, кстати, уже близко.

Более того, часть писем, как хорошо известно сведущим, фабрикуется в отделе дезинформации разных комитетов для «увода» радиостанции от насущных вопросов. Вот, к примеру, пишут какие-нибудь товарищи из Воркуты, просят рассказать про растительность канадского Севера. Ничтоже сумняшеся редакторы Радио Канада занимают по 50% общего времени передачи рассказами о флоре и фауне канадского Севера, отнимая таким образом драгоценное время в эфире от более ценной информации — сколько, скажем, зарабатывает канадский эскимос-промысловик и почему парашуны в Инувике. Очень просто сбить с панталыку иностранную радиостанцию, если этого панталыку у станции мало.

Расслабляюще действовали на Радио Канада и некоторые внешние факторы. Вьетнамская война и рост канадского национализма вызвали усиление антиамериканских настроений, в то время как обмен визитами между Пьером Трюдо и Алексеем Косыгиным вроде бы содействовал «потеплению». Этот поворот Канады «к лесу задом, ко мне передом» особенно остро ощущается в период царствования Пьера Трюдо среди весьма важных государственных мужей. Бывший советник премьер-министра по делам топливных ресурсов и освоения Севера генерал (!) Ричард Ромер очень хорошо выразил перемену политических ветров в своем бездарном и маниакально-антиамериканском романе «Экзонерация». Сюжет романа сводится к тому, что США пытаются оккупировать Канаду и отобрать у нее нефтяные месторождения, и только телефонный звонок дружелюбного советского генсека президенту США, да еще советские атомные лодки в северной Атлантике спасают Канаду от оккупации. Если такой бред пишет советник премьер-министра Канады, если сам премьер-министр провозглашает здравицы

Фиделю Кастро в тот момент, когда кубинские интервенты бесчинствуют в Анголе, то что прикажете делать стареющему русскому эмигранту, сотруднику русской секции Радио Канада, ожидающему выхода на пенсию? Все это вместе взятое — внешнее и внутреннее — привело к поразительному равнодушию со стороны сотрудников Радио Канада к тому, *что* идет в эфир, *кому* это адресовано и *зачем* это передается. В ответ на мою просьбу организовать какое-то изучение запросов и интересов наших слушателей в СССР, мое канадское начальство ответило (перевод с английского): «Если им не нравится то, что мы передаем, пусть не слушают. Нам наплевать. We don't give a damn.

И вот в передачах на Советский Союз Радио Канада начало смело клеймить ЦРУ, изредка «для баланса» попискивая о КГБ, хвалить Ансамбль Моисеева, или Красной Армии, побывавший в Монреале, петь дифирамбы «чрезвычайно культурным» советским морякам, свободно обсуждающим политику и культуру с дружественными канадцами, иронизировать по поводу канадских евреев, «раздающих листовки в защиту своих единоплеменников», сюсюкать по поводу посещения одним из сотрудников Радио Канада военного парада на Красной площади, с любовью описывать крейсер «Аврора», славословить канадского коммуниста Нормана Бетьюна, погибшего в Китае во время революции, солидаризироваться с борьбой левых профсоюзов... Не подумайте, что всё это я «образно» обобщил. Нет, я цитирую совершенно конкретные программы канадского радио, переданные на русском языке для слушателей в СССР.

Самым выдающимся перлом, я считаю, было заявление Радио Канада о том, что убийство израильских школьников террористами в городке Маалот — цитирую дословно — *«сыграло положительную роль»* в ближневосточных событиях!

Естественно, что сотрудники Радио Канада из числа новых эмигрантов старались как-то противопоставить такому «детанту» и такому «обмену идеями» репортажи и передачи, содержащие иную информацию и иные точки зрения, — канадцев, безусловно, не свои. Корреспондент Радио Канада доктор Феликс Ярошевский, например, давал репортажи о демонстрациях протеста против притеснения инакомыслящих в СССР, интервью с борцами за гражданские права в СССР, очерки о жизни эмигрантов из СССР в Канаде, материалы Самиздата, короткие информативные зарисовки канадского быта, студенческой жизни, научной жизни в Канаде... в общем всё то, что советский посол назвал «дезинформацией и пропагандой».

После жалобы советского посла и после тревожного запроса канадского Министерства иностранных дел бывший директор программ на русском и украинском языке в своей объяснительной записке, попавшей в газеты, писал:

«Мы отлично понимаем, что нас обвиняют в ведении антисоветской пропаганды хотя бы в подборе наших материалов. Заметьте, однако, что мы стараемся сбалансировать естественным образом критику КГБ с критикой ЦРУ, Брежнева с Сахаровым, речи Трюдо с данными об инфляции...»

Канадский политический обозреватель Любор Зинк по этому поводу отметил:

«Чтобы осознать всю грандиозность этого идиотства, представьте себе, что в 30-х годах Радио Канада старалось бы «сбалансировать» канадскую полицию с гестапо. Так же нелепо балансировать ЦРУ с орудием кровавого тоталитарного террора — КГБ — повинного, по подсчетам Солженицына, в убийстве 66 миллионов людей в Советской России».

Вот как просто «расслабление», то бишь «детант», приводит к снисхождению к преступлениям против человечности. Вот как просто попасть в глашатаи Красного фашизма. Нынешний кризис на Радио Кана-

да не вызвал такого интереса у канадской общественности и в прессе, как это было в 1967 году. Разрядка медленно, но верно сделала свое дело: в среде канадских журналистов и общественных деятелей стало пропадать то, что здесь называется «интегри» — честность, порядочность, чувство меры, непредубежденность, сострадательность. На фоне общенациональных сдвигов по шкале моральных устоев, трагедия Радио Канада, возможно, не представляется такой большой. Известный антифашист, бывший советник Черчилля, «тихий канадец» сэръ Вильям Стефенсон, выступая в Торонто с речью в 1973 году, заявил:

«Мы мало знаем о коммунизме. Неведение порождает неуверенность и страх. Страх же не всегда вызывает панику и движение. Часто страх вызывает совершенно обратное — *апатию, расслабленность*».

## ВМЕСТО АВТОБИОГРАФИИ

3 июля 1977 г.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Пишет Вам некто Шуман, бывший агент АПН, бывший пресс-обозреватель Радио Канада, ныне — безлошадный одиночка и по совместительству — хулиган. Спешу изложить биографию:

ШУМАН Томас Давидович (по-настоящему: Юрий Александрович БЕЗМЕНОВ) — родился в подмосковном городе Мытищи, недалеко от железнодорожного переезда. Отец — военизированный орловский крестьянин-бедняк, дослужившийся к старости до полковника Генерального Штаба. Мать — дочь гениального житомирского хуторянина, смекнувшего что к чему до того, как его успели «раскулачить как класс», и подавшегося в красные хозяйственники. (Дед мой, кстати, умер в оккупированной Германии, верша «демонтаж» побежденных и грабимых заводов.) Говорят, что фамилия Безменов указывает на татаро-монгольских предков.

Поруганное войной детство прошло в эвакуации в Казахстане. Среднюю школу проходил в родном городе Мытищи. Тревожная комсомольская молодость совпала с десталинизацией, а в «нашей» Европе тем часом давили танками, чтоб не забывали, что к чему. Поэтому еще в школе я прославился перепиской с венгерскими школьниками, организацией кружка какого-то Петефи (кто такой Петефи я тогда и не знал, был уверен, что он антисоветчик), написанием сочинения о Горьком, где я позволил себе усомниться в ужасах капиталистического «дна», сравнивая ночлежников с обитателями нашего двора. Но благодаря папе я окончил школу не в колонии малолетних преступников, а с серебряной медалью, и тут же поступил в Институт восточных языков при МГУ на отделение Индии (сказались, видно, восточные предки и детство в Казахстане). В институте прослыл фигляром и опасно-несерьезным человеком за неуважительные пародии в адрес военной кафедры (святая святых в таких рассадниках идеологической диверсии и шпионажа, как ИВЯ при МГУ). Но опять мне сошло: распределили меня в ГКЭС (Госкомитет по экономическим связям) и отправили в Индию переводчиком при группе советских инженеров на стройках нефтезаводов. В Индии стал прозевать (если это нищета, то что же тогда у нас?). По возвращении был взят в Агентство Печати Новости — общественную и независимую от правительства организацию, как всем известно, но все стесняются задавать об этом вопросы. А еще через три года был направлен в Индию во второй раз, на пост «пресс-офицера» при советском посольстве, что в переводе на человеческий язык означает «совратитель индийской прессы на единственно-научный советский путь». Пошли коктейли, пропихивание совпропаганды, разложение братской страны. Чем это кончилось в 1975 году, известно не только Индире Ганди. Но к тому времени я был уже удравши, путем переодевания в хиппский длинноволосый парик и убийтия из Индии, от греха подальше. В Канаде с 1970 года. Четыре года преподавал русский язык и литературу в университетах Торонто и Монреаля, с 1972 года работал на Радио Канада обозревателем прессы и составителем обзоров политновостей. «Ушли» меня оттуда в 1976 году после нажима со стороны их превосходительства посла СССР в Канаде А. Яковлева — бывшего главы Агитпропа. Вот, пожалуй, и всё. Может быть, еще упомянуть, что будучи в АПН в Москве, работал по поручению КГБ с «прогрессивными» гостями агентства и до сих пор сохранил к ним глубочайшее презрение, видя, как они дешево продают свои народы нашей хунте за кусок цековской спецколбасы. Об этом настроил книжонку, да пока никто не печатает. Закончил детектив о своем побеге из Индии (издателям в США понравилось лишь то, что я бежал, переодевшись в хиппи — не всякий, мол, так остроумно бежит, другие, мол, просто прутся в американское посольство! Но просили убрать «идеологию». Вот им!

Вот и всё.

Спасибо за внимание и всяческого процветания «Континенту».  
С кап-приветом, Ваш искренне

*Томас Шуман*



# ИСТОКИ

Юрий Потебня

## ИЗ ПРОШЛОГО ДЖУГАШВИЛИ-СТАЛИНА

Прошло уже 60 лет с 1917 года, но ни история думского заговора и переворота, ни подлинная история захвата власти большевиками еще не написана и вряд ли вскоре будет написана — хотя бы потому, что многие материалы, хранящиеся в архивах Москвы и Ленинграда (если они не уничтожены), остаются недоступными не только для эмиграции, но и для советских историков. Зато мемуарной литературы, дневников и исторических исследований современников — от Маклакова и Валентинова до представителей новой эмиграции, лиц, бежавших из Советского Союза, и невозвращенцев — очень много. Часто они освещают совершенно неизвестные стороны революционных дней и жизни в Советском Союзе. Конечно, если какой-либо исторический факт упоминается всего у одного автора, его достоверность можно подвергнуть сомнению; но если сообщение советского невозвращенца подтверждается другим автором, оперирующим другими доказательствами и документами, свидетельство приобретает вес.

В 1953 г. в американском издательстве Рэндом-хауз вышла книга Александра Орлова (Кацнельсона) «Тайная история сталинских преступлений»\*. Автор — старый член партии, комиссар, начальник партизан-

---

\* The secret history of Stalin's crime. By Alexander Orlov. Random House, New York, 1953.

ского отряда в тылу армии Деникина, после Гражданской войны работал в системе ЧК-ОГПУ. Дослужился до высокого положения и в 1936 был командирован в Испанию для организации партизанских отрядов и учреждения, аналогичного ГПУ, в республиканских войсках. Там он пробыл до июля 1938, и, когда его вызвали в Москву в дни великих чисток, он бежал из Европы в Канаду, а потом переселился в США. Книгу о преступлениях Сталина он выпустил вскоре после смерти последнего.

На основании документов, собранных им во время службы в ОГПУ и вывезенных из Испании, он подробно описал возвышение Сталина и годы чисток. Орлов не описывает в деталях только дело Тухачевского, ограничиваясь коротким упоминанием, но добавляет, что «дело маршала Тухачевского» тесно связано с самой важной тайной Сталина, раскрытие которой могло бы пролить свет на многие, пока еще необъяснимые, действия диктатора.

Наконец, в апреле 1956 г. Орлов напечатал статью в журнале «Лайф», где рассказал о той самой тайне Сталина, на которую в книге только намекнул.

Осенью 1937 года, во время одной поездки в Париж из Испании, где Орлов был начальником разведки республиканской армии, он случайно столкнулся в советском павильоне Всемирной выставки со своим давним и близким другом Павлом Аллилуевым, братом жены Сталина.

«Он показался мне очень подавленным, и я предложил ему вечером встретиться, чтобы узнать, в чем дело. Мы долго гуляли по берегу Сены и закончили вечер в маленьком темном кафе».

Этот разговор, проходивший вдалеке от возможной слежки, всё время вертелся вокруг московских событий. Орлов спросил Аллилуева о предмете своего самого жгучего интереса — о расстреле Тухачевского и уничтожении командного состава Красной Армии.

«Задумавшись, он ответил мне, что никогда и ни при каких обстоятельствах я и пытаться не должен узнать какие-либо подробности об этом деле: знать это — всё равно что вдыхать отравленный газ. Через два года, уже в Нью-Йорке, когда я прочел краткое, без объяснения причин, сообщение о самоубийстве Павла, я понял, как много этого газа вдохнул он сам».

Орлов считает, что за пределами Советского Союза он — один из немногих, если не единственный, кто знает «подлинные причины уничтожения командного состава Красной армии». Речь идет о тайне, которая угнетала Сталина всю жизнь и была смертельно опасна для всех посвященных в нее и даже для тех, кого Сталин мог в этом заподозрить. Еще в книге Орлов написал, что, когда станут известны подробности дела Тухачевского, то миру станет ясно, что Сталин ведал, что творил: дело Тухачевского связано с главной тайной Сталина. В статье Орлов рассказывает, как он получил сведения об этом из самых осведомленных источников.

В сентябре 1936 Орлов был направлен в Испанию по распоряжению советского Политбюро. Он был тогда в чине НКВД, соответствующем генеральскому, и занимал должность советника по делам контрразведки и организации партизанских отрядов в тылу войск генерала Франко. Во время одной служебной поездки автомобиль Орлова потерпел аварию, и Орлов попал в госпиталь. Из испанского госпиталя он был перевезен в парижскую клинику, где пролежал около месяца. Это произошло в январе 1937 года.

В середине февраля его зашли навестить резидент НКВД во Франции Смирнов и двоюродный брат Орлова Зиновий Борисович Кацнельсон, только что приехавший в Париж. В 1937 году З. Б. Кацнельсон был помощником начальника НКВД Украины. Он был в чине командарма 2-го ранга, и у него было много друзей среди членов правительства, в том числе и

Станислав Косиор. Ему нередко приходилось встречаться и со Сталиным.

«Пока Смирнов оставался с нами, разговор не выходил за рамки обычного. Но как только он ушел, Зиновий высказал сожаление, что Смирнов знает о нашей встрече. Я не понял, почему эта встреча должна быть тайной для кого бы то ни было». В ответ двоюродный брат рассказал Орлову следующую историю.

Когда в Москве началась подготовка к первым показательным процессам, Сталин высказал Ягоде пожелание: хорошо бы среди других обвинений создать доказательства сотрудничества обвиняемых до революции с охранкой. Сталин предложил изготовить в НКВД подтверждающие это фальшивые документы. Ягода принял сталинское предложение как приказ, но он не был уверен, не возникнут ли сомнения в подлинности документов, и придумал другой план: разыскать уцелевших офицеров охранного отделения и, выставив их свидетелями, заставить дать нужные показания.

Этот план встретил неожиданные препятствия: часть офицеров погибла в первые дни революции, часть была расстреляна, часть ушла в эмиграцию, а случайно уцелевшие так растворились среди населения, что разыскать их, казалось, невозможно. Тогда Ягода решил проверить все сохранившиеся архивы охранки: Москвы, Ленинграда и некоторых губернских городов — и собрать данные о семьях этих офицеров.

Много документов было собрано еще при Менжинском, и вот этот-то архив поручили разобрать Штерну, помощнику начальника отдела, который готовил материалы для будущего процесса. В один прекрасный день Штерн наткнулся на изящную папку, в которой бывший директор департамента полиции Виссарионов держал свои личные, особо секретные дела. Просматривая бумаги, Штерн дошел до пачки с наклеенной на первом листе фотографией молодого Сталина. Решив, что это ценная историческая релик-

вия, Штерн хотел сейчас же отнести ее Ягоде, но по мере того, как он переворачивал страницу за страницей, его охватывал ужас. «Это были письма и рапорты, адресованные Виссарионову и написанные рукой самого Сталина, почерком, хорошо знакомым Штерну. Все эти бумаги действительно относились к Джугашвили-Сталину, но не к Сталину — революционерно-му деятелю, а к агенту Джугашвили — провокатору охранного отделения».

Несколько дней Штерн колебался, но потом решил показать документы начальнику Украинского НКВД В. Балицкому, члену украинского Политбюро, члену ЦК партии, своему близкому другу и бывшему начальнику. Они были друзьями еще со времен революции и вместе работали в НКВД. Балицкий был потрясен открытием не меньше Штерна и вызвал к себе Зиновия Кацнельсона. Исследовав качество бумаги, подлинность почерка и возраст документов, они убедились, что документы настоящие.

Из них следовало, что Сталин работал для охранного отделения вплоть до второй половины октября 1913 г. Все рапорты, датированные 1912-м, были посвящены членам революционных партий — депутатам 4-й Государственной Думы, в том числе шести депутатам-большевикам во главе с Романом Малиновским. (Малиновский, тоже агент охранки, был разоблачен после революции и вскоре расстрелян.) В то время как Ленин руководил партией из-за границы, Малиновский был его представителем в России и имел право кооптировать новых членов в Центральный комитет. Это и привлек Сталина в ЦК. Будучи в то время в Петербурге, Сталин не раз служил связным между Малиновским и Лениным. Несколько раз он был арестован, но всегда благополучно бежал с места ссылки. В начале 1913 г., после съезда в Кракове, Сталин, желая занять место Малиновского, послал на него донос через голову своего непосредственного начальника Виссарио-

нова прямо товарищу министра внутренних дел Золотареву. Но донос возымел обратное действие, и Сталин был сослан на четыре года в Туруханский край.

Эти-то сведения, заключающиеся в секретных документах Виссарионова, подлинность которых сомнений не вызывала, Штерн привез Балицкому. Тот поставил в известность наиболее влиятельных на Украине людей, своих ближайших друзей командарма Киевского округа Иону Якира и диктатора Украины, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Станислава Косиора. Круг посвященных в тайну расширялся. Якир полетел в Москву, чтобы сообщить эти данные Тухачевскому, а Тухачевский привлек командарма Корка и начальника Политотдела Красной Армии Гамарника.

«...11 июня 1937 г., на пути от французской границы в Барселону, я услышал по радио об аресте Тухачевского и нескольких командармов. На следующее утро советское радио сообщило о расстреле Тухачевского, Якира, Корка, Уборевича, Путны, Эйдемана, Фельдмана и Примакова. Позднее я узнал, что Штерн, первым ознакомившийся с документами, застрелился — так же, как и Гамарник. Косиор и Балицкий тоже были расстреляны. В середине июля до меня дошли известия, что та же судьба постигла и Зиновия, а о судьбе его жены и дочери я ничего не знаю и по сей день.

Зиновий еще в Париже говорил мне, что с найденных документов были сделаны фотокопии. Возможно, угрозами и пытками были вырваны показания о местах хранения некоторых экземпляров. Но, может быть, не всех — и даже подлинные документы могли где-то сохраниться».

\*  
\*  
\*

Учитывая, что Орлов — коммунист-антисталинец, его искренность и достоверность приведенных данных можно было бы поставить под сомнение, если

бы почти одновременно с его статьей не вышла в свет работа другого автора, известного американского публициста Исаака Дон Левина «Великая тайна Сталина»\*. Документальной основой для этой книги послужили другие материалы. Таким образом, два свидетельства взаимоподтверждаются.

Во время отступления Колчака в 1919-1920 г. г. к откатывающейся на восток армии примыкали гражданские беженцы и представители администрации сибирских районов и городов. Среди них были чины Енисейского охранного отделения, захватившие с собой часть архива. В бумагах этого архива, попавшего потом в Харбин и Шанхай, оказалось отношение заведующего особым отделом департамента полиции от 12 июля 1913 за № 2898 на имя начальника Енисейского охранного отделения. В этом документе, на котором стоит гриф «совершенно секретно», сообщается, что административно-высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, будучи арестован в 1906 г., дал начальнику Тифлисского губернского жандармского управления ценные агентурные сведения. В 1908 г. от Сталина получает ряд сведений начальник Бакинского охранного отделения, а по прибытии в Петербург Сталин становится агентом Петербургской охранки.

Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочной. После избрания его в ЦК партии (1913), Сталин, возвратившись в Петербург, прекратил связи с охранкой.

Этот документ, привезенный из Шанхая в США бывшим товарищем министра Сибирского правительства проф. Головачевым, был передан на хранение трем лицам: Вадиму Макарову (сыну адмирала), Борису Бахметьеву и Борису Сергиевскому, от которых

---

\* Stalin's great secret. By Isaac Don Levine. Goward-McCane, New York, 1956.

он попал в руки Исааку Дон Левину и послужил материалом для расследования того секрета, который с первых дней Октябрьской революции висел над всей жизнью Сталина.



# Наша почта

*Уважаемый г-н Максимэв!*

*В 11 номере журнала «Континент» опубликована статья известного публициста русского Зарубежья, как рекомендует его редакция журнала, Сергея Рафальского «Блезнь века». Основная мысль этой статьи — предпочтение содружества народов национальной обособленности — достаточно элементарна и навряд ли может стать началом плодотворной и конструктивной дискуссии. Однако тон статьи и ее аргументация скорее могут служить разъединению, чем объединению народов. Я не буду рассматривать все положения статьи, коснусь лишь наиболее близкого мне русско-еврейского вопроса.*

*Автор нижеследующих строк вырос в Советском Союзе, окончил его высшие учебные заведения (два), занимал хорошее (намного лучшее, чем отец) место и теперь стал настоящим израильским гражданином. На этом основании патриот Сергей Рафальский отказывает мне в праве любить Россию и вмешиваться в русские дела. Г-н Рафальский удивлен и возмущен: «В каком смысле советский («русский») «империализм» задевает интересы Израиля?» Отвечаю: в самом прямом и непосредственном смысле. По сей день в Синае и на Голанах ржавеют остовы танков советского производства и по сей день в израильских школьников стреляют из автоматов «Калашников». Тем не менее я не смеиваю советский империализм (без кавычек) с Россией и с русским народом.*

*Точно так же, как Сергей Рафальский считает необходимым объявить, что в его жилах нет ни капли великорусской крови, и поэтому его нельзя обвинить в великорусском шовинизме (как будто мало было «истинных» русских патриотов нерусского происхождения), я должен признаться,*

что во мне 100% еврейской крови. Но в России меня никто не задел, не обидел, не притеснял и не оттеснял и, следовательно, по этой причине я не могу испытывать неприязнь к моей бывшей родине. Я уехал из России потому, что там сейчас нечем дышать (как еврею, так и нееврею), и приехал в Израиль потому, что я еврей не только по крови, но и по самосознанию. Разумеется, немалую роль в моем решении сыграл и советский антисемитизм. Выпускник юридического факультета Сергей Рафальский в лучших традициях лучших антисемитов обвиняет в советском антисемитизме самих русских евреев: «Но спрашивается — о чем же думали их отцы и деды, которые... совершили, мощно поддержали и укрепили октябрьскую революцию, утвердили новую власть и стали ее элитой, ее правящим слоем? ...Как допустили, чтобы вместо братского общения, без различия вер и наций, в этой стране дошли до зоологического антисемитизма? Кто виноват — варварский народ или та новая элита, которая решила, что раз черта оседлости уничтожена, ей остается только стричь купоны с широко открывшихся возможностей?»

Трудно сказать, чего в этих словах больше — злобы или невежества. Патриот Сергей Рафальский даже не замечает, что в пылу обличения евреев он оскорбляет русский народ. Придется мне как русскому еврею (мое израильское гражданство не мешает мне оставаться русским евреем) выступить в защиту русского народа. Бывшему студенту Санкт-Петербургского университета должно было быть известно, что крещение Руси состоялось еще в X веке. Что после этого русский народ создал замечательную культуру. У русского народа есть великие достоинства и великие недостатки, но варварским его называть нельзя. И не оскорбительно ли для русского народа мнение, что самая крупная в его истории революция была совершена и утверждена инородцами? Однако оставим эмоции и перейдем к фактам. Евреи действительно принимали активное участие в Октябрьской революции. Но только потеряв чувство меры можно утверждать, что они ее совершили. Степень участия

*евреев в русской революции можно указать довольно точно. Она равна 14%. Такова была доля евреев в руководящих органах РКП(б). Так что мы принимаем вину только на 14%. Остальное, извините, не наше. К тому же еврейские коммунисты участвовали в революции не в качестве евреев, а как интернационалисты. И с чисто интернациональной неразборчивостью расправлялись как с сионистами, так и с социалистами, как с раввинами, так и со священниками. И о какой еврейской элите, о каком еврейском правящем слое идет речь? Это жидо-большевики, что ли? И какие купоны стригли еврейские врачи, инженеры, артисты, литераторы? Русская интеллигенция еврейского происхождения — это наша заслуга перед русским народом, которая давно перевесила вину евреев времен революции. Не следует забывать, что мы дали России не только Троцкого, но и Мандельштама.*

*Запрещая «настоящим, бывшим или несбывшимся на половине пути израильским гражданам» судить о русских делах, г-н Рафальский берет на себя смелость указывать нам на арабский вопрос. Он повторяет арабский тезис о еврейской колонизации Палестины. Интересно бы знать, знаком ли г-н Рафальский с Библией? Или с историей? Хотя бы с таким фактом, что в 1911 году (во времена турецкого владычества и до декларации Бальфура о Национальном очаге для евреев в Палестине) в Иерусалиме евреи составляли 66% его населения? И может быть, арабский вопрос не был бы таким зловеющим, если бы не вмешательство великих держав? И не лучше ли вместо того, чтобы пугать нас напиряющими арабскими миллионами, подумать о напиряющих китайских сотнях миллионов, для которых арабские десятки миллионов являются естественными союзниками?*

*Несмотря на все старания юдофобов русского и нерусского происхождения, им не удастся поссорить евреев с русским народом. Тому порукой то, что израильтяне распевают русские песни, что все без исключения произведения Александра Солженицына переведены на иврит,*

*что моя дочка в израильской гимназии изучает русский язык и русскую литературу. И я надеюсь еще посетить свободную Россию, где у меня найдется намного больше друзей, чем у г-на Рафальского.*

*С глубоким уважением*

1. 7. 77

*Б. Шарир*

ШАРИР (Шрайбман) Бенъямин Михайлович — родился в 1931 г. в семье мелкого коммерсанта в г. Галац (Румыния). С 1940 по 1974 проживал в СССР. Окончил физико-математический факультет Черновицкого университета в 1953 г. и факультет усовершенствования инженеров Московского энергетического института в 1961 г. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал зав. лабораторией Научно-исследовательского института в Ленинграде. В феврале 1974 г. репатриировался в Израиль. В настоящее время проживает в Беер-Шеве и работает исследователем в университете Негева им. Бен-Гуриона.

# Литература и время

Герман Андреев

## В стране строго алогичной закономерности

### *1. Пути постижения антимира*

«Зияющие высоты» — произведение огромного значения для русской литературы. После Е. Замятина («Мы») лишь Орвелл пытался (и небезуспешно) нарисовать современное тоталитарное общество в форме фантастического романа. Однако оба они, уловив некоторые существенные признаки тоталитаризма, не вышли за пределы того жанра, который принято называть антиутопией. А чтение антиутопии всегда оставляет у читателей (даже ибанских) приятное сознание нереальности изображенного. Книга Зиновьева — не антиутопия, вообще не утопия и вообще не анти. Это исследование действительности, а не фантастическое изображение выдуманного государства из деталей, пусть найденных в государствах реальных. У Замятина и Орвелла господствует остраение. Эта позиция не нужна Зиновьеву. Автор «Зияющих высот» — сам житель Ибанска. Он не видит в этом мире ничего странного, как не видят ничего удивительного в размножении способом деления организмы, таким образом воспроизводящие потомство, даже если они слышали, что существует более приятный способ продления рода.

А. Зиновьев рассмотрел функциональное устройство Ибанска энциклопедически разносторонне в книге, которая любому жителю иного мира (просто мира —

в сопоставлении с «антимиром» Ибанска) может показаться переполненной гротесковыми картинами. Однако ибанец видит в книге блестящий юмор, но отнюдь не сатиру, ибо сатира предполагает искажение и преувеличение, а перед нами произведение реалистическое до натурализма. Если реализм, по ибанским литературным теориям, изображает жизнь в форме самой жизни, то у Зиновьева — антижизнь в форме антижизни, что то же самое.

Если рецензенту разрешено выражаться, подражая автору, то можно сказать, что ибанская действительность (антижизнь) развивается по строжайшим в своей нелогичности логическим законам антилогики. Антилогика — это ведь не разоблачение логики, как нейтрон не есть разоблачение позитрона. Разоблачители ибанской системы нередко клеймят ее за отсутствие в ней логики. Книга же Зиновьева — апология антилогики, поскольку эта антилогика достаточно строга. Как говорит Шизофреник: «Я не питаю к нашему изму ни любви, ни ненависти... Я отношусь к нему иначе: я его понимаю».

В истории ибанистики и измологии не было еще книги, которая давала бы такой логически завершённый и тематически полный анализ ибанского антимира, такую «энциклопедию ибанской жизни». В книге изображается жизнь героического рабочего класса, который в лице хлеборубов и Токаря-Универсала заверяет «любимое и мудрое руководство и нашего любимого и гениального Заведующего лично в том, что мы верим даже в то, во что на самом деле не верим, и выполним всё, что на самом деле не выполним»; о трудовом ибанском крестьянстве мы узнаём из истории жизни Крикуна, несколько напоминающей путь Гриши Добросклонова и дающей автору возможность описать жизнь в ибанских дармохозах; скрупулезно описаны и ибанская интеллигенция, и правительственные органы, и просто Органы; школа вообще и специальная

школа для высокоодаренных детей начальства; проанализирована деятельность театра на Ибанке и различных НИИ; читатель присутствует на торжественных открытиях памятников изму, вроде мраморного Сортира, и на встречах иностранных друзей Ибанска, например — короля Ломай-Сарай-Кирпич-Углы, который «повел свой давно вымерший народ сразу к полному изму, минуя все промежуточные ступени» и довел своих подданных до такой свободы, что их «без визы теперь даже за бананами на дерево уже не выпускают»; упоминается посещение иностранными журналистами космодрека и неизвестное в мире, но весьма распространенное в антимире средство массовой информации срамиздат; дается классификация ибанских наук на естественные и неестественные (юмористически называемые в Ибанске общественными и являющиеся светским филиалом Органов); мы узнаём о быте и делах ибанской армии во время войны и в мирное время; не обойден автором и ибанский быт, и ибанские кусочные; автор проникает в мастерскую скульптора Мазилы, которого иногда «для неузнаваемости» обозначает термином «ЭН»; есть в книге даже сообщение о своеобразном ибанском гимне без слов и без музыки, который «исполняется молча, стоя руки по швам до тех пор, пока не поступит распоряжение посадить всех». Словом, не позавидуешь человеку, который рискнет обвинить А. Зиновьева в том, что он чего-то недоучел, что-то упустил из виду, где-то не расставил нужных акцентов или не показал руководящей и направляющей роли Братии.

Но главное в том, что все пестрые картины ибанской жизни вправлены в строгие рамки антилогикки. Как, по утверждению Болтуна, сказал бы Шизофреник: «Если какой-то факт нашей жизни поражает тебя несоответствием здравому смыслу, ищи в нем закономерную социальную основу». Алогические законы ибанского общества неизбежно, в строгой зависимости

от «самой сути социального бытия людей в существующих в высшей степени благоприятных для этих явлений условиях», и вызывают, и объясняют все факты ибанской жизни.

Книга Зиновьева настаивает на необходимости отказаться, в целях строгой научности, от представлений об ибанском обществе как обществе больном. Больное общество хромает и спотыкается, задыхается и жалуетя на тягостную ситуацию. Общество, которое вверх тормашками семимильными шагами движется к зияющим высотам изма, — не больное, а нормально перевернутое. «Как исследователь, — говорит Болтун, — я убедился в том, что наше общество не больное. Оно здоровое. Но у него свое представление о здоровье и болезнях». «Если хотите научиться понимать нашу жизнь, — вторит ему Неврастеник, — научитесь сначала ходить вверх ногами». И нет ничего удивительного, что в этом обществе называют Клеветниками, Шизофрениками, Болтунами и Мазилами людей, рассматривающих его с позиции ходящих вниз ногами.

Как отвращение к насилию онтологически присуще миру, так же онтологически присуще антимиру насилие, потому ибанцы «никогда не воспринимают его как насилие». Борьба и подавление — твердое основание ибанского образа жизни. Если бы не было врагов, если бы некого было разоблачать, громить, уничтожать — Ибанск не прожил бы и одного дня. В этом смысле есть, казалось бы, некоторое противоречие в стремлении ибанцев к псизму — полному социзму. Ведь если псизм восторжествует на всей планете, не станет врагов — смерть для Ибанска. Но автор заверяет ибанцев, что руководство и при псизме не растеряется. «Последующая история Ибанска» дает богатейший материал для футурологов и, в частности, напоминает о создании Неприсоединившейся Буржуазно-Демократической Республики в два квадратных



метра (для ведения клеветнических передач и для высылки оппозиционеров).

## 2. Элементы сатиры в «Зияющих высотах»

Книга А. Зиновьева — образец адекватного подхода художника к действительности: «Бессмысленно за Полярным кругом искать очаги субтропиков». Но читателям из анти-антимира (попросту, нормальным людям) может показаться, что в «Зияющих высотах» им демонстрируют манипуляции с известными по мировой сатире предметами (кстати, в таком смысле истолкована книга в кратком предисловии на крылышке обложки). Глядя на обычное фотографическое изображение, они видят прием, ибо трудно поверить в существование общества, последовательно развивающегося по законам, которые кажутся гротескными, карикатурными, пародийными.

Конечно, элементы сатиры, родство книги с мировой сатирической кладовкой бросается в глаза: веет чем-то знакомым — историком города Глупова Щедриным, бытописателем города N и его окрестностей Гоголем, исследователем Океании Орвеллом, обличителем Единого Государства Замятиным, утопистом Фурье, путешественником Свифтом. Но элементы сатиры не дают основания определить книгу в целом как сатирическую. Дать жанровое определение книги, выходящей за рамки поточной литературной продукции, вообще трудно: чем талантливее книга, тем менее податлива она литературным дефинициям. «Начиная от «Мертвых душ» Гоголя до «Мертвого дома» Достоевского в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного произведения, немного выходящего из посредственности, которое вполне укладывалось бы в форму романа, поэмы или повести» (Лев Толстой. Несколько слов по поводу книги «Война и мир».)

Александр Зиновьев, философ и логик, удивительно тонко чувствует художественную форму и выламывается из привычных конструкций как смелый, опытный писатель. Как говорит Учитель, «если есть что сказать значительное, о форме не думают. Она приходит сама собой. Причем — адекватная содержанию». Структура антимира, железобетонная связь между всеми элементами жизни ибанского общества диктуют форму, где лирика и сатира, быт и научный трактат, комедия, доходящая до фарса, и трагедия, обретающая черты кошмара, сухие логические построения и глумливая похабщина — сливаются в неразделимое целое настолько, что проникают друг в друга, подчас незаметно для читателя меняясь местами. Есть в книге и сквозные сюжеты (история жизни Крикуна, духовные искания Мазилы), есть множество вставных эпизодов, изображающих отсеки ибанского бытия, есть песни и анекдоты, молитвы и проклятия, памфлеты и фантазмагии. Эта композиция есть адекватное выражение композиции ибанского общества: многообразие и причудливые формы элементов, составляющих гармоническое целое дисгармонической ибанской жизни.

Когда читаешь книгу А. Зиновьева, думаешь о неизбежности, органичности ее появления. Кажется, дух «Зияющих высот» давно носился в обществе. Нужен был лишь кто-то, обладающий таким редким сочетанием качеств, как холодное беспощадное рации и страстное сердце, знание самых отвлеченных философских понятий и конкретно-чувственной жизни ибанца, неисчерпаемый юмор и чувство вкуса, не позволяющее этому юмору перейти в хохмачество, независимость суждений и способность впитать в себя самые разные теории ибанского общества, наконец — владение русским языком на всех его уровнях; нужен был кто-то, кто обладал бы такими свойствами, чтобы книга состоялась. В Александре Зиновьеве воплотились те чер-

ты русской культуры, которые дали ему возможность подвергнуть анализу антикультуру ибанского типа. Разумеется, где-то в подсознании, как результат читательского опыта, у А. Зиновьева остались образы сатирических книг прошлого, но писал он, несомненно, не под их влиянием, а просто с позиций человека культуры, рисуящего перевернутый, абсурдный для него мир, осознаваемый им, однако, как неабсурдный с точки зрения законов этого мира.

Именно этот подход вызывает такое количество сатирических образов и парадоксальных построений, своеобразие которых в том, что они не выдуманы автором, не сконструированы им. Он их честно списывает с природы, разве что иногда доводя до абсурда. Но и это не прием, а фиксация абсурдности ибанской действительности. «Раз враг ругает, значит хорошо. Враг не любит наши успехи. Если враг хвалит, значит что-то неладно. Боже упаси от похвал врага!» Ну, есть ли в этом рассуждении что-то гротескное? Нормальная система логики общества, сплошь окруженного врагами. Потому и продолжение этого силлогизма столь же логично, как и абсурдно: «И ибанские обществоведы делали всё, что в их силах, чтобы враг их не похвалил. И добились в этом выдающихся успехов».

Этот прием кажущегося доведения до абсурда того, что содержит абсурд в самом тезисе, очень часто употребляется автором «Зияющих высот». Но ведь приема нет, это читательский опыт усматривает прием, а на самом деле это просто пересказ общеизвестных положений ибанской идеологии и фактов ибанской истории.

Что будет с борьбой противоположностей при победе псизма? Каждый ибанский школьник ответит, что «тогда будет иметь место борьба хорошего и еще лучшего. Еще лучшее будет побеждать хорошее. Стоит появиться чему-нибудь хорошему и даже очень хорошему, как немедленно в борьбу с ним вступает еще

лучшее и побеждает его». Где тут пародия? Школярски точный пересказ известного ибанского принципа. И столь же фактографична дальнейшая информация: «Появлялась, например, мало-мальски терпимая картошка. И тут же с ней начинала борьбу еще лучшая. Прежняя исчезала совсем. А пока новая внедрялась, ее вытесняла еще лучшая. И так без конца».

Столь же необычен гротеск у А. Зиновьева. Гротеск в его классическом виде — фантастически преувеличенное, переходящее границы правдоподобия изображение человека или явления. «Сближая далекое, сочетая взаимоисключающее, нарушая привычные представления, гротеск в искусстве родственен парадоксу и логике». (Л. Е. Пинский. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961, стр. 120). Но как писатели эпохи Возрождения, так и русские сатирики XIX века обнажали гротескное во внешне благопристойном. Зиновьеву это не надобно: гротеск в жизни Ибанска занимается стриптизом, самообнажается. «Грани начали стирать еще при Хозяине. Но вплотную подошли к полному стиранию их только теперь... Первым делом стерли грани между городом и деревней. В результате деревня частично сбежала в город, а частично встала в очередь за маслом, яйцами, кильками и другими промышленными товарами в городских магазинах. И стоит там до сих пор... Потом стерли грани между умственным и физическим трудом. В результате талантливые ученые стали зарабатывать почти столько же, сколько уборщицы, маляры и дворники... ..взялись за стирание граней между мужчиной и женщиной. Женщинам разрешили носить брюки, пить коньяк, ругаться матом и управлять государством... В конце концов, признали и бороды, так что по внешности мужчин и женщин различать стало невозможно... Поскольку началась кампания против бюрократической волокиты, возникла острая проблема: у мужчин отрезать или женщинам пришивать. Началась борьба, в которой,

как всегда, победила генеральная линия». Всё гротескно — и всё обходится без авторской фантазии, без преувеличения. И парадокса как литературного и логического приема здесь нет.

### 3. *Логика и дуболектика*

Глубокое заблуждение некоторых ибанологов — думать, что антимир развивается хаотично, что у него нет строгой идеологической основы. Люди ходят вниз головой не потому, что им никто не объяснил неудобств такого способа передвижения, а как раз наоборот: потому что доказано, что этот способ — самый лучший. Антинаучному объяснению антинаучного положения при ходьбе служит в антимире антилогика, называемая в Ибанске то дьяволектикой, то дуболектикой, а то — ишь ты, совсем по-русски — диалектикой. Диалектике противостоит логика. Логика обслуживает науку и мораль, диалектика — идеологию и моральный релятивизм. (Идеология — это ибанская антинаука.) Логика независима от групповых интересов — для диалектики нет истины, независимой от них. «Научность, — писал в своей книге Клеветник, — представляет элемент и средство антисоциальности, тогда как антинаучность есть ярчайшее выражение социальности».

Логика подчиняет человека высшим ценностям — диалектика служит для подчинения высших ценностей удобствам человека. Ибанск потому-то и перевернутый мир, что в нем наверху человек, а внизу растаптываемый в грязи Бог и связанные с ним высшие ценности, в то время как в нормальном мире над всем должен царить Бог, диктующий людям логику подчинения высшим ценностям («Да-да, нет-нет, а остальное от лукавого»), человек же обращается к небу и там ищет Истину, по словам Н. Бердяева — «смиряться перед ней».

Диалектическая логика, правилам которой подчи-

нены рассуждения и поступки ибанцев, предопределила ибанский конформизм. Согласно логике (и христианской морали) свобода — это свобода: «Не делайтесь рабами человеков» (Апостол Павел. Первое послание коринфянам, VII, 23). Согласно диалектике — это подчинение необходимости, то есть несвобода. Один из арестантов в книге А. Зиновьева возражает диалектике: «...свобода есть как раз не необходимость, а обходимость; а познанная или непознанная, кто ее знает; непознанная отчасти лучше; пока начальство не пронюхало, например, что можно обойти проходную и безнаказанно смыться в самоволку, мы хоть иногда свободны».

Диалектика ибанцев нашла свое ярчайшее выражение в их языке, подтвердив тем самым соображение К. Маркса, что язык есть материализованная мысль. Книга представляет читателю различные структурные типы воплощенной в языке ибанской диалектики. Мы укажем лишь на те, которые наиболее выразительно иллюстрируют мысль Маркса. Часто ибанский язык отражает диалектическое изменение отношения ибанского начальства к различным фактам науки, искусства и истории Ибанска: в Ибанске «воздвигли десять новеньких живописных церквей 10 века и ранее» или «...как установила передовая буржуазная лженаука кибернетика, недавно перешедшая на нашу службу...» Некоторые фразеогаммы отражают диалектику взаимоотношений формы и содержания в ибанской жизни: «Ряд домов, одинаковых по форме, но неразличимых по содержанию» — здесь противительный союз «но» четко фиксирует противоречивый характер диалектического закона единства противоположностей. К этому же виду относится тезис о «типичности исключения» в ибанской литературе.

Закрепил ибанский язык и превращение ибанского общества из классового в общенародное. Это выразилось, в частности, в том, что отдельные фразы обры-

ваются, ибо каждый ибанец знает, чем заканчивается предложение типа «Мерин послал его на»; искусствоведы Ибанов и Ибанов написали книгу «Формалисты на службе у», Социолог — серию статей «о руководящей роли», а Приветственная Телеграмма выражает радость «по поводу досрочного перевыполнения по почину и инициативе». О морально-политическом единстве ибанцев, о разрушении классовых различий между ними свидетельствует и такое явление ибанского языка, как мат, который до революции употреблялся лишь в среде угнетенного класса, намеренно содержавшегося угнетателями в полной темноте, а теперь стал языком общения всех классов ибанского общества вплоть до рафинированной интеллигенции.

#### *4. Тотальная социальность и автономия личности.*

Представление о безусловной автономии личности от общества, даже если признать его не бесспорным, радикально противостоит ибанской идеологии. Правду сказать, утверждение примата личности над правами общества никогда не было господствующим ни на Западе, ни там, где сейчас разместился Ибанск. Однако Ибанск потому представляется антимиром, что в нем осуществляется тотальное подавление, тотальная социальность, как говорится об этом в «Зияющих высотах». Социально организованный ибанский антимир сближается с крысиной стаей: чем социальнее ведут себя ибанцы, тем больше они теряют свой человеческий облик — законы социальности не очень-то отличаются от законов стадности.

Чтобы люди отказались от своих прав и согласились стать подопытными животными, нужны определенные предпосылки, которые, как сообщается в «Зияющих высотах», в Ибанске были созданы: ибанцев убедили, что они выше всех остальных жителей вселенной, «за исключением тех, кто последовал их примеру», притом выше не по «реакционной биологи-

ческой природе, ...а благодаря прогрессивным историческим условиям, правильной теории, проверенной на их же собственной шкуре, и мудрому руководству, которое на этом деле собаку съело». Ибанец выше всех других людей не по личностным свойствам, а благодаря принадлежности к ибанской социальности. С этого момента возникает ибанское антиобщество, состоящее из индивидов, которые даже менее индивидуальны, чем жители замаятинского Единого Государства. Там жителей хоть по номерам различают, а здесь все Ибановы, и в какой-нибудь воинской части старший лейтенант Ибанов воспитывает курсанта Ибанова и доносит майору Ибанову о своих успехах, а жизнь этой части описывает знаменитый писатель Ибанов («Ибанов — это литературный псевдоним; настоящая его фамилия — Ибанов»).

Согласившись отказаться от своей личности, ибанец, естественно, передал решение всех жизненных задач руководству и стал «слепоглухонемогоглупым». Всякая попытка ибанца выступить не от имени группы, а от самого себя, рассматривается как поступок враждебный. Во всяком случае известен факт, когда «одного ведущего ибанолога расстреляли только за то, что он употребил выражение С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».

Но вот Шизофреник определяет ценность человека прямо противоположно тому, как эта ценность определяется в Ибанске: «Люди хороши только тогда, когда они из этих ячеек (ячеек социального организма — Г. А.) вылезают на то или иное время». Так что человек талантливый, когда он «не играет в их игры», становится личностью, а не Ибановым (Шизофреником, а не Мыслителем). В Ибанске же ценность человека определяется его преданностью той социальной ячейке, куда его поместило начальство, в соответствии с щедринской поговоркой: «Всяк сверчок знай установленный для тебя начальством шесток».



Такое общество можно было бы назвать обществом всеобщего равноправия, если бы оно состояло не из людей, согласившихся уподобиться крысам, а из настоящих крыс. Но поскольку людские особи отличаются одна от другой определенными личностными свойствами, то Болтун, например, считает Ибанск обществом, где равенство не осуществлено. В естественном мире неравные права естественно неравным личностям создают действительное равенство. В антимире естественно неравные особи объявляются равными во всем, а потому социальное положение этих особей перестает зависеть от их личных свойств, и так возникает действительное неравенство. «Выход один, — говорит Болтун, — восстановить справедливое неравенство путем создания условий повышения социальной позиции индивидов за счет личных способностей. Но это противоречит самой идее иерархии, априори исключающей различие личных достоинств индивидов», иерархии, которая выдвигает индивидов с наиболее сильным (как у крысиных вожаков) социальным инстинктом, а к человеческой личности подходит с позиций шигалевщины.

### *5. Основы надежды*

Александр Зиновьев написал книгу, которую можно было бы назвать и сатирой (поскольку ибанский мир представлен в ней как антимир, то есть мир уродливый на нормальный глаз), и поэмой (так как в ней воспеваются душевные порывы и высокие мысли наиболее благородных жителей Ибанска), и философской прозой на манер вольтеровских повестей, и социологическим исследованием, и собранием баек наподобие немецких шванок, и натуралистическим повествованием о прозе жизни. Наличие всех этих элементов и заставило нас отказаться от регистрации книги А. Зиновьева по разряду «произведения сатирического жанра». Сатирик, как известно из учебников теории

литературы, выражает свои положительные мысли негативно, через отрицание уродливых, по его мнению, явлений жизни. Н. В. Гоголь назвал свои «Мертвые души» не сатирой, а поэмой, потому, в частности, что там, помимо упреков, брошенных России, содержится и гимн ее величию. Гоголь верил, что Россия мертвых душ будет преодолена Россией субстанциональной, порывом славянской души, с ее широтой и удачью. Поэма возникла как выражение неестественности, нелогичности существования мертвых душ в Богом избранном народе.

А. Зиновьев никаких противоречий, никакой неестественности в Ибанске не нашел. Ибанская душа не дает ему такого утешения, как русская душа — Гоголю: «...ибанская таинственная душа — это лишь ибанский общеизвестный бардак, возведенный в энную степень, перенесенный в ибанскую голову, но не преобразованный в ней», — говорит Шизофреник. Исследование Ибанска, осуществленное Шизофреником, приводит Мазилу к грустным выводам: «...твои суждения мне кажутся слишком беспощадными. Не остается иллюзий».

Но сама книга А. Зиновьева в целом — основа надежды: вырывая из сознания иллюзии, надежды на осуществимость перемен в условиях ибанского антимира, она оставляет надежду на его интегральное преобразование в нормальный мир. Если антилогика (дуболектика, изм) осуществила свой убедительный эксперимент построения Ибанска, логика должна послужить делу его разрушения. Человечество, говорит Болтун, «в гигантских масштабах обдумывает свой прошлый опыт, теперешнее состояние и перспективы. И потому оно, естественно, необычайно много говорит на эту тему. Если хотите знать, дело говорения сейчас может быть поважнее, чем космические полеты и физические исследования». Болтун (как и сам Зиновьев) не утопист: он не видит в логике чудо-рецепта,

он знает, что «глас человека, призывающего к логическому порядку, есть глас вопиющего в пустыне», но «если есть какая-то маленькая надежда хотя бы в ничтожной степени, но повлиять на размышления людей о своей жизни и судьбах человечества путем логической обработки языка, ее надо использовать». Логике нет альтернативы, как нет альтернативы гласу «не убий!» Если люди хотят отказаться от насилия, у них остается один путь — путь правды, изложенный языком так называемой формальной логики. И обратно — только этот путь может привести человечество к безусловному принятию истины ненасилия.

Непонятым, запутанным кажется ибанский мир тем, кто или не владеет элементарными логическими правилами, или боится применить их при анализе ибанской действительности (предпочитая всё сваливать на «таинственную ибанскую душу»). Именно это имеет в виду Неврастеник, когда говорит Журналисту: «Наши самые страшные драмы разыгрываются у всех на виду. Это наша обыденная жизнь. Любое собрание. Любое заседание. Любая речь. Любая газета. Смотрите. Читайте. Слушайте. Это и есть наша реальная жизнь, а не маскировка и обман. Обмана нет. Обманываетесь вы сами по вашей доброй воле. Вы видите то, что хотите видеть, ибо всему придаете какой-то смысл. А смысла никакого нет». Неврастеник пытается объяснить заблуждения западных наблюдателей: они знают законы логики, но не используют их в Ибанске, почему-то не веря в их силу при подходе к ибанской действительности: «Вы рождаетесь, растете и живете в атмосфере здравого смысла, а попадаете к нам — от него ни крупинки не остается». Западные ибанологи, забывая здравый смысл, всё гадают о тайнах Ибанска, а тайны лежат на поверхности, и понять их просто для того, кто применяет законы логики к любой ситуации. Болтун без хвастовства обещает: «Если бы начальство предложило мне для нужд

государства построить научную теорию нашего общества, пусть секретную, я знаю людей, с которыми мы это сделали бы за пару лет».

Таким образом, научная, то есть логически разъясненная теория ибанского антимира уже существует в головах ибанцев. Однако публике мешают ознакомиться с ней ибанские правила информации. И, наряду с логикой, Зиновьев предлагает в качестве важнейшей позитивной идеи — гласность. Казалось бы, какая банальность! Гласность? Только и всего? Но в гласности не только писатель Александр Зиновьев, а, как теперь обнаруживается, и многие государственные мужи, которым никак нельзя отказать в трезвости мысли, видят тот самый рычаг, которым можно перевернуть ибанский мир с головы на ноги. Один из героев «Зияющих высот» уверен, что держит в руках ключ к решению всех проблем ибанского общества. Ключ этот — «гласность, ее правовое обеспечение и как следствие этого начало нравственного совершенствования общества». Заведующие Ибанска ничего так не боятся, как гласности. Это их самое больное место, «и в это больное место надо бить, бить и бить, не забываясь о последствиях и о будущем... Нужна гласность. Любой ценой. В любой форме и прежде всего во вне. Мир должен знать, что мы такое».

Казалось бы, нет ничего нового или оригинального в призывах к логике и к обнародованию логических рассуждений. Но что есть оригинального в области морали и свободы после, например, Евангелия? Там всё сказано: и насчет правды, и насчет логики. Но общество, которое подменило эти старые истины новыми неправдами, нуждается в возвращении к истокам. Книга А. Зиновьева практически зовет ибанцев к этим истокам христианской морали. «Настоящая мораль, — говорит Уклонист, — всегда неофициальна. Она всегда одна. Она либо есть, либо ее нет. Она не имеет никаких основ, кроме решения отдельных инди-

видов быть моральными. Она тривиальна по содержанию, но невероятно трудна в исполнении. Не доноси, держи слово, помогай слабому, борись за правду, не хватай хлеб первым, не перекладывай на других то, что можешь сделать сам, живи так, будто всегда и всем виден каждый твой шаг, и т. п.»

Приведенный пассаж, может быть, свидетельствует о религиозности автора. Точнее было бы сказать, что атеизм представляется Зиновьеву худшим из двух зол: веры в Бога и неверия в Него. Как Крикун, он не верит, но хочет верить, хочет, чтобы Бог был:

Я кричу, я воплю:  
Отче!!  
Не молю, а требую: Будь!!  
Я шепчу,  
Я хриплю,  
Будь же,  
Отче!!!  
Умоляю,  
Не требую:  
Будь!!!!

Просит Бога помочь сыну бедная ибанская крестьянка: «Только помоги ему. Это моя жизнь. Это мука моя. И Твоя тоже, Господи. Что Ты без него!» И сам он молит Бога: «Приди же, в конце концов! Без Тебя тут так трудно!» Особое место среди персонажей книги занимает внезапно появляющаяся и так же внезапно исчезающая, почти трансцендентностью овеванная фигура Посетителя. А величайшая заслуга Правдеца, по словам Болтуна, в том, что «он принес в наше общество хотя бы крупицу Бога».

Ибанское общество безрелигиозно, а потому и безнадежно. Идеология не стала и не могла стать религией, ибо, как говорит болтун, «религия есть факт сознания, существенным образом влияющий на поведение людей. Это состояние духовности человека в

целом», а идеология — «лишь средство в поведении людей. Средство карьеры, средство закрепощения, ограничения, оболванивания и т. п. Она не становится внутренним состоянием человека, определяющим его поступки». Если А. Зиновьев и не знает Бога Сущего, он знает религию как воплощенную нравственность. Если этот человек строго логического мышления и верит в Бога, то не в церковного (для этого логики недостаточно — нужно Откровение), а в близкого толстовскому Богу. Потому-то один из любимых его героев, Крикун, парадоксально называет себя «верующим безбожником».

И в отношении к науке А. Зиновьев разделяет моралистическое учение Льва Толстого. При всем своем западничестве, он не видит в науке как таковой той силы, которая преобразует общество. Наука и искусство без определенного нравственного содержания не могут стать основой надежды: «Человек — это, между прочим, честь, совесть, стремление к свободе выбора, к свободе перемещений, к свободе творчества и т. п., — говорит Болтун. — Как тут участвуют развитие науки и техники? Они тут совсем не при чем».

Интеллигенция, носительница общественного сознания, определяет естественное стремление человека к свободе. Признание закона необходимости на словах и — что еще недопустимее — на деле есть философское оправдание апологетичности, а следовательно, исключает человека из числа интеллигентов: «...все разговоры о целесообразности, нуждах и т. п. суть лишь демагогическая форма для карьеристов, стяжателей, невежд, бездарностей», — говорит Неврастеник. Через всю книгу проходит яростное отрицание этих самых законов целесообразности, необходимости, которые для автора суть синонимы рабства. «Когда люди захотели наплевать на законы тяготения, — говорит Посетитель, — они изобрели самолет».

Те, кто проповедует непреодолимость неких законов необходимости, отнимают у людей всякое желание противостоять антимииру. Изменить его может только борьба людей, готовых на жертву во имя преодоления «законов необходимости»: «Люди, сжигающие себя на площадях, кончающие жизнь самоубийством, объявляющие голодовку, сочиняющие свои глупые книжонки... делают нашу историю». Как Лев Толстой, Александр Зиновьев возлагает надежды на людей, отказывающихся от соучастия: «Всё зависит от того, — говорит Мазиле Болтун, — сколько людей, где и когда скажут свое «нет». Это основа основ. На другое надеяться бессмысленно. Другого просто нет в природе общества и человека».

Высшая Логика человеческого разума и человеческого Духа требует от людей «нелогичного» поведения — единственного способа утверждения Свободы и преодоления алогичной закономерности.

**Книготоварищество**  
**«МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ»**

(Тель-Авив, п/я 23121)

*Выпущено в свет:*

**А. Воронель · Трепет забот иудейских**

Книга А. Воронеля — известного ученого и одного из руководителей еврейского национального движения в СССР — представляет собой философскую автобиографию, в которой воспоминания о жизненном пути перемежаются размышлениями о сущности и роли науки в современном мире, о природе человека и демократии и, прежде всего — о путях и судьбах еврейского и русского народов в их трагическом противостоянии и религиозном противоборстве.

**Н. Воронель · Прах и пепел**

Сборник пьес, распространявшихся в еврейском Самиздате в СССР, а позднее, после репатриации автора в Израиль; с успехом прошедших на американской сцене. Пьесы Н. Воронель с фотографической языковой и бытовой точностью воссоздают картину бездуховной и мрачной советской действительности.

*Находится в печати:*

**И. Рубин · Поэзия. Критика. Проза**

Публикации безвременно скончавшегося в феврале 1977 г. в Израиле поэта и эссеиста Ильи Рубина, впервые объединенные в этом сборнике (ранее они распространялись в еврейском Самиздате в СССР или были рассеяны в израильских журналах), открывают читателю широкий круг интересов этого талантливого автора. Яркое критическое дарование и блестящая эрудиция сочетаются в его творчестве с бескомпромиссной нравственной позицией. Философские, религиозные и культурные проблемы современности, находящиеся на стыке христианского и еврейского миров, — таковы главные темы этой книги.



## *Колонка редактора*

### МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ — ЧЕЛОВЕК И АРТИСТ

*Пятьдесят лет для музыканта-исполнителя — пора зрелости, главное, можно сказать, только начинается, а позади у этого замечательного артиста уже в с е наиболее значительные международные награды за исполнительскую деятельность, всеобщее признание и мировая слава. Пожалуй, нет в современном мире сколько-нибудь известного музыкального центра, где бы не чудодействовали волшебный смычок или дирижерская палочка Мстислава Ростроповича. Недаром, в какой бы аудитории он ни выступал, зал встречает и провожает его стоя.*

*И это не только дань необыкновенному таланту исполнителя, но и долг благодарности человеку, жизненный и творческий путь которого являет собою пример гражданского героизма и сердечной самоотверженности. Когда вокруг Александра Солженицына сомкнулось кольцо официальной блокады, и большой русский писатель оказался в опасности, одним из первых на помощь ему поспешил Мстислав Ростропович, заплатив за это сначала потерей концертной деятельности, а затем и узаконенным изгнанием из страны.*

*Но и оказавшись за рубежом, великий артист не изменил себе, своему признанию, своей совести, своему сердцу. Огромная творческая занятость не мешает ему оставаться для окружающих прежним Славой, двери дома которого всегда открыты всякому, кто нуждается в добром слове и конкретной помощи. Десятки благотворительных концертов, данных им в пользу нуждающихся, оставляют о нем благодарную память в самых разных концах нашей планеты.*

*Изгоняя Мстислава Ростроповича из страны, советские власти надеялись, что оказавшись вне родных стен и собственной аудитории, он задохнется, иссякнет как артист и творец. Но, кровно связанный питательными корнями с взрастившей его почвой, он не только выстоял, а еще более расцвел, сторицей возвращая ей ее материнские дары.*

*Как говорится, дай тебе Бог еще два раза по столько, Слава!*

От редакции:

Ниже мы публикуем список наград, почетных званий и профессиональных титулов, которых Мстислав Ростропович удостоен у себя на родине и за рубежом. Этот список, на наш взгляд, может служить весьма красноречивой иллюстрацией не только жизненного пути великого артиста, но и наглядным свидетельством гражданского становления его личности.

1. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. 1945.
2. Лауреат Международного конкурса в Праге. 1947.
3. Лауреат Международного конкурса в Будапеште. 1949.
4. Лауреат Международного конкурса виолончелистов в Праге. 1950.
5. Заслуженный артист РСФСР.
6. Народный артист РСФСР.
7. Профессор Московской консерватории.
8. Почетный профессор Ленинградской консерватории.
9. Медаль «За победу над Германией».
10. Медаль «За освоение целинных земель».
11. Медаль «800 лет Москвы».
12. Медаль «Столетие Ленина».
13. Народный артист СССР.
14. Лауреат Сталинской премии.

15. Лауреат Ленинской премии.
16. Почетный профессор Кубинской национальной консерватории.
17. Медаль «За развитие культуры Токио».
18. Медаль музыкального общества в Триесте.
19. Медаль «100 лет Пабло Казальса».
20. Медаль города Иерусалима.
21. Медаль города Тель-Авива.
22. Золотая медаль города Марселя.
23. Золотая медаль города Дижона.
24. Золотая медаль города Афин.
25. Золотая медаль города Парижа.
26. Почетный гражданин города Лилля.
27. Почетный гражданин штата Огайо (США).
28. Почетный член Дома Бетховена в Бонне.
29. Приз «Корона Франции 1975 года».
30. Премия Сименса (ФРГ).
31. Почетный член Английской королевской академии музыки.
32. Золотая медаль Британского филармонического общества.
33. Почетный член Римской академии «Санта Чечилия».
34. Почетный член Академии наук и искусств (США).
35. Почетный член Шведской королевской академии.
36. Премия Международной Лиги Прав Человека за 1975 год.
37. Почетный доктор музыки университета Сен-Андрюс (Шотландия).
38. Почетный доктор изящных искусств Сассекского университета (Англия).
39. Почетный доктор музыки Хартфордского университета (США).
40. Почетный доктор музыки Филадельфийского Кёртисского института.
41. Почетный доктор музыки Гринвильского колледжа (США).
42. Почетный доктор музыки Харвардского университета (США).

43. Почетный доктор музыки Йельского университета (США).
44. Почетный доктор музыки Принстонского университета (США).
45. Почетный доктор Права университета Монитоба (Канада).
46. Почетный президент ассоциации Нью-Йоркских виолончелистов.
47. Почетный доктор музыки Браун-университета (США).
48. Кавалер ливанского ордена Кедр.
49. Кавалер греческого ордена Феникса.
50. Командор французского ордена Литературы и Искусств.

# Критика и библиография

## «МАТРЕНИН ДВОР» В ИТАЛИИ

В прошлом году в Италии, в Милане, возникло новое и необычное издательство. Необычно уже само название издательства — «Матренин двор». Необычна и форма издательства — это издательский кооператив, созданный группой частных лиц, не примыкающий ни к одному из крупных издательских трестов, не ставящий себе целью получать прибыль от продажи книг, построенный лишь на принципе самокупаемости. Необычен и репертуар: все книги, выпускаемые этим издательским кооперативом, посвящены России и русским проблемам.

Кооператив создан группой лиц, интересующихся Россией, более того, влюбленных в нее и болеющих о ней душой. Все они: университетские профессора, журналисты, издательские работники, ученые — каждый в своей области давно уже занимаются русскими проблемами, изучают русскую культуру, следят за развитием событий в России. Толчком к созданию издательства послужило созревшее у них убеждение, что в России сегодня совершается важный процесс духовного и культурного возрождения, что процесс этот наталкивается на противодействие советских властей, а носители новой, альтернативной, неофициальной культуры подвергаются жестоким преследованиям, и что поэтому долг всех, кому дорога свобода и правда, помогать русским свободомыслящим (я чуть было не сказал «инакомыслящим», но вовремя спохватился — ведь сегодня в России достаточно быть просто мыслящим, чтобы уже тем самым быть и «инако»). Отсюда и название издательства — «Матренин двор». Подобно тому, как простая русская крестьянка Матрена дала приют великому и гонимому русскому писателю, так и это издательство хочет стать прибежищем для всех тех, чьи голоса душатся на родине. И это относится не только к ныне живущим, но и к

тем представителям русской добольшевистской (и антибольшевистской) культуры, чьи имена старательно вычеркнуты властью из русской истории (а долгое время были даже вычеркнуты из памяти новых русских поколений), но к кому сегодня с особой жадностью вновь припадает молодежь в поисках живого слова и истинного ответа на мучительные проблемы бытия. И этот смысл тоже отражен в названии: крестьянка Матрена, сумевшая сохранить душевную чистоту в удушающей атмосфере бесчеловечного тоталитаризма, была для русского писателя символом неумирающего народного духа и тех национальных традиций, которые десятилетиями выкорчевывались, но которые тем не менее все еще составляют ядро русского национального характера и основу будущих надежд. Сегодняшнее культурное возрождение в России есть как раз плод неумершей исторической преемственности, свидетельство жизнестойкости русского духа, который так и не смогли убить десятилетия бездуховного, смертоносного одичания и разлагающей лжи.

И наконец, есть еще третий смысл в этом эмблематичном названии. Солженицын был одним из первых русских свидетелей, рассказавших Западу правду о советской жизни. Сегодня на Западе стало модой говорить и писать о советских «диссидентах», но редко можно встретить подлинное понимание этого феномена, который чаще всего освещается на Западе поверхностно и лишь в одном его политическом аспекте. Группа «Матренин двор» как раз и ставит себе задачу вскрыть глубокие философские, этические, духовные и культурные корни современного русского движения протеста, этого русского «сопротивления». И работа эта очень важна для сегодняшнего Запада, и особенно для сегодняшней Италии, где с каждым днем утрачиваются идеалы и ценности великой культуры прошлого и где всё большее распространение приобретают те же самые дешевые соблазны и та же самая демагогия, которым Россия отдала уже свою кровавую и страшную дань. Как грозное предупреждение, пробудившее многих здесь, в Италии, прозвучали слова Андрея Синявского, произнесенные им на итальянском телевидении: «Я пришел из вашего будущего».

Книги, выпускаемые новым издательством, подразделяются на три серии: «Свидетельства», «Исследования» и «Русские пропилеи». В серии «Свидетельства» публикуются

документы (разумеется, главным образом, документы сам-издата), свидетельства о фактах, событиях, людях. В этой серии вышли уже две книги. Первая из них — «Хроника литовской католической церкви». В сборник вошли первые десять номеров «Хроники», охватывающие период с марта 1972 по май 1974 года. Хроника эта (возникшая как литовский отголосок московской «Хроники текущих событий», многие номера которой уже переведены на итальянский) — документ, ознакомиться с которым очень полезно многим итальянским католикам, примыкающим к движению «Христиане за социализм», голосующим за коммунистов и не верящим «буржуазной пропаганде» о преследованиях Церкви и верующих в Советском Союзе. Если они не верят «пропаганде», быть может, поверят голым фактам. Фактам, леденящим душу и не требующим никаких комментариев. Фактам, из которых вырисовывается потрясающая картина героической и трагичной борьбы маленького народа за свою культурную и духовную независимость.

Вторая книга в этой серии — «Свидетельские показания о нарушении прав человека в Советском Союзе, собранные Трибуналом Сахарова». В этой книге опубликованы тексты 24-х свидетельских показаний, заслушанных Международным Трибуналом Сахарова на заседаниях в Копенгагене с 17 по 19 октября 1975 года. Среди прочих здесь показания писателя и церковного деятеля Анатолия Эммануиловича Левитина-Краснова, прошедшего много лет в сталинских, а затем в брежневских концлагерях; Виктора Балашова и Рейзы Палатник, недавно вышедших из советских лагерей и рассказавших об условиях заключения в советских тюрьмах и лагерях; Виктора Файнберга, прошедшего долгие годы в специальной психиатрической больнице за участие в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года и рассказавшего о преступной практике советских властей заключать здоровых людей за их убеждения в сумасшедшие дома; Марии Синявской, жены писателя Андрея Синявского, рассказавшей о тяжелой участи семей политических заключенных; баптиста Джерарда Гамма и пятидесятника Евгения Бресендена, рассказавших о преследованиях верующих в СССР; литовца Симаса Кудирки, украинца Андрея Зваруна, армянина Эдуарда Оганесяна, поволжского немца Давида Классена, крымской татарки Мафузе Джесур, еврея Леонида Забелы-

шенского, говоривших о национальных преследованиях в СССР; а также показания о нарушениях многих других человеческих прав: о принудительном труде, о разжигании идеологической ненависти, об административном произволе и т. д. Предисловие к книге написал Владимир Максимов. Он рассказывает о том, как возникла, еще во время его пребывания в Москве, идея создания Международного Трибунала Сахарова. «Видимо, эпоха и время сами продиктовали современности необходимость подвести итог злодеяниям международного тоталитаризма и определить, наконец: кто есть кто в нашем яростном мире», — пишет Максимов. Действительно, если Международный Трибунал Рассела, видящий насилия и преступления лишь в Чили и Аргентине, при диктатурах одной лишь определенной окраски, страдает дальтонизмом, то настало время для создания иного трибунала, который осудил бы преступления красного тоталитаризма.

В этой же серии выйдет в скором времени сборник документов об использовании в Советском Союзе психиатрии в целях расправы с инакомыслящими. В сборнике будут письма протеста, заявления, свидетельства и воспоминания лиц, подвергшихся психотеррору.

К годовщине смерти Юрия Галанскова будет выпущена посвященная ему книга, в которую войдет также и переведенный на итальянский язык его «Человеческий манифест». Подготавливается к печати также книга Александра Солженицына «Диалоги с будущим. Речи и интервью», в которой будут собраны наиболее интересные выступления Солженицына на Западе.

Во второй серии — «Исследования» — издаются книги советских независимых (неофициальных) исследователей или западных ученых о тех аспектах советской истории и советской жизни, которые обходятся молчанием или извращаются официальной советской печатью. В этой серии уже вышла книга американского священника отца Алесслио Флориди «Москва и Ватикан». Отец Флориди исследует политику Ватикана последних лет, направленную на «разрядку напряженности», политику «диалога» с Москвой, начатую при папе Иоанне XXIII и продолжаемую папой Павлом VI, политику, которая вначале породила у многих на Западе большие надежды и ожидания, а затем столь же большое разочаро-



вание. «Диалог» оказался односторонним: уступки и компромиссы со стороны Ватикана и бескомпромиссное следование своим корыстным целям со стороны Москвы. Флориди дает очень интересный очерк истории отношений между Кремлем и Ватиканом с момента установления советской власти до наших дней, приводит ряд любопытнейших и малоизвестных фактов о закулисной стороне отношений Кремля и Церкви. В книге также дается интересный анализ позиции советских диссидентов по отношению к политике «разрядки». Предисловие к книге Флориди написал Михаил Агурский (уже после выезда на Запад), он развивает затронутую Флориди тему «разрядки».

Вторая книга этой серии — «Вольная русская литература» автора этой рецензии (итальянское заглавие — «Другая литература. Литература самиздата от Пастернака до Солженицына. 1957—1976»). Готовятся к печати: «Наказанные народы» Александра Некрича (исследование, написанное историком еще в Советском Союзе, тайно вывезенное им на Запад и представляющее собой первую попытку пролить свет на сталинский геноцид, депортации целых народов), «Очерки о русской святости» Ивана Кологривова, «Русское религиозное возрождение XX века» Николая Зернова и «Технология власти» Абдурахмана Авторханова.

В серии «Русские пропилеи» публикуются уже ставшие классическими работы великих русских философско-немарксистов конца прошлого — начала нашего века, работы, спрятанные в Советском Союзе в «спецхранах» и выдаваемые лишь немногим верным слугам режима, но зато широко распространяемые самиздатом. Каждой из этих книг, публикуемых в серии «Русские пропилеи», предпосылается большое предисловие, написанное кем-либо из советских диссидентов, и этим подчеркивается идейная преемственность и связь нынешнего русского культурного возрождения с русским религиозно-философским ренессансом начала века. Первое место в этой серии заняла по праву книга Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». По праву, ибо Бердяев — сегодня, пожалуй, самый актуальный и самый читаемый русский философ. Достаточно вспомнить о «Бердяевском кружке» в Ленинграде, репрессированном КГБ. Замечательно предисловие к книге, написанное А. Колосовым (видимо, псевдоним) и тайно пересланное из Совет-

ского Союза. В нем самиздатский автор с большой пронизательностью анализирует те аспекты книги Бердяева, которые актуальны для нас и сегодня, и очень убедительно говорит об универсальном значении русского опыта и русского коммунизма. Настоящее издание книги Бердяева представляет собой первый перевод на итальянский этого произведения с русского подлинника. Как известно, работа Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» была издана сначала по-английски, в 1937 году, и тогда же она была переведена на итальянский с английского, но теперь то издание стало уже библиографической редкостью.

Вторая книга, вышедшая в серии «Русские пропилеи» — это «Переписка из двух углов» Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона. Книга эта, изданная в 1921 году еще тогда свободным издательством «Алконост» (на обложке читаем вызывающее: «Петербург 1921», а вовсе не Петроград) в количестве 2000 экземпляров, сразу же вызвала огромный интерес в России и за границей, была переведена на многие языки. О ней высоко отзывались Мартин Бубер и Габриэль Марсель. Сегодня книга снова привлекает к себе интерес на Западе и в России, ибо она оказывается снова актуальной во всякую кризисную эпоху, когда со всей остротой ставится проблема соотношения культуры и свободы, культуры и веры. Очень квалифицированное предисловие написано Алексеем Рудневым (тоже, видимо, псевдоним). Настоящее итальянское издание книги снабжено также интересным приложением: впервые публикуется большое письмо Вяч. Иванова французскому критику Шарлю Дю Бо. В 1931 году Шарль Дю Бо попросил Вяч. Иванова разъяснить, изменились ли за прошедшие после выхода «Переписки из двух углов» 10 лет его взгляды на затронутые в книге вопросы. Иванов ответил критику очень интересным письмом, которое должно было быть опубликовано в итальянском издании «Переписки из двух углов» в 1932 году. Но по личному указанию Муссолини публикация эта была запрещена. Фашистский режим в то время стремился избегать всяких полемических высказываний в адрес советского режима. Запрещено было Иванову фашистскими властями также и преподавание русской литературы во Флорентийском университете, где ему собирались дать кафедру.

В серии «Русские пропилеи» готовятся к печати «Умозрение в красках» Евгения Трубецкого, «На весах Иова» Льва Шестова и «Христианство и классовая борьба» Николая Бердяева с интереснейшим предисловием Евгения Вагина, одного из основателей подпольного Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа, проведенного в лагерях восемь лет и недавно выехавшего на Запад.

Издательство «Матренин двор» в своей работе сталкивается с большими трудностями. Главная трудность — пространство. Молодой издательский кооператив не располагает средствами для широкой рекламы своих книг, нет у него и своей сети магазинов по всей стране, как у крупных издательств. При большой конкуренции, когда десятки издательств непрерывно наводняют книжный рынок массой новых книг, без рекламы и без широкой информации никому не известному издательству очень трудно найти своего читателя. Члены кооператива вложили все небольшие имевшиеся у них средства в издание первых книг, и только после продажи этих первых публикаций, вернув обратно вложенные деньги, они смогут приступить к печатанию других запланированных книг. Какое-то время, пока издательство не завоюет признание компетентных читательских кругов, ему придется вести суровую борьбу за существование. Но первые результаты обнадеживают: уже продано более половины тиража первых шести книг (а некоторые из этих книг распроданы полностью). Россия и русские проблемы (которые так или иначе оказываются и проблемами мировыми) вызывают сегодня большой интерес, и по-настоящему глубокое и интересное освещение этих проблем (а таким, судя по началу, будет лицо этого издательства), надеемся, будет оценено по достоинству.

*Юрий Мальцев*

## ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО

Слово поэта смутно и невнятно для многих. Но оно может заключать в себе целый мир. Мир распахнутый и весенний, мир горький и безмолвный. Доказательство тому — стихи большого украинского поэта Василя Голобородько.

В ту пору, когда я мучился над вопросом,  
Почему груша имеет форму груши,  
А яблоко — форму яблока,  
Я слышал, как за стеной водили коня, —  
Равномерный цокот его копыт,  
Похожий на то, как идут часы,  
И шарканье сапог коновода,  
Который, нарушая ритм копыт,  
Покашливал — наверно, курил махорку.  
Я не знал, что там собираются делать —  
Может, зарезать коня,  
А может, украсть на нем чужую жену  
Или просто поехать в лес по дрова.  
Но это топотанье коня было долгим и нудным,  
Как часы,  
И я подумал: не часы ли это ходят за стеной?  
А потом уразумел,  
Почему груша имеет форму груши,  
А яблоко — форму яблока \*.

Мир может открыться человеку внезапно и неожиданно: хирургу, читающему Пушкина перед тяжелым операционным днем; инженеру, и в картинной галерее не забывающему о замучившей его технической проблеме. Самые, казалось бы, далекие вопросы оказываются непостижимо связанными, и человек часто постигает глубины мудрости через поэтическое восприятие, путем поэта. Не случайно две великие империи донынешней истории — Китайская и Британская — в пору наивысшего своего расцвета и могущества воспитывали своих будущих политических деятелей на поэзии и мистике.

---

\* Стихи В. Голобородько даются в переводе Э. Райса.  
Василь Голобородько. Літноче віконце. Париж, 1970.

Не случайно советская власть с такой последовательной злобой преследует именно поэтов (она и к прозаикам не благоволит, но поэтов уничтожает с особым тщанием). Ей удалось снизить легальную культуру с уровня мировых проблем до куцей житейской практики. Но дух умереть не может — он жив, существует и властно заявляет о себе в новом поколении художников. И вот мы получаем возможность прочесть зачарованные строки:

Отец, почему ты не дома?

Зачем ты в земле?

Я не вспашу земли — тебе будет больно!

Я не сяду на трактор — тебе тяжело будет!

Я не скошу пшеницы — это ж твои волосы!

А девочки боятся ломать калину — говорят, это твои  
руки.

А колодцы зарастают — ты ими смотришь...

Отец, зачем же ты в земле?

После первого перехвата дыхания, уже поняв: мы нашли большого поэта, — читаем дальше:

Девчонки сказали: мы — дождь.

Поснимали с себя все одежды

И развесили по веткам —

Чтоб деревья оделись.

Потом взяли за руки

И пляшут на тропинке.

Если прислушаться —

Слышишь лопотанье их ног.

Все умирающее или исчезающее — для Голобородько просто растворяется в природе:

...А ты — как вода речная,

Ищу для тебя кувшин —

А ты уже — лес,

А ты уже — поле,

А ты уже — дорога.

Поэзия Голобородько обладает свойствами, почти исчезнувшими из современной лирики: неподдельной простотой, первозданной свежестью, живым ощущением таинственности и многозначности всего сущего.

Его имя стало известно на Западе в 1970 году, когда в Париже был издан на украинском языке сборник «Летящее окошко». До выхода в свет этого сборника стихи Голобородько изредка появлялись в советской периодике, но с тех пор — вот уже шесть лет — о нем ничего не слышно. Заставили ли его замолчать? Или написанное им просто еще до нас не дошло? Как бы там ни было, мы можем сказать, что в украинской литературе появилось по-настоящему крупное, значительное имя.

До него, в начале шестидесятых годов, в пору весьма относительной оттепели, на Украине появилось несколько талантливых поэтов. Один из них — Василь Симоненко — потом покончил жизнь самоубийством. Два других — Иван Драч и Виталий Коротич — предпочли официально санкционированное благополучие и стали киевскими Евтушенками. Быть может, самый замечательный из этого поколения — Григорий Кириченко — совершенно исчез из виду, во всяком случае, на Западе ничего о нем не известно.

Зато дошедшие до нас произведения Лины Костенко и Игоря Калынца свидетельствуют о зрелом таланте. Они несомненно успели сформироваться как крупные творческие индивидуальности — но официальная литература предпочитает их не замечать.

Василь Голобородько имеет самое прямое и непосредственное отношение к новому слову украинской поэзии. Яркость его образов, их естественность, их неожиданная и обезоруживающая простота напоминают деревенский домотканый ковер, пахнущий травами:

...А однажды сюда пришел человек  
И весь стал голубой водой,  
И стояла вода в хате целый год,  
А потом вытекла через окна и двери  
Неторопливым и тихим шагом.

Многие из стихов Голобородько трудно назвать иначе, как фантастической идиллией. С удивительной естествен-

ностью переходит его стих из реальности в фантастику — невозможно уловить эту границу. И фантастика эта — совсем особого рода: она — первозданное понимание смысла вещей и понятий. В ней нет ничего надуманного или изобретенного, она — простое отождествление человека с природой, частью которой он и на самом деле является.

В творчестве Голобородько происходит парадоксальное на первый взгляд слияние столь противоречивых стилей, как сюрреализм и фольклор. Тем не менее оно вполне законно.

Если у народов Западной Европы, с их старой, превосходно разработанной и глубоко усвоенной стихотворной традицией, сюрреализм сыграл разрушительную роль, то у народов, менее искушенных в литературных изысках и не оторвавшихся еще в такой степени от глубоко народных фольклорных корней, сюрреализм раскрепощает творческую фантазию, освобождает стихи от несвойственной их природе жесткой логики и словесной казуистики.

У Голобородько это соединение фольклора с сюрреализмом является органическим поэтическим дыханием, чистой гармонией:

...А я стою за деревом и думаю: как же мне быть,  
Чтоб про меня люди знали теперь, — если я дождь?  
Ведь дождь — тогда только дождь, когда в длинные .

волосы

Вплетает подсолнухи.

Голобородько всегда нащупывает тему в ее вечном, общечеловеческом аспекте, что и свидетельствует прежде всего о масштабности его поэтической личности. Как осязаема и объемна во многих его стихах радость бытия, так и отразившаяся в его поэзии человеческая трагедия выходит за рамки одного только личного опыта.

В «Балладе о кровавых соловьях» — образ неостановленной крови, которой истекает мир.

...Зашелестели деревья:  
— Что же мы стоим?  
Давайте закрывать раны  
Да не выпускать кровавых соловьев!  
Начали кидать в раны:

Кто — сорочку,  
Кто — яблоко,  
Кто — хату,  
Кто — перекресток дорог,  
Кто — шар земной, —  
Все равно вылетали кровавые соловьи...

В «Приметах подражания» — предчувствие апокалипсического ужаса («Бойтесь прихода нечеловека!»): «Все подумают: вот сильная, настоящая личность, которая покорила весь мир. А это будет нечеловек, и он скоро размножится, искоренит всех настоящих людей и только себя одного будет называть настоящим человеком». Хотя поэт говорит об этом в будущем времени, нам, знающим историю, этот тип «нечеловека» знаком. Образ проецируется и на прошлое, и на будущее сразу, и простота, даже детскость стиля умножает впечатление ужаса от грядущего разложения человеческой личности. Голобородько не любит ничего называть прямо — это ему чуждо по самой сути, но мы чувствуем, что он имеет в виду, говоря, что надо «и день, и ночь кричать по радио о преждевременных гробах». Вот образ действительности, окружающей поэта:

Мы платим за светлейшее будущее,  
За двузначную цифру — и ходим голыми...  
А разукрашенное ярмо все давит и давит,  
И даже у раскаленной печки — холодно.

То же — в другом стихотворении:

Строим высотные здания,  
А вот крылья — не получаютя.

Искривление человеческой личности, ее несоответствие изначальному естеству вызывает у Голобородько глубокую печаль. Не презрение, не осуждение — только горькую ноту человека, не умеющего быть слепым:

Отвеку хотел он ракушкой стать,  
Чтоб прилипнуть к корабельному днищу;



И ракушкой стал он, и так прилип,  
Что оторвать никому невозможно.  
И никто не сказал ему, что он — не ракушка,  
Что сам он — корабль в этом море.

Голобородько не только не обвинитель — путь добра и к добру видит он в одном лишь прощении, т. е. в самом добре, неделимом и неподдельном:

- На тебе хлеба, сынок, — сказали слезы.
- Да ведь я же убил вашего батьку!  
А слезы ему — хлеба краюху.
- Не ты убил нашего батьку.
- Я насильовал ваших женщин!  
А слезы ему — хлеба краюху.
- Не ты насильовал наших женщин.
- Я спалил ваши белые хаты!  
А слезы ему — хлеба краюху!
- Не ты спалил наши белые хаты...

Зло — больше злодея, говорит нам поэт. И отмщение злу — в добре, в прощении. Конец зла — в добре. Это звучит так неожиданно в нашем полном зла мире! Так может писать только тот, кто знает цену страданию.

Многие стихи Голобородько начинаются с самых простых земных ситуаций. Но в какой-то момент, как в сновидении, в эту простую, свежую жизнь проникает трагическое, кровавое, даже чудовищное начало, и всё становится кошмаром. Так, например, происходит в его замечательном стихотворении «Катерина», которым открывается парижский сборник. Его рефрен напоминает плач:

Черные птицы свили гнезда в моих глазах,  
Черные птицы кричат в моих глазах,  
Черные птицы мне свет застилают своими крыльями...

Сильная трагическая нота в поэтическом мироощущении Голобородько вовсе не случайна, если учесть, где он живет и что ежедневно представляется его глазам. Но есть трагическое и в человеческой судьбе вообще — неизбежность

смерти, короткий срок, отпущенный человеку на земле, — это непреходящая трагедия.

...Все мы, впрочем, когда-то помрем.  
Мы не вечны и не бессмертны (материя не исчезает,  
Но мы-то исчезаем: я, ты, она, и любимая, и брат,  
и другие).

А семена всяких трав, ползучих, как гады,  
Ждут нашей смерти (мы умрем когда-то),  
Чтобы вцепиться в наше — не наше — мертвое тело...  
...И вырасти, и расцвести, и семя дать.

И всё же, несмотря на чуткую восприимчивость поэта к изломам жизни, в нем поражает светлое, живое начало, которое, быть может, и дает ему силы и возможность говорить об общеизвестном с неожиданной свежестью, видеть его в неповторимом ракурсе или замечать незамеченное с ошеломляющим покоем и естественностью.

По глубококому моему убеждению, мы присутствуем при рождении поэта, равного по масштабам крупнейшим современным поэтам. Его стихи ждут перевода — и прежде всего, конечно, на русский. Имя украинца Василя Голобородько, дошедшее до нас почти случайно шесть лет назад и с тех пор погруженное в немоту за железным занавесом, должно занять достойное место в памяти и практике мировой поэзии.

*Эммануил Райс*

## *ДВЕ ИСТОРИИ*

В одном и том же издательстве, в одно и то же время, вышли две книги почти на одну и ту же тему.

Книга московского историка Церкви Льва Регельсона «Трагедия русской Церкви. 1917—1945»<sup>\*</sup> и мемуары А. Э. Краснова-Левитина «Лихие годы»<sup>\*\*</sup>.

---

<sup>\*</sup> Л. Регельсон. Трагедия русской Церкви. 1917-1945. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977.

<sup>\*\*</sup> А. Краснов-Левитин. Лихие годы. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977.

Поэтому представляется вполне правомерным сопоставление этих двух работ — конечно, в пределах темы, поскольку в книге Краснова-Левитина немалое место занимают просто мемуары, в которых рассказывается о семье автора, о его студенческой жизни, о деятелях русского театра. Всё это не входит в задачи настоящей попытки сравнительной рецензии, и потому останется за ее пределами. Речь пойдет здесь лишь о событиях из истории Церкви, а еще точнее — о разной, по сути даже противоположной оценке этих событий двумя авторами, что, естественно, продиктовано их весьма разными позициями.

\* \* \*

Работа Льва Регельсона — историческое исследование, написанное с привлечением огромного количества материалов. Достаточно отметить, что из 625 страниц книги сама работа занимает лишь 200. Всё остальное — документы, письма и свидетельства участников событий, хронологические и биографические таблицы и т. д.

Здесь нет нужды, да и возможности пересказывать содержание этой добросовестной исторической работы, которая в дальнейшем, видимо, сослужит немалую службу историкам — прежде всего как источник важнейших сведений и фактических материалов, собранных и расположенных в четком порядке.

Необходимо отметить, что автор, обладая непредвзятостью летописца, является, по-видимому, и глубоким знатоком канонического права. Но об этой стороне его работы лучше высказываться специалистам. Здесь же мне хочется сосредоточить внимание на ином — на том критерии объективности, который неизбежно связывается с оценкой позиций тех или иных иерархов Церкви в описываемый период.

Л. Регельсон в своем исследовании, в самом подходе к предмету его исходит прежде всего из евангельского принципа: «кесарю — кесарево, а Божье — Богу». И с этой точки зрения рассматриваются в книге деяния тех или иных иерархов. Как писал в свое время Вл. Соловьев, попытки любого государства «присвоить себе высший духовный авторитет... были бы безумной и пагубной узурпацией, напоминающей «человека беззакония» последних дней». Отсюда получает

вполне справедливую оценку всякое обновленчество (живоцерковничество и другие течения, входившие в обновленчество, — вроде «Возрождения» или «Содаца»), представлявшие собой лишь провокаторские попытки партии покончить с Церковью вообще, но покончить не так шумно и скандально, как она пыталась это сделать в самом начале после захвата власти. Покончить так, чтобы Церковь умерла сама собой, внутренне разложенная и потерявшая доверие в народе. Заодно — и поддержка Церковью «нового порядка» тоже была не лишней на первых порах. Провокатор А. Введенский в апреле 1923 года утверждал, что «советская власть работает для исполнения заветов Христа». Или еще такое: «Мир должен принять через авторитет Церкви правду коммунистической революции».

Когда эта грандиозная спекуляция на авторитете Церкви и, более того, на самом христианстве, не удалась, властям не осталось ничего иного, как идти, с одной стороны, — на открытые репрессии, а с другой — в конечном счете приспособить к сотрудничеству уже не сомнительных для народа обновленцев, а тех иерархов Православной Церкви, которые пошли на это по тем или иным причинам. И тут в центре внимания автора — та зловещая роль, которую сыграл в истории заместитель местоблюстителя патриаршего престола — а позднее и патриарх — Сергей. После того как скомпрометированное до последней степени обновленчество стало сходиться на нет, Сергей продолжал по сути дела обновленческую политику в церковном управлении, «как всегда умело цепляясь за букву и полностью изгоняя реальное еkkлезиологическое содержание».

Регельсон приводит среди других материалов чрезвычайно интересное письмо одного из членов так называемого течения «непоминающих», то есть тех, кто признает само избрание митрополита Сергея патриархом — незаконным, неканоничным. В письме говорится, что именно в результате деятельности Сергея и «в результате трогательного альянса его со Сталиным осталось только несколько храмов в больших городах. Они так и назывались «показательными». Да остался еще митрополит Сергей с незаконно организованным им синодом — полтора десятка готовых на все архиереев, среди которых был и будущий патриарх всея Руси Алексий Симанский».

Тот самый Алексей, который, взяв под свою защиту в послании от 4 июня 1922 Введенского и других обновленческих деятелей, прямо и косвенно работавших на разрушение церкви, «расчистил дорогу обновленчеству».

Характерно, что о самих «деятелях» организованной ведомством Дзержинского обновленческой церкви в книге Регельсона почти не рассказывается. Они говорят сами о себе вполне достаточно в собственных своих посланиях, выступлениях и прочих документах, помещенных в приложении. Суть же этой провокации охарактеризована автором кратко и точно: «Задача властей заключалась в том, чтобы уничтожаемая Церковь не только не взывала к сопротивлению со стороны верующей народной массы, но в процессе своего уничтожения помогла перевоспитать эту массу в духе преданности советской власти».

\*  
\*  
\*

Раскрыв книгу А. Краснова-Левитина, не перестаешь до последних ее страниц удивляться тому, как старательно он оправдывает и выгораживает обновленческих иерархов. То они якобы не ведали, что творили, то — когда факты их прямого сотрудничества с Лубянкой общеизвестны — Левитин старается подчеркнуть их «лучшие стороны» (как в случае с о. Николаем Платоновым). Это отчасти объяснимо тем, что автор много лет был с этими людьми в близких отношениях и до сих пор находится под личным обаянием некоторых из них. Он неоднократно подчеркивает это в своих мемуарах. Но в гораздо большей степени такая предвзятость оценок продиктована неопределенностью его собственной позиции. Пренебрежение тезисом «кесарево — кесарю, а Божье — Богу» помогает автору смешивать права властей светских и духовных. Ту же роль играют и социалистические взгляды его. Именно сочетание католического принципа «политизации церкви», ее светской власти с социализмом, характеризующимся в книге как «один из подступов к царствию Божьему на земле», и с признанием за последние откровения давно устаревших и никем всерьез не принимаемых марксистских «истин», наподобие «загнивания капитализма», и создают ту невероятную, идеологически полумарксистскую-

полурелигиозную эклектику, которую Левитин именуется «христианским социализмом».

Естественно, что он оправдывает обновленчество не только потому, что в нем частица юности автора, но и потому, что обновленчество (если говорить о тех нескольких честных обновленческих священниках, которые искренне заблуждались) придерживалось той же позиции.

Фраза Левитина о социализме как «одном из подступов к царствию Божьему на земле» полностью соответствует словам из постановления обновленческого собора 1923 года о том, что «советская власть государственными методами одна во всем мире имеет цель осуществить идеалы Царства Божьего». Не сразу можно решить, чего тут больше — кощунства или пропагандного пафоса. И то, и другое характеризует обновленцев как вполне советский эрзац Церкви. Но ведь собор-то этот всешутейший был 54 года тому назад, а Левитин отстаивает эти положения сегодня, когда сомнений в провокационности обновленчества давно ни у кого не осталось, когда известны бесчисленные жертвы расстрелов и лагерей, священники и миряне, погибшие по доносам обновленческих епископов и священников...

Самое непонятное, что всего несколько лет тому назад тот же Левитин в книге «Закат обновленчества» писал: «Мир с отвращением и ужасом отвернулся от обновленческого собора!» А теперь в своих мемуарах он старается тех же обновленцев обелить.

На работу Левитина и Шаврова не раз ссылается Л. Регельсон, признавая ее вполне достойной внимания, но Левитин в своих мемуарах как бы зачеркивает свою прежнюю работу.

Но всё это — и социализм, и обновленчество, и соотношение духовных и материальных ценностей, и «соблазн хлебами» (коих социализм так и не дал), и «соблазн чудом», и устройство «царства Божьего на земле» (то есть опять тот же социализм) — всё это было уже давно оценено: достаточно вспомнить искушение в пустыне...

И последствия той позиции, которую — не всегда с полной искренностью и не всегда с полным пониманием ее философской сути — занимает автор, последствия тоже не новы: их увидел Достоевский, им посвящена легенда о Великом Инквизиторе. И было это — сто лет назад. А для Левитина

этих ста лет как бы вовсе и не существует, как не существует для него и двух тысяч лет, отделяющих нас от искушения в пустыне. Не было всего этого! — вот в чем сказывается типично советское сознание автора. Внеисторичность миропонимания. Забвение корней.

Возможно, определенная недостаточность познаний в истории философии играет свою роковую роль. Так, говоря о Гегеле, Левитин утверждает, что Гегель *открыл диалектику!* Сведения, явно почерпнутые из бессмертного «Краткого курса истории ВКП(б)». А где Аристотель? Где софисты? Где, наконец, Сократ?

Используя примеры из мировой литературы, автор опять-таки подходит к ним с позиций несколько школьных, но школьная логика заводит его порой весьма далеко: скажем, марксистов вообще и Ленина в частности он возводит в ранг *Дон-Кихота*, явно им не очень любимого. Дон-Кихот у Левитина, совсем как марксисты, «решил переделывать мир по Амадису Галльскому»: советский критерий «прогрессивности» или «реакционности» становится решающим, чуть ли не единственным для оценки любого литературного героя. Это поэтическое сравнение Ленина с Дон-Кихотом остается, конечно, на совести Левитина как учителя литературы, но едва ли его можно счесть удачным... «Битва с мельницами — одно из самых результативных сражений в истории человечества», — писал Дэвид Мартин, замечательный австралийский поэт нашего времени.

А Левитин, видимо, принял Дон-Кихота за мельницу и *на него* кидается с социалистическим копьём как на нечто, мешающее прогрессу, — вполне в духе вульгарного советского учебника. Кидается, как на коммуниста, не видя, что между коммунистом и социалистом куда меньше разницы, чем между идеалистом Дон-Кихотом и прагматиком-коммунистом.

К тому же конгломерату идей принадлежит и настойчиво пропагандируемое в книге народничество. Да не в переносном, а в прямом смысле, в том, как понималось оно еще до Народной воли! Вот что пишет Левитин: «Пришел мой черед советовать молодежи. И я говорю — идите в народ! Становитесь священниками, учителями, библиотекарями, колхозниками, рабочими!»

Излишне напоминать, чем может обернуться этот сусальный маскарад в наши дни, если сто с лишним лет тому назад он с позором провалился. «Барские игрушки» «смутьянов» — тогда, «провокация» — сейчас. Вся разница в словах, а суть одна — недоверие народа к народникам, сколько бы они ни умилялись. Не говоря уже о том, что призывать в священники, наподобие того, как призывает «Комсомольская правда»: «Все на БАМ!» — по меньшей мере бестактно, не говоря уж о том, что понятие о таланте и призвании мало общего имеет с понятиями о профессии и «призывах».

Но чего ждать, когда автор без тени юмора пишет: «Я не мог не признать много положительного в советской действительности: ликвидация социального неравенства, повышение культурного уровня...»

А как насчет привилегий «нового класса»? А по поводу «культурного уровня» справедливо было бы говорить о его падении, ибо вместо пусть немногих тысяч, но высококультурных людей пришли миллионы тех полуобразованных, верхний уровень которых и есть уровень советского учителя. Автор, кстати, утверждает, что никакого такого «советского учителя» нет, а есть якобы «всё тот же извечный труженик, русский учитель, теперь уже даже не полунищий, а совершенно нищий». Что нищий — это верно, но что касается преемственности — тут даже возражать не приходится всерьез. Как можно сравнивать земского учителя с сегодняшней учительской массой, фабрикуемой в каждом областном городе из числа тех, кто не попал ни в какой вуз, считающийся «рангом повыше»? Не секрет, что педагогические институты у нас — жертвы «естественного», а скорее даже противоестественного отбора. Задача вместо учительства создать массовую «образованщину», самую консервативную и самую низкую по культурному уровню часть «советской интеллигенции», следующую «всем зигзагам линии партии», — эта задача советскими вузами выполнена «на отлично».

Именно такое — не органичное соединение, а механическая смесь советского учителя с околоцерковным юношей — предстает нам со страниц мемуаров Краснова-Левитина. Не говоря уж о том, что само понятие «христианский социализм» есть тоже механическая смесь: христианство построено на персонализме, на личности и свободе, кончаю-



щейся лишь там, где начинается свобода ближнего, а социализм есть прежде всего стремление к уравниванию, нивелировке, в конечном счете — к *энтропии*. Ведь даже электрический ток, и тот, как сказано в школьном учебнике, есть «разность потенциалов на концах проводника», а при уравнивании нет тока, нет работы, нет ничего. Соблазн равенством — тоже относится к временам искушения в пустыне... Отвержение трех соблазнов ведь *и было отвержением того, на чем строится любой из бесчисленных социализмов!* И потому говорить о таком кентавре, как христианский социализм, по меньшей мере странно. Но это, во всяком случае, объясняет те попытки защитить обновленчество, которые предприняты в этой книге.

*Василий Бетаки*

### *КАРЛ-ГУСТАВ ШТРЕМ: «БЕЗ ТИТО»*

Югославия ежегодно посещается по крайней мере двумя миллионами туристов. И всё же ее знают плохо. Общие фразы да надоевшие клише — вот и всё, что составляет сумму сведений об этой стране. Едва ли о какой-либо другой стране Европы известно так мало, хотя книг о Югославии написано множество, но, кроме рассказов о красотах природы, в них мало что есть. Книг же, в которых серьезно и критически говорилось бы о политической реальности этой страны, и вовсе мало.

Дезинформацию несет и бесчисленное количество восхвалений и необоснованных утверждений, исходящих или прямо из органов пропаганды в Белграде, или от кабинетных теоретиков других стран, сочиняющих труды, в которых некритически и безответственно говорится о «прогрессивности» и об «устремленности в будущее» титоизма, как нечто новое преподносится тезис о некоем «гуманном и демократическом социализме» югославского «эксперимента». И всё это нередко приходится по вкусу значительной части западной публики.

---

Karl Gustav Ströhm. Ohne Tito — kann Jugoslawien überleben? Styria, Graz, 1976.

Новая книга о югославской политической действительности может оцениваться в зависимости от того, насколько она очищена от этих маловразумительных клише и насколько она исходит из действительного знания основных исторических фактов. Когда такие требования к новой книге выполнены, она безусловно может ответить на главные вопросы, касающиеся настоящего и будущего Югославии.

Основным среди них представляется следующий: что происходит, когда исчезает человек, который своим авторитетом держал три десятилетия страну, искусственно склеенную из четырех больших и дюжины малых народов, страну без каких-либо веских причин быть единой страной, страну, непрочность которой уже однажды была доказана (причем без серьезных к тому идеологических причин!), и ее пришлось вторично собирать из осколков? Что происходит, когда такой человек умирает?

Новая книга К.-Г. Штрёма о Югославии называется «Без Тито». Подзаголовок ее — «Выживет ли Югославия?». Как уже видно из названия, мафусаилов возраст вождя СКЮ, пожизненного президента, маршала и диктатора, неминуемо ставит вопрос, вынесенный в подзаголовок этой книги. Если бы я поставил себе этот же вопрос, я, возможно, несколько иначе расставил бы акценты или проанализировал бы иные аспекты югославской действительности. Но книга — хорошее руководство к осмыслению проблем настоящего и будущего этой страны. Я уже говорил, что все клише на тему позитивных результатов югославского социализма исходят из абсурда. Нельзя рассматривать Югославию как государство, где и в самом деле происходит какой-то особый «прогрессивный эксперимент». Такой взгляд обычно бывает связан с двумя историческими событиями, которые принадлежат к числу «героических историй» и связаны с «харизматической» личностью Тито.

Первое из них относится к внутривнутриполитическим — это блестящие результаты борьбы титовских партизан во второй мировой войне (их коммунистическая и более того — узко просоветская ориентация тщательно скрывалась в силу тактических причин). Как известно, они воевали как против нацистской оккупации, так и против всех конкурирующих политических сил внутри Югославии, способных предотвратить

уничтожение демократических деятелей и сползание в тоталитаризм по сталинскому рецепту.

И второе: весь мир с затаенным дыханием следил за тем, как Тито вел успешную борьбу с самим Сталиным, — это производило впечатление борьбы Давида с Голиафом! И никто не учитывал, что отстаивать самостоятельность легче, когда есть некоторая дистанция (как у Китая и Албании), отделяющая от московского самодержца, тогда как вожди других восточноевропейских народов едва ли смогли бы противостоять прямому вооруженному вмешательству. Стратегически и тактически общая граница значит немало.

Оба эти исторических факта не потеряли бы своего значения и наполовину, если бы всей деятельности Тито вообще не было.

Это все полностью соответствует той логике, которая проводится в книге Штрёма, тем выводам, которые автор делает из биографии этого удачливого государственного деятеля, «человека границы», еще в молодости хорошо изучившего язык тех политических сил, которые уже однажды угрожали его стране, — речь идет о Германии и России. Унтер-офицер австрийской империи (воевавший против Сербии!), потом воевавший на стороне большевиков во время гражданской войны в России, Тито начал играть политическую роль очень поздно. При всей сжатости штремовского изложения биографии Тито, изложение это ценно тем, что оно четко выделяет ее узловые моменты, имевшие политические последствия. Прежде всего — актуальный и сегодня национальный вопрос: одна из основных политических проблем, стоящих перед этой страной. Проблема эта не может быть решена и поныне, так как коммунистическая система обходится лишь лозунгами. Отношения же с СССР тоже принадлежат к числу проблем, решения которым пока не видно, поскольку, несмотря на всяческие заверения в дружбе, руководители Советского Союза никогда не примирятся с бунтом бывшего коминтерновского агента и не перестанут рассматривать его как ревизиониста, хотя бы в силу его ситуации и особого положения. Всё это — первоочередные проблемы, и нет оснований видеть их в розовом свете.

Особо говорит Штрём об официальных сочинениях житейного типа, которых в Югославии издано немало. Так, в них

утверждается, что якобы уже во время работы в Коминтерне в Москве (1937-38) Тито держал себя на некотором расстоянии от сталинского аппарата и самого Сталина.

Но это лишь красивая легенда, распространяемая одним только Белградом.

К сожалению, читатель не получает ответа на вопрос (ни от Штрёма, ни от Джиласа в его мемуарах): как случилось, что доверенное лицо Коминтерна и, к тому же, его главный агент по Югославии, который перед самой войной еще говорил, следуя московской доктрине, что многонациональное югославское государство должно быть разрушено, вскорости начал энергичнейшим образом восстанавливать КПЮ, объявив это обязательной политической линией? Как случилось, что позднее он легко вошел в роль партийного вождя, представление о безупречности коего в Москве поначалу не подвергалось сомнению, а потом возглавил лишь условно зависимую «социалистическую» Югославию, изменив своим хозяевам?

Тито оказался типично балканской фигурой и стал править наподобие Карагеоргия или князя Милоша Обрадовича, вместо того, чтобы ограничиться ролью «визиря» или наместника.

Некоторые западные обозреватели представляют Тито как сталиниста, ссылаясь на его прошлую принадлежность к Коминтерну, отмечая, что лишь позднее он стряхнул с себя маску покорности и подчинения «вождю и учителю», — в этом факте и заключается источник его внешнеполитической доктрины неприсоединения к блокам.

Тоталитарность сознания и подчинение всего единственной персоне — е го персоне — не менее параноидальная идея, не меньшая мегаломания, чем у Гитлера, Сталина, Чаушеску, Амина Дады или Бокасса. Потребовав однажды такого подчинения себе всей страны, он продолжает эту линию неизменно.

Штрём ясно и отчетливо доказывает, что все хваленые теоретические и практические особенности пресловутого «югославского пути» — «рабочее самоуправление», «децентрализация» и проч. — служат не внешней политике «неприсоединения», а всё тому же стремлению сохранять самостоятельность и независимость от Москвы, поддерживая, тем не менее, тоталитарную форму государства и в то же

время сохраняя возможность частично скрывать политическую реальность от иностранных наблюдателей и от собственного народа.

*Титоизм остается определить как осуществление претензии на единовластие на основе ленинских идеологических предпосылок*, причем, кроме Тито, к некоторому участию в управлении допущены им лишь несколько его ближайших — им избранных — товарищей. Рассматриваемая книга вводит всех интересующихся в круг вопросов о настоящем и будущем Югославии. К сожалению, она не снабжена предметным и именным указателями. Но она содержит убедительное изложение сложных политических обстоятельств, вопросов о судьбе нацменьшинств, отношении Югославии к соседним государствам, и многие проблемы, которые часто не обращают на себя внимания дилетантов, но которые, между тем, могут сыграть роль фитиля в балканской пороховой бочке. Читателю становится ясно, что совсем еще не сложилась и не определилась схема расстановки сил на Балканах и что безрассудно было бы верить, что СССР не попытается после смерти Тито приложить все силы, чтобы решить этот вопрос в свою пользу.

Для выяснения советских шансов в Югославии особенно важны те главы книги Штрёма, которые впервые связно излагают ход событий последней фазы личной власти Тито: окончательный отход от «демократического социализма», большая чистка в партии, когда были удалены либералистские и «националистические» элементы — такие, как Трипало, Дабчевич-Кучар, Никежич, Перович, Кавчич и всё их окружение. Заключительную главу «Кто придет потом?» К.-Г. Штрём пишет как осторожный, но оптимистический прогноз, отмечая вместе с тем, что «Запад заинтересован в стабильности Югославии и потому готов принять эту страну такой, как она есть».

*Андрей Разумовский*

## ОПАСНЫЕ ИГРЫ ГОСПОД МЫСЛИТЕЛЕЙ

Первоначально исходя из марксизма-ленинизма и одновременно из теории стихийной революционности масс, Андре Глюксман — глубоко лично — споткнулся при чтении «ГУЛага» и резко перестроил сознание.

Все интеллигенты-коммунисты уже 50 лет прекрасно знали, что ГУЛаг не только существует, но и является краеугольным камнем советского строя. Разница между коммунистами-сталинистами, которые это отрицали, прекрасно всё зная (сегодня они говорят: «Солженицын нам ничего нового не открыл» — и это правда), и критически настроенными коммунистами (они сегодня говорят: «Мы всегда это-то и говорили» — и это тоже правда) — разница между ними не превышает толщины закладки в книге между последней главой, написанной Лениным, и послесловием, написанным Троцким, который доказывает, что это он — истинный наследник и продолжатель (Маркс-Энгельс-Ленин-Троцкий против Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин). Глюксман научился марксизму в последовательности: Маркс ... Мао, но место Сталина в ней было затуманено подозрением.

Глюксман отличается от коммунистов-критиков-антисталинистов и даже от коммунистов анархического толка (последователей Бакунина и Прудона). Последние его книги — следствие шока, испытанного при чтении Солженицына, и мучительной работы мысли человека, который понял, что заблуждался. Человека, который не стал довольствоваться умыванием рук или даже аплодисментами Солженицыну и осознал бесплодие игры в поиски правильной страницы, которую нужно отделить закладкой. Он попытался разобрать сам механизм, который побуждает интеллигента-революционера находить удовлетворение в послесловии и в закладке, вставленной достаточно близко к чистому «роднику» последовательности текстов, чтобы оказаться невиновным в загрязнении реки вниз по течению.

Глюксман открыл, что игра с закладкой не сегодня началась. Маркс играл уже с Гегелем, который играл с Фихте, который играл ... с Платоном, который играл с Сократом.

---

André Glucksmann. Les maîtres penseurs. Grasset, Paris, 1977.

Это обратное чтение всей западной философии государства породило последнюю книгу Глюксмана. В истории западной философии смычка философа с государством ведет свое летоисчисление с Платона, советника тирана Дионисия Сиракузского. А тот же Платон хаживал в учениках Сократа, того, кто, наоборот, был приговорен к высшей мере за антигосударственность, за то, что утвердил критическую мысль как неотторжимое право человеческой личности, как межовой камень поля, на которое государство не имеет права посягнуть. Платон, этот кандидат в деспоты, попытался «примирить» Сократа и государство в их злополучной ссоре. Он сделал это, украв сократовскую критику государства и поставив ее на службу просвещенному деспоту.

Так для Глюксмана вырабатывается общая модель взаимоотношений государства, «докритического» мыслителя и мыслителя «критического», который ставит предшественника на его истинную «голову» или на его истинные «ноги» — иными словами, «спасает» его, «превзойдя» и «перевернув» (случай Маркса и Гегеля).

Как ищeyка, прошелся Глюксман по генеалогии мыслителей, которые ухитрились пристроить критическую мысль на государственную службу — будь то государство сегодняшнее или враждующее с ним государство будущего. Это генеалогия философов, которые пронесли эстафету тяжелого труда — труда мыслить о существенности господства (господства властей в самом наивном смысле или господства властителей дум, создателей подсобной государственной науки покорения умов). И опять-таки неважно, проповедуешь ты «хорошую» власть против сегодняшней плохой или укрепляешь сегодняшнюю. Вчерашнее утопическое государство оправдывает его нынешнюю действительность, как нынешняя утопия будет оправдывать то, что наступит завтра.

Если общим законом этой генеалогии является развенчание предшественников, чтобы быть «истинно» критическим преемником, то один-единственный ее постулат неприкосновенен: истинный разум и истинная власть обладают единой субстанцией. Этот постулат можно изречь и иначе: истинный разум Разума есть Власть, истинная власть Власти есть Разум.

Власть и Разум едины, провозглашает сегодняшняя власть.

Истинная Власть и Истинный Разум будут едины, провозглашает революционер. Он, может быть, еще и не знает, что только подыгрывает в фокусе с закладкой, которым будет спасено очередное обветшавшее государство. Все философы боя за власть в свое время заявляли, что их бой — последний и решающий. Это их предельно радикальная оппозиция выведет человечество из предыстории и приведет, наконец-то, к окончательной правде, которую человечество утратило, но обретает заново, в очищенном, демистифицированном облике.

Сегодня, говорит Глюксман, мы больше не имеем права предаваться самообману, пойти по новому кругу преступной игры в закладку. Единственная позиция, на которой можно утвердиться, — позиция Сократа. А Сократ — в новейшей терминологии — «диссидент».

\* \* \*

Заглавие последней книги Глюксмана трудно перевести на русский. Уже по-французски этот заголовок не невинен. Выражение *les maîtres penseurs* (буквально «учителя-мыслители» или «мэтры-мыслители») выковано автором по образцу *les maîtres chanteurs* (шантажисты), и в нем звучит тема пуска в ход тайной власти, жаждущей расширения. Я предложил бы, хоть временно, перевод «Властители-мыслители» или даже «Господа мыслители». Для Глюксмана это выражение приложимо ко всем позитивным политическим мыслителям, которые предлагают что бы то ни было конкретное относительно организации власти за пределами того рубежа, того межевого камня, который поставлен Сократом: власть не является разумом, власть не имеет ни малейшего права оградить себя от критики. Критика же «конструктивная» — признак того, что мыслитель, сознательно или бессознательно, принял способы борьбы, не только временные завтрашним соучастием, но и — здесь и теперь — питающие Власть. Вступая в «позитивную» борьбу за власть, «мыслитель» сегодня — это лишь кандидат во «властители» назавтра.

Мыслитель-диссидент в глазах Глюксмана имеет право и даже обязанность «осмыслять власть как таковую». Его назначение — разоблачать и господство, и смычку



«мысль-власть», и «мыслителя». Того «мыслителя», что ко-  
лошматит своим текстом по той самой голове, на которую  
мент опускает (или в светлом будущем опустит) свою ду-  
бинку.

*В. Карлинский*

**Вышел из печати и поступил в продажу  
литературно-художественный альманах**

## **АПОЛЛОН — 77**

В альманахе представлены наиболее значительные и яркие представители русского авангарда за шестьдесят лет, как в живописи, так и в поэзии, от Филонова, Кузмина, Введенского, Ремизова до наших современников. Поэты и художники, драматурги и литературные критики, живущие в СССР и за границей, впервые представлены не отрывочными публикациями, а в достаточно полном объеме.

Альманах снабжен многочисленными репродукциями современных русских художников-авангардистов — Б. Свешникова, Д. Плавинского, А. Харитонova, Д. Краснопевцева, О. Целкова, О. Рабина и многих других.

*Главный редактор и издатель  
— Михаил Шемякин*

Цена — 350 франков  
Заказы направлять в магазины  
ИМКА-Пресс и Дом Книги

# Коротко о книгах

ЛЕОНИД ПЛЮЩ

## НА КАРНАВАЛЕ ИСТОРИИ

(На франц. яз.) *Seuil, Paris, 1977*

Это бесхитростное — хотелось бы даже сказать, захватывающе-бесхитростное — повествование из жизни «рядового советского человека», который, пройдя через стандартные для всего его поколения, для нескольких поколений, приманки, дурманы и ослепления, начинает выбиваться «из ряда», из шеренги рядовых, всё более и более осознает себя личностью, развивает независимое и критическое мышление. Школьник из полунищей семьи, усматривающий причины нужды и бед — в евреях. Студент, участвующий в «легкой кавалерии», вылавливающий сначала шпионов, потом очередных врагов народа — проституток, стилиг и фарцовщиков. Учитель в захудалой сельской школе с закосневшими педагогами, изо всех сил бьющийся против учительской безграмотности и равнодушия. Вот тут — хотя

сам автор не отмечает этот момент как поворотный, поворотные моменты для него скорее связаны с политическими событиями (доклад Хрущева, венгерская революция) — вдруг ощущаешь нечто существенно новое: юноша начинает приглядываться к этим самым учителям, против косности которых он так истово и праведно боролся, и обнаруживает их тяжкую жизнь, их каторжный деревенский быт, их невозможность — не по своей только вине — удовлетворить высоким бумажным требованиям. И в нем появляется сострадание — даже к той учительнице, которая так возмущала его недавно, взявшись обучать детей совершенно неведомому ей немецкому языку.

Сражение Плюща, одного из множества «из ряда вон вышедших», против системы не является чисто политическим сражением, не

является битвой чисто идеологической, чисто доктринальным переходом от шпаргалочного университетского марксизма к «неомарксизму» (сам Плющ иногда подобным образом определяет свою историю, явно обедняя ее содержание), — это скорее битва внутри себя, постоянные победы сострадания к конкретным, живым людям, победы уважения к личности как таковой — чужой ли, своей, и поражения всяких догматических представлений о людях, об обществе, о мироздании. От книги возникает ощущение, что ее автор находится в непрерывном развитии — не только внутри сюжета, но и в сам момент написания. Поэтому часто трудно согласиться с его идеологическими положениями (к счастью, они занимают не такое уж большое место и, глав-

ное, не навязчивы, очень личны), но нельзя не видеть, что мысль этого человека, то простая, то путаная, то очевидная, то самому ему не вполне ясная, во всяком случае, не превращается в застойное болото. Трудно предвидеть, к чему она придет завтра-послезавтра, но это-то, может быть, и интересно.

И, конечно, самое главное, самое сильное в книге — это описание Днепропетровской психиатрической тюрьмы. Спокойное, сдержанное, без «пугания» читателя ужасами — и от этого еще более ужасное. Эти страницы поднимают книгу Плюща до уровня лучших произведений «литературы факта». (К сожалению, гораздо меньше удалось ему описание «диссидентских» кругов, но с этим пока что никто еще не справился.)

## ИСКУССТВО ПОД БУЛЬДОЗЕРОМ

(Синяя книга)

*Сост. АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР*

*Overseas publ., Лондон, 1977*

Эта книга обладает двойной ценностью. Она — документ, отражающий один из эпизодов борьбы россий-

ского искусства за свою свободу, и она для многих окажется первой серьезной встречей с задыхающейся в

тисках «государственной опеки» нонконформистской советской живописью. О составителе, А. Глезере, во введении к книге Владимир Максимов написал: «...в своих оценках и суждениях он часто страстен и даже пристрастен, но четкая политическая определенность его позиции не перерастает при этом в узкую тенденциозность, ибо пафос автора исходит из безусловных этических посылок».

В сущности книга повествует о том, как один пустырь на юго-западной окраине Москвы вошел 15 сентября 1974 в историю русского изобразительного искусства. В тот день состоялась первая со времен нэпа публичная свободная выставка. Закончилась она — под бульдозерами: «...разъярившийся бульдозерист сначала раздавил машиной холсты, а затем двинулся дальше. Рабин висел на верхнем ноже, подогнув ноги, чтобы нижним их не отрезало. На помощь отцу бросился сын. Кто-то из милиционеров остановил бульдозер.

Отца и сына бросили в милицейскую машину».

В книге описано, что последовало за разгромом выставки и как власть всё же разрешила проведение выставки 29 сентября того же года в лесопарке Измайлово. «29 сентября, — пишет Глезер, — в течение четырех часов более семидесяти художников показывали десяти или пятнадцати тысячам зрителей около двухсот пятидесяти картин. Это было необыкновенное зрелище! Это была победа духа над грубой силой тоталитарного режима! Это была победа не только художников, но и той русской многострадальной интеллигенции, которую более полувека истребляли коммунисты, но которая не сдалась и теперь, через две недели после разгрома бульдозеров, открыто демонстрировала свои симпатии к бунтовщикам».

Больше половины книги составляют собранные Глезером материалы прессы (советской и иностранной) и документы.

## АДАМ МИХНИК

### ЦЕРКОВЬ, ЛЕВЫЕ, ДИАЛОГ

*Институт Литерацкий, Париж, 1977.*

*Библиотека «Культуры», том 277*

*Adam Michnik. Kosciół, lewica, dialog.*

Точнее — для русского и всякого иноязычного читателя — было бы перевести первые слова заглавия книги как «польская Церковь» и «польские левые». Чувствуя себя одним из «левых», сторонником демократического социализма (см. интервью Михника в № 12 «Континента»), автор, тем не менее (или именно поэтому), резко рассчитывается с духовными и политическими ошибками польских левых, многие годы не видевших в польской Церкви ничего, кроме темной, обскурантской силы, и не замечавших, что она одна последовательно противостоит тоталитарному подавлению свободы в стране. Временные сторонники или последовательные противники режима, принесенного в Польшу на советских штыках, они были едины в своем неприятии Церкви — и это в те годы, когда Церковь подвергалась жестокому преследованиям, когда были брошены в тюрьмы многие иерархи, вплоть до самого кардинала-примаса Польши Сте-

фана Вышинского. Они остались верны своему бездумному антиклерикализму и в годы, следовавшие за Польским Октябрем, когда Церковь в тяжелой борьбе с властью отстаивала свои права и — шире — свободу совести, духовную свободу, когда польские епископы первыми попытались внести в хор оголтелой антигерманской пропаганды голос любви и примирения.

Адам Михник с краской стыда вспоминает свое собственное участие в кампании против послания польских епископов немецким епископам. Он, уже испытавший в то время польскую тюрьму, с безоглядной (хоть и естественной для 19-летнего) уверенностью в собственной правоте проводит и публикует интервью по поводу этого послания. «Я не чувствовал никакой вины. Никто меня не заставлял, даже не уговаривал. И не слабость характера мною руководила, но абсурдное убеждение, что я выступаю в защиту правого дела. Одно дело — думал я

— мои конфликты с партией, другое — полемика с Церковью. А что эта атака была вовсе не полемикой, а только участием в политической травле, что я говорил с чужого голоса и стал пропагандистом неправого дела, — это всё мне тогда и в голову не приходило. А ведь я уже мог знать, как всё есть на самом деле. Не епископы выдали ордер на мой арест, и не они требовали выбросить меня из университета. Язык их был мне чужд, непонятен, и это укрепляло мое извращенное представление о Церкви».

Церковь пренебрегала обидами, которые ей наносили левые, и оставалась верной своему принципу защиты гонимых. В 1968 году единственной силой, выступившей в

защиту травимых прессой, избиваемых полицейскими дубинками, брошенных в тюрьмы студентов, оказалась польская Церковь в лице Епископата, кардинала Вышинского, пяти депутатов Сейма от католической группы «Знак». Одна только Церковь вступилась за жертв кровавого подавления восстания на Побережье в декабре 1970. С этих лет началось более пристальное внимание польских левых к действиям и высказываниям Церкви, которое в самые последние годы привело к пониманию роли Церкви в польском обществе как принципиальной защитницы фундаментальных свобод, как одной из ведущих анти-тоталитарных сил польского общества.

*ЗАПИСЬ — 1. Поэзия, проза, эссе, фельетоны.*

*Подготовили: Ежи Анджеевский, Станислав Баранчак,*

*Яцек Бохенский, Казимеж Брандыс, Томаш Бурек,*

*Марек Новаковский, Барбара Торунчик и Виктор*

*Ворошильский. Варшава, январь 1977.*

*Издано в Лондоне в мае 1977 журналом*

*«Индекс он Сензоршип». Zapis — 1.*

Кроме связи слова «запись» с двумя естественными писательскими обязанностями: записывать, закреплять в слове всё, что имеет для писателя ценность истины — истины в познаватель-

ном, психологическом и художественном слове; и записывать, закреплять образ существующей ситуации — есть и третья, специфически польское значение этого слова. «Запись» — это цензур-

ный запрет, произведение вносится, «записывается» в перечень запрещенных. Все эти три значения, как пишет во вступительной статье к сборнику поэт Станислав Баранчак, определили его название: это сборник произведений, не прошедших цензуру либо просто не имеющих надежды ее пройти. На примере включенных в сборник произведений Баранчак демонстрирует характер современных цензурных запретов и ограничений:

«...честный и верный своей внутренней правде писатель сегодня практически не имеет шансов полностью довести свое творчество до читателей. Он безусловно не может, как Ежи Анджеевский, поместить действие в декорации сталинской России тридцатых годов. Но не может и как Казимеж Брандыс, произвести литературный анализ социальной ситуации в современной Польше. И не может — как Яцек Бохенский — писать даже об античности, если в его словах цензор усмотрит намек на практику тоталитаризма. Чего еще не может современный польский писатель? Он не может — как Марек Новаковский — исследовать поведение рядовых людей, психология которых искаже-

на социальными условиями. Он не может — как Казимеж Орлось или Ян Комолька — показать в своих произведениях самые темные стороны нашей действительности, особенно если он видит, например, связь эпидемии преступности среди молодежи с извращениями системы воспитания. Он не может — как Виктор Ворошильский — искренне писать о себе, о собственном, подвергнутом давлению историей, писательском созревании. Он не может — как собранные здесь поэты (Рышард Криницкий, Ежи Фицовский, Барбара Садовская, Ежи Нарбут и сам автор статьи. — Прим. ред.) — противопоставить свою внутреннюю независимость всеобщему духовному угнетению, а «ссученным словам» (Е. Фицовский) современности — свое, подлинное поэтическое слово. Он не может, как участвующие в нашем предприятии эссеисты и критики, писать об опасно иных, нежели коммунизм, концепциях социального устройства (Якуб Карпинский), анализировать запутанные пути культуры времен последней войны (Барбара Торунчик), полемизировать на тему «польского вопроса» с советским коллегой по перу



(Анджей Дравич). Он не может позволить себе полной свободы даже в таком, часто обходящем цензуру жанре, как фельетон (в польской традиции фельетон — не обязательно сатира, это может быть краткое эссе, размышления и т. п. — Прим. ред.) — и это доказывают

завершающие «Запись» конфискованные цензурой фельетоны Антония Слонимского: пусть же их публикация будет посмертным чествованием писателя, имя которого еще долго будет символизировать борьбу со всеми формами подавления свободы слова».

### ЭЛИЗАБЕТ АНТЕБИ

## ПРАВО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

*Elisabeth ANTEBI. Droit d'asiles en Union Soviétique.  
Juillard, Paris, 1977*

Собственно, приведенный перевод заглавия очень прилизителен и почти не передает заключенного в нем каламбура. Можно было бы, пользуясь не наилучшим жаргоном, перевести это как «право психушки» или «право на психушку», но тогда совсем улетучивался бы тот привкус печальной (или злой) иронии, которую дает совпадение французских слов «убежище» и «психиатрическая больница», — в заглавии книги только множественное число подчеркивает, что речь идет о втором значении.

Элизабет Антеби проделала, готовя эту книгу, огромную работу: она встретила не только с «жертвами» психиатров. (Их число и личностное разнообразие увлекают при чтении даже того,

кто и так хорошо знаком с этой тематикой; но, не забыв, кажется, никого из эмигрантов, автор ухитрился еще и в Москве побывать: описание ее встречи с Петром Старчиком — один из самых впечатляющих фрагментов книги, автор сознательно отказывается быть только холодным исследователем и позволяет себе поддаться исключительному личному обаянию этого математиканшансонье. Заметим, что эта встреча происходила за несколько дней до того, как Старчика снова схватили и отправили в психиатрическую больницу — за песни, — и в эти дни вернувшаяся в Париж с его магнитофонной пленкой Элизабет Антеби сделала на Радио Люксембург передачу о судьбе и

песнях Старчика и была одной из тех, кто боролся за его освобождение). Но интервьюировать только жертв значило бы показать мир психиатрической репрессии с одной стороны. Элизабет Антеби встретила со многими советскими психиатрами: недавними советскими и нынешними советскими, на Западе и в Москве, от Марины Войханской (Файнберг) до профессора Снежневского. Пожалуй, наиболее любопытны разговоры с некоторыми психиатрами, ныне живущими в Израиле. Среди них Элизабет Антеби встретила людей, вполне оправдывающих психиатрическую репрессию. От их аргументов, вероятно, не стоит отмахиваться, стоит выслушать их, стоит спорить обоснованно, стоит искать корни таких убеждений — действительно убеждений, раз они сохранились и при переезде в свободный мир, где скорее высказанное ими звучит «диссидентски».

Эти корни Э. Антеби ищет в истории советской (главным образом, московской) психиатрической школы. В ее книге опубликован, например, впервые переведенный на французский язык и не переиздававшийся по-русски, дореволюционный еще

документ профессора Сербского (того, которого институт!). Любопытнейшее и поучительное исследование «революционных психозов» (написан после первой русской революции) — от него недалеко и до «оппозиционного бреда», до «вялотекущей шизофрении» инакомыслящих.

И, еще дальше уходя от традиционного сборника историй «психиатрически репрессированных», Э. Антеби еще больше углубляет проблему: до уровня языка, языка тоталитаризма, языка конформизма, принятого как правила игры, — и «диссиденты» в этом контексте выступают как нарушители «правил», как защитники не только прав и свобод вообще, но и права на индивидуальность, на отклонение от социальной «нормальности».

Единственно, в чем можно было бы упрекнуть автора, — это в журналистской склонности давать многоименные перечни репрессированных. Видно, что, увлеченная средой сопротивления, которая ей открылась, Э. Антеби хочет дать заодно как можно больше информации. Но именно в этих перечнях появляется несусветное количество оши-

бок — в датах, в именах, в профессиях (что, к сожалению, вообще характерно

для западной прессы, но чего в книге лучше было бы избежать).

*МИХАИЛ СЛАВИНСКИЙ*

## КОММАНДОСЫ СВОБОДЫ В МОСКВЕ

*«Альбатрос», Париж, 1977*

*Michel Slavinsky. Commandos de la liberté à Moscou.*

Книга суммирует выступления молодых фламандцев, итальянцев, скандинавов, французов, англичан на площадях и улицах советских городов в защиту советских политзаключенных, в защиту прав человека в Советском Союзе. Эти выступления, памятные многим по клеветническим статьям в советской прессе и по восторженным («Лихие ребята!») откликам, волнами расходившимся от очевидцев, всегда оказывали моральную поддержку в тяжелом, повседневном сражении советских правозащитников. Это было наглядным доказательством, что люди в стране борются не в изоляции от внешнего мира, что и на Западе находится само-

отверженная молодежь, готовая рисковать своей свободой ради защиты гонимых в неведомых им отдаленных странах. (Кстати, следует отметить, что очень активные в защите советских политзаключенных молодые фламандцы совершали аналогичные вылазки и в Грецию черных полковников, и во франкистскую Испанию, и в Латинскую Америку.)

Очень хорошо, что книга М. Славинского напоминает все имена и истории этих молодых людей, последний из которых, бельгиец Антон Пейпе, отбывает сейчас свой пятилетний лагерный срок\*. Возможно, она вдохновит кого-то из юных читателей повторить действия героев книги. Однако при этом,

---

\* Номер журнала уже находился в наборе, когда мы с радостью узнали, что под давлением мировой общественности власти в СССР вынуждены были освободить Антона Пейпе. В настоящее время он находится на своей родине, в Бельгии. — Р е д.

как ни обидно, книга способна внушить читателям некоторые ложные идеи. Так, вряд ли можно назвать реальной заслугой Народно-трудового союза (НТС) то, что он во второй половине 60-х годов принялся «вдохновлять пионеров диссидентства на развитие их справедливой борьбы»: стихийно и спонтанно развивавшееся правозащитное движение, нуждаясь в *поддержке* извне — в придании гласности его усилиям, никогда не нуждалось во «вдохновителях» извне и развивалось (со спадами и подъемами) по своим внутренним законам. Одно дело — роль издательства «Посев» и журнала «Грани», взявших на себя задачу распространения литературы советского самиздата и до последних лет делавших это почти в одиночестве. Одно дело — книги авторов, появившиеся в самиздате и выпущенные издательством «Посев», когда их изымают у иностранцев или советских граждан и на этом основании, нелепость которого очевидна каждому, обвиняют в связи с НТС. Другое дело — когда в листовках юных посланцев свободы появляются призывы к поддержке НТС. Не с точки зрения уголовного кодекса и

официальной пропаганды — те всегда найдут, за что уцепиться и что извратить. Но, видимо, распространители таких листовок, недостаточно или неправильно информированные, действительно воображают НТС ведущей политической силой, признанной широкими слоями советского населения. А это всё-таки, мягко говоря, преувеличение.

Автор книги, по-видимому, и сам отдает себе в этом отчет, когда иронизирует по поводу того, что не мытьем так катаньем — советские власти выставляли НТС виновным за все проявления протеста в стране. Да и руководство НТС после процесса Якира и Красина формулировало свои задачи более верно: «Ввиду возможностей, которыми располагает НТС, ...он считает необходимым участвовать в этом сопротивлении и предлагает свою поддержку всем, кто в ней нуждается». Поддержка, а не программы и рекомендации — и притом исходя из того, что происходит в самой стране, — вот пределы возможностей организации, действующей вне страны. Поэтому странно воспринимаются слова, в предыдущей цитате замененные многоточием: «и не-

зависимо от форм, которые принимает сопротивление тоталитаризму».

Вот так и получается «независимо от форм», что Антон Пейпе, приехавший защищать дух и букву Хельсинки, прокламировал в сво-

их листовках не развернувшееся внутри страны хельсинкское движение (новую стадию правозащитного движения, нашедшую наибольший отклик в массах), а далекую внешнюю силу.

### ПАВЕЛ ТИГРИД

### ГОРЬКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

*Pavel Tigrid. Amère révolution. Albin Michel, Paris, 1977.*

*Предисловие Владимира Буковского*

Историческая правда о восточноевропейских ревизионистах (реформистах, некоммунистах, истинных марксистах) превращает книгу чешского журналиста, беженца сорок восьмого года Павла Тигрида в сборник правдивых историй о трагически беспомощных Дон-Кихотах «светлой идеи», в правдивую историю послевоенной Восточной Европы. Герои книги — лидеры или члены партии — в разное время и в разных странах усомнились в правильности пути, по которому идет их страна, их партия, их руководство, и, наконец, в верности и неколебимости самой руководящей идеи. Главы этой книги посвящены людям различного калибра,

прошедшим от этой точки сомнения разный путь — некоторые вплоть до полного пренебрежения доктриной: Миловану Джиласу, Роберту Хавеману, Имре Надю, Павлу Когоуту и Ладиславу Мнячко, Яцеку Куроню и Каролю Модзелевскому — и даже нашим отечественным ленинцам Рою и Жоресу Медведевым.

Последнее — естественный результат западного восприятия и западного уровня знания, свойственных даже такому вдумчивому и эрудированному исследователю, как автор этой книги. Советский ревизионизм, или неомарксизм, аналогичный рассматриваемым в книге восточноевропейским примерам, возник во второй поло-

вине 50-х годов как реакция на преступное открывшееся прошлое и существенно не отошедшее от него настоящее — и к середине 60-х годов исчерпался, обнаружив свою неспособность открыть новые пути развития этого настоящего. Эволюция наших «нелегальных марксистов» проходила примерно в том же направлении, что и эволюция Куроня и Модзелевского, — от полутроцкистского, полуменьшевистского «возврата к марксизму» до участия в общедемократическом движении. И через тот же пересадочный пункт — тюрьму в Польше, тюрьму, лагерь, ссылку в России.

Что же до работ и особенно до выступлений братьев Медведевых, то историческая или фактографическая ценность их первых сочинений мало что общего имеет с их нынешними либерально-прагматическими, с позволения сказать, концепциями, а сами их нынешние, широко рекламируемые западной прессой высказывания не имеют ничего общего ни с каким общественным движением, ни с какой общественной мыслью в стра-

не. Пожалуй, именно в силу привилегированного положения Медведевых в западном «паблисити», где их рассматривают как вроде бы «диссидентов диссидентства», как аргумент, что и в Советском Союзе можно остаться марксистом и сторонником («разумным критиком») режима, — спор Тигрида с их позициями может все-таки оказаться кое для кого полезным.

В целом книга дает горький анализ безнадежных попыток исправления существующего социализма путем починки доктрины или установления внутривластной демократии. Демократия не для партии, а для всего общества, общество открытое, плюралистическое — вот единственная альтернатива, которую автор книги и сама жизнь противопоставляют внутривластному донкихотству. Надежду на осознание этой альтернативы, на ее распространение в умах людей Павел Тигрид находит прежде всего в советском правозащитном движении и в аналогичных, недавно возникших движениях стран Восточной Европы.

АЛЕКСАНДР ДРОЖЖИНСКИЙ

АНЕКДОТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

«Дросте», Дюссельдорф, 1977

Некий грозный шах, задумав начать войну, обложил население своей страны чрезвычайно высокими податями.

Когда сборщики налога вернулись во дворец, шах спросил их:

— Ну, как? Платят?

— Платят, — ответили сборщики, — но плачут!

Шах засмеялся:

— Это ничего! Если плачут — можно еще повесить налог!

Снова поехали сборщики по стране, а когда возвратились, шах спросил:

— Ну, а что теперь?

— Платят, — сказали сборщики, — но негодуют и бранятся!

Шах пренебрежительно махнул рукой:

— Можно еще повесить налог!

А когда сборщики возвратились в третий раз и сообщили:

— Платят, ваше величество — и смеются! — шах нахмурился:

— Вот теперь хватит! Если смеются — то больше повышать налог нельзя!..

Мне припомнилась эта старинная притча, когда я прочел книжку Александра Дрожжинского «Анекдоты со всего света». Книжка эта, с великолепными рисунками Шимона Кобылинского, вышла в издательстве «Дросте», в Дюссельдорфе.

Примечательна жизненная судьба автора этой веселой книжки.

Александр Дрожжинский родился в Польше, в 1925 году. В годы второй мировой войны ему довелось пройти сквозь ад лагерей смерти Освенцима, Бухенвальда и Берген-Бельзена. Можно смело сказать, что выжил он чудом, и — вернувшись в Польшу — поступил в университет, сначала в Кракове, а потом в Бреслау, где (с 1946 года по 1949) занимался изучением философии. После окончания учебы Александр Дрожжинский работает лектором, занимается журналистикой, пишет.

В 1968 году, в период развязанной партийными чиновниками антисемитской кампании, Дрожжинский по-

кидает свою родную Польшу и находит убежище в Западной Германии, в городе Дюссельдорфе. Он много печатается в газетах и журналах, пишет книгу «Еврейская мудрость», которая становится бестселлером.

В издательстве «Дросте» выходят в свет книги Дрожжинского — «Анекдоты Восточной Европы» и «Еврейские анекдоты и шутки». И вот — «Анекдоты со всего света».

В предисловии к этой книге сам автор пишет так:

«...Существуют люди, которые собирают всевозможные предметы: марки, монеты, картины и тысячи иных вещей. Я тоже принадлежу к этой мафии собирателей. Но только моя страсть коллекционера носит иной характер. Я собираю человеческие истории и анекдоты. Это основа моей литературной деятельности, это смысл и содержание моих книг!».

Я бы сказал, что здесь автор явно скромничает. Он, разумеется, не просто собиратель. Всякий журналист, всякий писатель знает, как нелегко, как порою просто почти невозможно записать, изложить на бумаге услышанную устную историю, рассказанную, как говорится, «к случаю».

Особенно трудно записывать анекдоты. Ведь анекдот — это самая краткая и едва ли не самая емкая литературная форма, это самый маленький театр на свете, где рассказчик — и автор, и исполнитель, и режиссер, и даже некоторым образом художник и и гример.

Как же сохранить все это своеобразие — голоса, мимики, пауз и ускорений — в записи на бумаге?! Для этого нужно быть, конечно же, не только собирателем и любителем анекдотов, но и тонким, своеобразным писателем.

Мне кажется, что Александр Дрожжинский доказал (и вполне убедительно), что он именно такой вот — тонкий и своеобразный писатель.

Особенно хороши в книге «Анекдоты со всего света» разделы «Польский» и «Советский». Здесь воистину слышишь и голос рассказчика, и его речевую манеру, и его отношение к тому или иному событию и, что особенно примечательно, обстановку, в которой данная история рассказывается.

В заключение этой короткой рецензии я просто не могу удержаться, чтобы не процитировать одну из ис-



торий «Польского раздела», — так, как рассказана она Александром Дрожжинским:

« — Некий иностранный коммунист во время своего визита в Польшу беседует с пожилой женщиной, которая жалуется:

— Перед войной у нас было всё: достаточно мяса, овощей, одежда было очень дешёвая! А сегодня: мясо — редкость, одежда — редкость и притом очень плохая и дорогая!

Собеседник возмущается:

— Что вы мне рассказываете всякие небылицы! Я коммунист...

Женщина перебивает:

— Да, да! Перед войной у нас в Польше тоже были коммунисты. Но сегодня и они — редкость!..»

...Мне думается, что шах из старой притчи был прав: когда народ смеется — это опасно для властителей!

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИТМ»**  
**БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО ПОЭТА**

17, avenue de Celle, Meudon-la-Forêt,  
92360 France · Tél. 631-10-61

Елена Игнатова

**Стихи о причастности**

Париж, 1976

Вторая книга серии, выпускаемой издательством «РИТМ»

**ЕЛЕНА ИГНАТОВА** — молодой ленинградский поэт. За десять лет творчества ей удалось опубликовать лишь два стихотворения в СССР.

**ИГНАТОВА** — один из самых популярных сейчас поэтов самиздата в Ленинграде. Стихи ее публиковались только за рубежом — в журналах «Континент» № 6 и «ГРАНИ» № 98. «Из всех известных мне нынешних русских поэтов, Игнатова кажется самым глубоким по внутреннему религиозному звучанию и по певческой ясности образов». (Из предисловия В. Бетаки.)

Книга состоит из двух разделов:

1. Брошенная столица · 2. Хлебный ангел

На обложке — портрет автора и автограф.

В тексте — неизданные фотографии известных ленинградских фотохудожников.

80 стр. Цена — 20 фр. франков · Книготорговцам —  
обычная скидка.

*Вышла из печати книга: ВИАЛЕТТА ИВЕРНИ «Стихи».*  
*Следующий выпуск: АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ «Дуда и мак».*

# По страницам журналов

## «Magazine littéraire»

Париж, июнь 1977

«Магазин литерер» — парижский литературный журнал, большинство номеров которого является тематическими, представляя читателю своеобразные «досье» о каком-либо писателе, направлении в литературе или определенной литературной проблематике. Июньский номер 1977 называется «СССР: литература диссидентства». Этот номер, с портретом Солженицына на обложке (рисунок на основе известной фотографии в лагерной одежде с нашитыми номерами), разошелся почти мгновенно: так велик сегодня во Франции интерес ко всему, что происходит в нашей стране. О самом Солженицыне на этот раз не говорится отдельно, так как в 1972 ему было целиком посвящено аналогичное «досье» журнала, но имя его, конечно, не раз возвращается и в статьях, и в интервью, и в справочных материалах, собранных в этом номере.

Составление «досье» — труд двух энтузиастов независимой русской литературы: профессора Женевского университета Жоржа Нива и журналиста парижской газеты «Либерасьон» Марка Кравеца (эта левацкая — но стоящая вне партийных группировок — газета сейчас стала для французского читателя наиболее полным источником информации обо всем, что происходит в Советском Союзе и странах Восточной Европы). В подготовке номера участвовал также недавний москвич Николай Боков, который помог французам разобраться в трудно понимаемой западными людьми технике распространения самиздата, а кроме того, написал статью о самиздате как «новой культуре», отходя от банального и неверного термина «вторая культура».

В номере помещен ряд интервью с людьми, имеющими самое непосредственное отношение к неподцензурной литературе и самиздату: с Натальей Горбаневской, Владимиром Максимовым, Виктором Некрасовым, Леонидом Плющом,

Андреем Синявским. В интервью представлено и независимое изобразительное искусство: о нем рассказывают Эрнст Неизвестный и Михаил Шемякин. «Досье» завершается большим справочным словарем с разъяснением терминов, с биографическими справками, с перечнем основных изданий и издательств за рубежом и т. д. Особое место в журнале занимают два имени: Александра Зиновьева, книга которого недавно вышла по-французски в блестящем переводе Владимира Береловича и уже производит большое смятение в умах интеллигенции проибанской ориентации; и — трагически погибшего Юрия Галанскова, за которого некогда, в знаменитом мае 1968, отказались вступить бунтующие студенты Сорбонны (провозглашенная ими «свобода для всех» оказалась ограниченной, и несколько студентов, которые хотели поставить в Сорбонне стенд в защиту Галанскова и Гинзбурга, были вышвырнуты из здания руками свободолюбивых революционеров). Имя Галанскова не только всплывает и в интервью, и в рассказе о самиздатских поэтических журналах — в «Магазин литерер» напечатаны переведенные на французский его стихи.

Не по законам рецензии («да, но нельзя не отметить»), а по необходимости приходится указать на несколько существенных ошибок. Несущественные или не такие существенные (поскольку неряшливая западная журналистика обычно допускает их гораздо больше) ошибки тоже есть: путаница в датах, некоторые смещения событий. Из более серьезных хочется сказать о следующем: Александр Гинзбург никогда не был поэтом, каковым его упорно именуется журнал, — его деятельность в качестве составителя и издателя «Синтаксиса» была бескорыстной работой партизана свободной словесности, и титул поэта не может прибавить ему никакой славы. Еще более серьезно вполне ошибочное утверждение, что «Хроника текущих событий» прекратила свое существование в 1973 году и потом, в обедненном из-за отсутствия информации виде, была восстановлена в Нью-Йорке Валерием Чалидзе. Московская «Хроника текущих событий» временно не издавалась с начала 1973 до мая 1974 года. В мае 1974 были выпущены сразу четыре номера, подготовленные, но не вышедшие в эти полтора года. С тех пор «Хроника текущих событий» продолжает регулярно выходить, превысив уже сорок номеров (остановка была

после 27-го) и *переиздается* издательством «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке. Выходящая там же основанная Валерием Чалидзе «Хроника защиты прав человека в СССР» не ставит целью заменить или дублировать московскую «Хронику», но отражает борьбу наших эмигрантов и западной общественности за советских правозащитников и публикует документы самиздата, не вошедшие целиком в московские выпуски. Видимо, незнанием с деятельностью издательства следует объяснить как эту досадную ошибку (и это накануне того, как готовится регулярное французское издание московской «Хроники»!), так и то, что «Хроника-Пресс» не вошла в список западных издательств, печатающих русские книги. А между тем, «Хроника-Пресс», кроме публикации этих двух журналов, выпускает самиздатские материалы (в том числе прямо связанные с литературой, как «Открытое слово» Л. Чуковской или «Литературные дела КГБ»), исторические издания (например, впервые собранные в одну книгу произведения декабриста Лунина) и книги авторов, живущих на Западе, — среди них надо отметить три интереснейшие книги самого Чалидзе: «Права человека и Советский Союз», «Лекции о правовом положении рабочих в СССР» и «Уголовная Россия» (рецензия на эту последнюю — см. «Континент» № 12). Это же издательство выпустило книгу Марченко «От Тарусы до Чуны», уже известную и французскому читателю. Может быть, в этом пропуске сказался некоторый европоцентризм, даже «континентализм» (не от названия нашего журнала), так как отсутствует и лондонское издательство «Overseas», всё чаще выпускающее книги по-русски (и русскую литературу, например — «В тени Гоголя» и «Прогулки с Пушкиным» Терца, и переводы с чешского и польского). Видимо, из-за того же «европоцентризма» нет справок о таких авторах самиздата, как Вольпин, Литвинов, тот же Чалидзе (ныне все — в США). И ничем не объяснимо отсутствие каких бы то ни было сведений о покойном Илье Габае.

## «Opinia»

1977, № 1

Новый журнал «Опинья» («Мнение»), вышедший в Польше, может показаться «журналом как все»: в начале — заглавие, лозунг, подзаголовок, в конце — адрес редакции, фамилии редакторов, приемные часы редакции, обращение к читателям о помощи в распространении (что, скажем, для маленьких западных газет и журнальчиков тоже нормально). Только вот напечатан он — на машинке, издан — в Варшаве, подзаголовок — «Журнал защиты прав человека и гражданина», а лозунг — «В своих правах ищи надежду». Тогда понимаешь специфику и риск и обращения к читателям, и публикации адреса редакции. В Советском Союзе так, с адресами составителей и редакторов, выходили, например, альманах «Феникс-66», продолжение которого не последовало из-за немедленного ареста его редактора Юрия Галанскова, журналы «Общественные проблемы» (под ред. В. Чалидзе, позднее лишенного советского гражданства) и «Вече» (под ред. Владимира Осипова, ныне отбывающего восьмилетний срок лагерей за эту откровенно легальную деятельность).

Редакция отмечает, что это не первый независимый журнал, издающийся в Польше, и что все издания такого рода являются осуществлением, а следовательно — укреплением свободы печати. Журнал предполагает не ограничиваться тематикой Движения защиты прав человека, но обращаться ко всем важнейшим проблемам польской современности. В первом номере помещены следующие материалы: редакционное вступление, редакционная статья «Характер и цели Движения защиты», Лешек Мочульский «На пороге тупика» (о политике польского партийного руководства), Станислав Малевский «Ратификация — а что дальше?» (о ратификации Польшей Пактов о правах человека), заметка «Без комментариев» (о низком проценте людей с высшим образованием среди партийно-хозяйственного руководства в Келецком воеводстве и об отсутствии рабочих мест для выпускников тамошнего политехнического института), Валенты Недбал «Нынешняя экономическая ситуация», заметки «Рост или падение» (о снижении доли потребления и расходов на образование, воспитание, здравоохранение, социальное обеспечение и физическую культуру в национальном доходе), «Во имя

чего?» (о делах цензурных), обзор печати, документы и информация Движения защиты прав человека и гражданина, письма в поддержку Движения.

Журнал выходит под редакцией Казимежа Януша, Лешека Мочульского и Войцеха Зембинского. Адрес редакции: Варшава, Черняковская, 34, кв. 120, тел. 400180, приемные дни: понедельник и пятница от 17 до 18.00.

## *Slavic Review*

1976, № 4

*Slavic Review* — ведущее американское издание в области истории, экономики, культуры России и других славянских стран. Журнал издается Американским обществом научной славистики, редакция его расположена в Иллинойском университете, известном, в частности, своей коллекцией русских и славянских книг (более 600000). Редактор журнала — профессор Иллинойского университета Джеймс Миллар, в составе редколлегии — Джон Армстронг (Висконсинский университет), Стивен Козн (Принстонский университет), Николай Рязановский (Калифорнийский университет), Ричард Пайпс (Гарвардский университет), Глеб Струве и др.

В рассматриваемом номере почти все статьи посвящены русской и советской истории. Он открывается статьей профессора Квинз Колледжа (Нью-Йорк) Майкла Дохэна «Экономические причины советской автаркии. 1927/28-1934». Автор останавливается на известных фактах резкого подъема, а затем резкого сокращения советской внешней торговли в рассматриваемый период времени. Примерно до 1931 можно было наблюдать постоянное возрастание ее объема. Так в 1927/28 экспорт из СССР составил 782, а импорт 946 млн. золотых рублей. В 1930 экспорт возрос до 1036 млн., а импорт до 1059 млн. золотых рублей. Постепенно снижаясь, в 1934 экспорт составил 418 млн., а импорт 232 млн. золотых рублей, еще более снизившись в последующие годы. Обычно западные ученые объясняли это сознательной политикой Сталина, стремившегося достичь экономической автаркии. Дохэн оспаривает эту точку зрения, перечисляя следующие причины падения внешней торговли СССР: 1) сокращение возможности экспортировать некоторые товары, в особен-

ности сельскохозяйственные; 2) утрата экспортных рынков из-за торговых барьеров (т. е. по вине Запада); 3) изменение советских условий торговли; 4) накопление краткосрочных долгов за рубежом; 5) внезапное сокращение доступности и даже удорожание иностранного кредита (т. е. опять вина Запада). «Резкое сокращение и последующий застой советской внешней торговли был взаимодействием всех этих непредусмотренных факторов, а не умышленной политикой автаркии...» Исходя из этого, автор оценивает и современное состояние советской внешней торговли. Он утверждает, что советская экономика не является автаркической в принципе, и ее связь с внешним миром зависит только от возможности найти источники экспорта, рынки сбыта и разумный кредит.

Эта статья вызывает ряд недоумений. Прежде всего, сразу хочется взять под сомнение правомерность приравнивания экономики СССР тридцатых и семидесятых годов. Автору следовало бы доказать, что характер советской экономической модели с тех пор не изменился, что было бы весьма затруднительным. В самом деле, нынешняя советская экономика не носит автаркического характера. Она уже исключительно зависима от экономики западных стран, накопив к тому же фантастический долг в несколько десятков миллиардов долларов. Но это результат принципиального изменения советской экономической политики в послесталинский период. Поэтому любая экстраполяция экономики тридцатых годов на современный период выглядит анахронизмом. Майкл Дохэн как бы старается показать, что виной малого объема советской внешней торговли в тридцатые годы была ошибочная политика западных стран. Он забывает, видимо, о том, что все тридцатые годы СССР непрерывно получал с Запада тот минимум промышленного оборудования, который был необходим для развития его военно-промышленного комплекса, и что без этого оборудования СССР не смог бы оформиться в современную промышленную державу. Похоже, что работу Дохэна следует рассматривать в рамках так называемого «ревизионистского» направления в американской исторической школе, которая понимается ее авторами как реакция на историографию периода «холодной войны», которая будто бы создавала «черно-белую» картину мира. Эта школа старается найти как



можно больше положительного в СССР и как можно больше отрицательного в США.

Но эта статья, надо отдать должное, выглядит одиноко по своей методологической направленности среди других статей журнала. Для читателя особенно интересной покажется статья проф. Иллинойского университета, известного специалиста по советской литературе Мориса Фридберга «Библиофилы Советской России и их враги». Его точкой отправления является статья о библиофильстве из нового издания Большой Советской Энциклопедии. Проф. Фридберг замечает, что сам факт появления этой статьи представляет определенный прогресс, так как в прежнем издании БСЭ нет об этом ни слова. Библиофильство не упоминается ни в Литературной энциклопедии 1929 года, ни в Краткой Литературной Энциклопедии 1962 года. Русское библиофильство, говорит Фридберг, ведет свое начало по крайней мере с Курбского. Большевики с момента прихода к власти объявляют войну библиофилам. 27 декабря 1918 Народный комиссариат просвещения издает указ о конфискации частных библиотек с числом книг, превышающим 500, с некоторыми исключениями, причем 4 сентября 1919 Ленин дает указание о том, чтобы такие исключения, по возможности, сократить до минимума. Быть может, Фридберг переоценивает эффективность этого распоряжения. В более поздний период этот драконовский закон не соблюдался. Фридберг перечисляет таких известных библиофилов советского периода, как Модзалевский, Пиксанов, Десницкий, Демьян Бедный, но, к сожалению, обходит молчанием имя крупнейшего библиофила, артиста Смирнова-Сокольского.

Фридберг рассказывает, как началось систематическое изъятие книг из библиотек по спискам сверху. «Честь» начала этой традиции принадлежит Крупской. В одном из ее циркуляров указаны следующие авторы, предназначенные для изъятия из народных библиотек: Декарт, Кант, Спенсер, Шопенгауэр, Тэн, Платон, Метерлинк, Кропоткин, Лосский, Соловьев и др. В качестве недавно на шумевшего примера изъятых книг в статье указывается и на «морально-устаревшую» книгу «Беломорско-Балтийский канал», изданную в 1934 и использованную Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг». Всё же надо отметить, что борьба против старых и «морально-устаревших» книг в СССР не была уж

очень успешной, и это было одним из поражений советского режима. На этих книгах воспиталось множество людей.

В статье «Загадка дела Гайды в чехословацкой политической жизни 1926 года» Джонатан Зорах рассказывает о генерале Радоле Гайде (1892-1948), известном еще как командир Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России. К 1926 году Гайда был начальником генерального штаба Чехословацкой армии, но был снят со своего поста и осужден. После своего смещения Гайда возглавил союз чехословацких фашистов. Интересно то, какую роль сыграл в деле Гайды СССР. Дело в том, что среди различных обвинений, выдвинутых против Гайды в Чехословакии, были его «контакты» с советской стороной и передача им советскому агенту в Париже двух секретных книг из Парижского военного училища, в то время, когда Гайда в 1920 проходил там стажировку. Эти обвинения звучат очень странно, если учесть, что Гайда был ярким антикоммунистом и даже профашистом. Зорах предполагает, что советский посол в Чехословакии Антонов-Овсенко сфабриковал про Гайду ложные сведения, причем сделал это с полного согласия Бенеша и Масарика, которым хотелось избавиться от него. Это показывает, к каким методам прибегал СССР уже в то время, чтобы дискредитировать своих противников.

Профессору Пенсильванского университета Роберту Химмеру принадлежит статья «Советская политика в отношении Германии во время русско-польской войны 1920 года». Она проливает свет на то, как СССР впервые стал пользоваться разногласиями между западными странами, сделав это впоследствии краеугольным камнем своей политики. Химмер приписывает эту заслугу Троцкому. Ленин видел в нападении Польши результат общих усилий Антанты, а Германию рассматривал лишь как орудие в ее руках. В то же время Троцкий считал, что за спиной Польши стоит, в основном, Франция. Он знал также о внутренних разногласиях в Англии и Германии по вопросу о польском нападении. Точка зрения Троцкого победила, и это послужило основой как торговых соглашений СССР с Англией и Германией, так и Рапвальского договора. Причиной неадаптивности Ленина было то, что, нетерпеливо ожидая мировой революции, он не считался с реальным политическим положением в мире.

Две интересных статьи посвящены истории дореволюционной России. Профессор Торонтского университета Роберт Юджин Джонсон публикует статью «Миграция крестьян и русский рабочий класс. Москва в конце XIX века». Почти сто лет прошло, — говорит Джонсон, — с тех пор, как русские марксисты и народники начали полемику о социальных последствиях индустриализации, и примерно 70 лет с тех пор, как большевики и меньшевики стали спорить о зрелости русского рабочего класса. Автор пытается выяснить, как именно формировалось рабочее население Москвы и в какой степени оно было связано с крестьянством. Он указывает как на неоспоримый факт, что большинство фабричных рабочих в России вышли из крестьянского сословия. До законодательства 1906 г. крестьянин, переезжавший на фабрику или вообще в город, не мог юридически прекратить свои обязательства по отношению к деревенской общине, где он родился, и примерно 90% рабочих Москвы юридически были крестьянами. Была ли эта юридическая зависимость простой формальностью? Имеются два ответа на этот вопрос. Один из них, марксистский, рассматривает перемещение крестьян в город как положительный процесс, подчеркивая разрушение патриархальных связей и рост классового пролетарского сознания.

Противоположного взгляда придерживаются многие западные ученые. Они, напротив, обращают внимание на отрицательные последствия этого процесса, а именно — на разлагающее влияние фабрики на крестьян, и используют такие понятия, как отчуждение, кризис самосознания и т. д. Можно к этому добавить, что подобный взгляд могут разделить также Солженицын, Максимов, Солоухин и другие русские писатели, изображающие распад русского народного быта. Западные ученые, разделяющие подобную точку зрения, — говорит Джонсон, — полагают также, что русский крестьянин-рабочий был лишен корней, ожесточен и склонен к анархическому насилию в духе Пугачева. Более того, уникальное сочетание крестьянского недовольства в стране с распылением крестьян по фабрикам и заводам рассматривается как один из источников революционных настроений рабочих. Именно бывшие крестьяне, по словам автора, были наиболее склонны к политическому экстремизму после 1912 года. Джонсон предпринимает анализ возрастного распределения

крестьян и некрестьян в московском населении и обнаруживает, что число крестьян в возрасте с 40 лет и выше снижается непропорционально и это нельзя объяснить повышенной смертностью среди них. Единственной причиной этого, считает Джонсон, был отъезд крестьян из Москвы, хотя невозможно доказать, возвращались ли они в родные места. Самый главный вывод, который делает Джонсон, заключается в том, что нельзя провести жесткой грани между рабочими и крестьянами. Имело место постоянное двустороннее движение между городом и деревней, которое затрагивало не только неквалифицированных рабочих, но и ветеранов. Профессиональные городские рабочие составляли лишь меньшинство фабричных рабочих.

Профессор университета «Джордж Вашингтон» Стивен Грант публикует статью «Община и мир». Его интересует вопрос, в чем разница между этими двумя словами, характеризующими дореволюционную русскую деревню. Он отмечает, что до настоящего времени нет удовлетворительного определения этих терминов. Грант пытается сам дать временные определения. По его мнению, «мир» — это слово, которое сами крестьяне присвоили стихийно сложившейся крестьянской организации в ранний киевский или даже докиевский период. Слово «мир» просуществовало до XIX века и понималось как собрание крестьян данной деревни или же ее глав семейств. Но примерно с 1840 оно стало заменяться сверху словом «община», имевшим очень неопределенный смысл и, по-видимому, употреблявшимся в узком смысле для обозначения коллективного владения землей с ее перераспределением. Автор отмечает, что «мир» и «община» не идентичны, и выражает сожаление о том, что русские образованные люди с их романтическим отношением к народу вытеснили народное и очень удачное выражение «мир» — неологизмом «община».

Значительную часть журнала всегда занимают рецензии на вышедшие недавно книги. В данном номере помещено несколько десятков рецензий, в том числе на английские переводы книг Павла Милюкова, Бориса Пильняка («Голый год»), Владимира Набокова («Рассказы»), Льва Шестова («На весах Иова»), Леонида Гроссмана («Исповедь еврея»). Публикуются рецензии на новые книги о Бакуanine, Тютчеве, Мережковском, Синявском, Троицком и др.

В журнале приводится список докторских диссертаций по тематике журнала, защищенных в 1975-1976 в США, Канаде и Англии. Обращает на себя внимание диссертация Нины Тумаркиной-Фосберг «Культ Ленина. Его происхождение и раннее развитие», защищенная ею в Гарвардском университете. Только в диссертациях, посвященных русской и советской литературе, рассматриваются Гоголь, Чехов, Случевский, Баратынский, Александр Грин, Розанов, Лесков, Тургенев, Михаил Булгаков, Куприн, Сергей Аксаков, Короленко, Солженицын, Скворода, Андрей Белый, Пастернак, Маяковский, Вознесенский, Пушкин, Леонов, Федор Сологуб, Булгарин, Греч, Ясенский, Шагинян, Симеон Полоцкий, Достоевский, Некрасов, Замятин, Хармс, Александр Введенский, Вячеслав Иванов, Шмелев, Тендряков, Фазиль Искандер, Набоков, Блок, Мандельштам, Зощенко, Лев Толстой, Ходасевич, Вельтман, Державин, Герцен. Список внушительный...

**Читайте в следующем  
номере «Континента»**

Проза:

**В. Максимов, Д. Дар, Н. Муравина,  
А. Кольман**

Стихи:

**И. Бродский, Л. Халиф**

Публицистика:

**«Новая левая» — А. Глюксман,  
М. Клавель, М. Фуко**

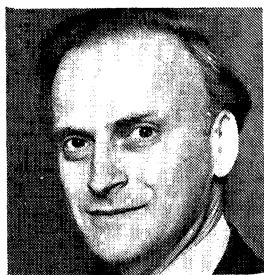
# Наша анкета

## ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОЙДЯ ДО ПОЛОВИНЫ...

*От редакции: Ниже мы предлагаем нашему читателю новую форму интервью — интервью коллективное. Шесть крупнейших музыкантов современности отвечают на вопрос «Континента» о своем коллеге — нашем земляке Мстиславе Ростроповиче — в связи с его пятидесятилетием.*

Вопрос: Как вы оцениваете значение Мстислава Ростроповича в музыкальной культуре нашего времени? Как видится его творчество вам, его коллегам, и что, по вашему мнению, главное в нем? Чем он обогатил современную музыку?

*Отвечает Иегуди Менухин.*



Я думаю, что если бы Бетховен был знаком с нашим дорогим Славой, он бы посвятил свою искреннюю молитву — то место из «Оды к Радости», где говорится, что настанет день, когда «все на свете будут братьями» — своему приемному «сыну с небес» Мстиславу Ростроповичу.

Ибо сам Ростропович — словно небесный фрагмент из бетховенского «Gottentunken» — фигура, подобная Прометею, в конце концов освобожденному от цепей, чтобы принести всем нам тепло, свет и радость.

В прошлом году Ростропович украсил своим участием мой шестидесятилетний юбилей, дав блистательные концерты в двух родных моих городах — Лондоне и Нью-Йорке. Сегодня моя очередь чествовать этого великого музыканта в связи с его пятидесятилетием.

От всей души желаю ему оставаться таким же тонким, гуманным в самой сути своей, столь же неизменным и благородным вдохновителем для коллег его — музыкантов, как и для всех людей вообще.

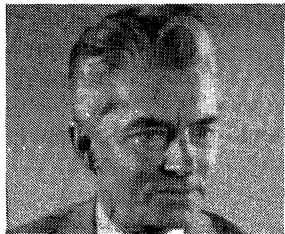
*Отвечает Ленни Бернстайн.*



Это явление крупнее любых оценок, которые можно было бы сформулировать в словах. Каждая минута жизни Ростроповича, подаренная нам, его слушателям и почитателям, это лучшее время в тягучем потоке наших смертных дней и часов.

Каждый час — это целый месяц праздников, целый месяц радости. Что можем мы пожелать ему в день его пятидесятилетия? Да благословит его Господь Своей любовью на следующие полвека!

*Отвечает Герберт фон Кароян.*



О моем дорогом коллеге Мстиславе Ростроповиче я хочу прежде всего сказать как о дирижере. Взлет его дирижерского мастерства, его небывалый успех в этой области чрезвычайно меня радует. Эта радость омрачается лишь тем, что



не так часто случается мне выступать с ним вместе на одной сцене.

*Отвечает Исаак Стерн.*



Помню, как 10 мая 1956 года, после одного из концертов в Ленинграде, я получил известие о самом радостном в моей жизни событии: рождении дочери. Жена сообщила мне, что Слава Ростропович, который через неделю возвращается из Америки в Советский Союз после гастролей, привезет мне фотографии новорожденной. Теперь мы оба были счастливыми отцами: за три месяца до того у него тоже родилась первая дочь. Глубоко личное и памятное связалось для меня с его именем. Наша дружба основана на личной близости, а не только на общности музыкальных интересов. И за 21 год этой дружбы наша внутренняя связь, наша теплая привязанность друг к другу выросла и углубилась — во время личных встреч в России, в разных европейских городах и в самых разных концах США. За это время наш друг Слава стал одной из величайших фигур современности. Он зажигает музыкальную Америку вулканическими взрывами таланта, энергии и заразительного энтузиазма. Он настолько быстро завоевал признание и среди своих коллег, и среди широкой публики, что нет надобности говорить об этом лишний раз.

Это редкостнейший талант, он, несомненно, самый блестящий из музыкантов-исполнителей в западном мире.

Как человек глубоких принципов, всей душой верящий в человеческую порядочность и в изначальность человеческой свободы, он стал символом надежды

для миллионов людей, что само по себе далеко выходит за рамки музыкальной деятельности.

Ростропович согласился принять пост музыкального директора Национального симфонического оркестра в Вашингтоне — я думаю, что Америка счастлива и благодарна ему за эту честь. Мы ждем его с большой радостью. Мы знаем, что его безграничное воображение, его творческое богатство, свойственная ему необычайная способность находить контакт с оркестром, композиторами и солистами — с ведущими музыкантами нашего времени — обещают дать самые высокие результаты. Мы не сомневаемся, что это будет услышано и отмечено всем миром.

*Отвечает Артур Рубинштейн.*



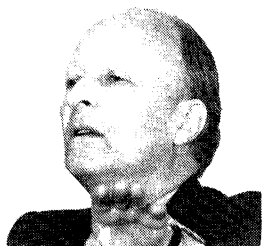
Самое главное в Ростроповиче — его музыкальная личность. Это невероятно много значит. Есть большие виолончелисты, которые хорошо играют, но от них не исходит ничего необычайного. А он — он не только чудесно играет, это само собой, — но он вкладывает свою личность в каждого. Все слушатели становятся словно бы частицами его самого. Публика впитывает его, пьет его, как его музыку. Он вдохновляет. Вдохновляет композиторов. Для него, из-за него написали концерты для виолончели композиторы, которые иначе и не подумали бы писать что-либо для этого инструмента. Для него написал Бриттен, написал Сеге — француз, который вообще мало пишет, член Французской Академии и, быть может, самый лучший сейчас из французских композиторов. А в России — Прокофьев, Шостакович, да и другие, которых я мало знаю — вот, скажем, есть там такой молодой компо-

зитор Борис Чайковский. Я многих имен сейчас не могу вспомнить, но знаю, что концерты специально для Ростроповича писали очень многие композиторы. Во всем мире.

Когда-то Йоахим и Хаусман так же вдохновили Брамса. Ростропович в этом совершенно гениален. А публика! Я услышал о Ростроповиче, когда он впервые приехал в Америку — он дал шесть концертов. Такого не было никогда — чтобы виолончелист играл шесть концертов подряд, даже в Нью-Йорке. Обычно и на одном концерте зал бывает неполон. Даже Казальс никогда не имел полного зала в Америке. Потому что виолончель для публики всегда была немного чужой — не то что скрипка. А Ростропович дал шесть концертов! Это было невероятно!

Так что главное в том, что Ростропович — не только великий виолончелист, но это — титаническая личность. А гениальность личности — в сотни раз более редкое явление, чем гениальность творчества.

*Отвечает Витольд Лютославский.*



Это совершенно исключительный феномен. Гигантская личность. Он все может, во все проникает. Он может быть очень хрупким, тонким, легким, — и может быть неистово буйным. Ростропович обладает необыкновенной широтой индивидуальности, и в своем многообразии он един. Вулканический темперамент поднимает его до самых вершин. Его интерпретация Дебюсси с Бенджаменом Бриттеном — образец красоты, целомудрия и изящества.

## ДЕКЛЯРАЦІЯ СОЛІДАРНОСТІ

(З приводу «Деклярації в українській справі», підписаної діячами польської, російської, угорської і чеської еміграцій)

У травні 1977 року 14 видатних діячів польської, російської, угорської і чеської еміграцій підписали і проголосили друком «Деклярацію в українській справі», яка є свіжим словом у політичному житті емігрантів та відкриває нові перспективи для їхньої і їхніх народів співпраці на нових справедливих засадах. «Деклярацію» передрукували українські пресові органи всіх політичних напрямів. Наскільки ми могли ствердити, вона викликала широкий відгомін у суспільствах, серед яких автори працюють.

У «Деклярації» згадано про кривди, що їх зазнав український народ від польського імперіялізму впродовж багатьох століть; засуджено російський імперіялізм; висловлено признання для українського народу за його послідовну боротьбу за державність; відзначено передове місце української визвольної боротьби серед народів Радянського Союзу та підкреслено, що поляки, росіяни, угорці і чехи не будуть повністю вільними, коли не стануть вільними українці, білоруси, литовці. Автори звернулися із закликом до російського народу, щоб він відвернувся від політики імперіялізму, а разом з тим заапелювали до російської еміграції і до російського опозиційного руху в Радянському Союзі, щоб вони співпрацювали з українськими борцями за незалежність України.

Ми, Український Демократичний Рух, що об'єднуємо на базі федерації три політичні партії: Організацію Українських Націоналістів за кордоном (ОУНз), Українську Революційно-Демократичну Партію (УРДП), Українське Національно-Демократичне Об'єднання (УНДО) та незалежних українських демократів, — вітаємо «Деклярацію» і її авторів за моральну підтримку, яку вони своїм виступом дали українському народові в час його важких випробувань.

Проте, ми вважаємо потрібним висловити наше застереження до тієї частини «Деклярації», де говориться, що автори змагатимуть «до утворення такої ситуації, в якій українці могли б свobodно висловитися, чи вони бажать самостійного державного існування». Пригадуємо, що український народ за останні понад 60 років мав уже кілька таких ситуацій і кожна з них використав на те, щоб жертвами крові і майна підтвердити, що його ідеалом була і є самостійна українська держава.

Ми радіємо, що в «Деклярації» засуджено імперіялізми і тому, сповнені духом нових можливостей, пересилаємо польському, російському, угорському і чеському народам наші щирі вітання, а разом з тим побажання повного визволення з-під чужого панування. Український народ, залишаючи за собою трагічні події минулого, готовий докласти всіх зусиль до того, щоб улаштувати співжиття із своїми сусідами на базі взаємного довір'я, миру і приязні.

Сподіваємося, що «Деклярація» стане поштовхом до створення сприятливого клімату для того, щоб демократичні сили народів Радянського Союзу, сателітних держав і тих, які працюють на еміграції, стали одним фронтом у боротьбі за національне, соціальне і політичне визволення.

*Роман Барановський (США), Роман Борковський (США), Василь Витвицький (США), Олег Волянський (США), Михайло Воскобійник (США), Федір Гаєнко (Німеччина), Йосип Грняк (США), Яків Гніздовський (США), Василь Гришко (США), Михайло Добрянський (Англія), Іван Дубилко (Канада), Роман Ільницький (США), Анатоль Камінський (США), Григорій Костюк (США), Володимир Кубійович (Франція), Юрій Лавріненко (США), Анатолій Лисий (США), Юрій Луцький (Канада), Любомир Макарушка (Німеччина), Омелян Пріцак (США), Мирослав Прокоп (США), Богдан Рубчак (США), Іван Лисяк-Рудницький (Канада), Олег Федішин (США), Атанас Фіголь (Німеччина), Марко Царинник (Канада), Юрій Шевельов (США), Олекса Яворський (Канада).*



# «ПОСЕВ»

Общественно-политический журнал

Выходит с 1945 г. за рубежом ежемесячно

**«Посев»** участвует в борьбе за право, свободу и справедливость в России; по мере сил поддерживал и поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях и на всех этапах его развития; информирует о России и из России; публикует материалы, отражающие развитие политической и общественной мысли нашей страны, аналитические, проблемные, дискуссионные статьи; освещает важнейшие мировые события с российской точки зрения.

*Ежеквартальное приложение — «Вольное слово»* — сборник избранных самиздатовских материалов: документов, статей, обращений, записей судебных процессов, и т. п.

Удешевленная подписка в издательстве:

«Посев» и «Вольное слово» — 65 н. м., «Посев» — 50 н. м.

Подписка через магазины: «Посев» и «Вольное слово» — 78 н. м., «Посев» — 60 н. м.

Доплата за воздушную доставку «Посева» в Сев. Америку и на Ближний Восток — 20 н. м. В Юж. Америку и на Дальний Восток — 30 н. м.

«Посев» в Австралии с доставкой возд. пакетом и рассылкой на месте — 24 ав. дол.

Адрес: POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,  
D - 6230 Frankfurt/Main 80

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Наталья Горбаневская</b> — Три стихотворения Адаму Михнику	5
<b>Виктор Некрасов</b> — Взгляд и нечто. Часть вторая. Окончание	7
Стихи <b>Ильи Рубина</b> Предисловие Р. Нудельмана	83
<b>Анатолий Гладилин</b> — Репетиция в пятницу. Окончание	91
<b>Иосиф Бродский</b> — В Англии. Стихи	132
<b>Казимеж Орлось</b> — Дивная малина. Продолжение	139
Стихи украинских поэтов. В переводах Игоря Качуровского	170
<b>Гелий Снегирев</b> — Мама моя, мама... Продолжение	173

### СТИХИ

<b>Михаил Крепс</b>	204
<b>Михаил Айзенберг</b>	206
<b>Алексей Цветков</b>	209

### РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

<b>Михаил Карпович</b> — Русский империализм или коммунистическая агрессия?	215
--	-----

### ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

<b>Эдуард Оганесян</b> — Я — националист!	235
---	-----

### ЗАПАД — ВОСТОК

<b>Май фон Дардел</b> — Письмо министру юстиции СССР В. И. Теребилову	253
<b>Харальд Вигфорсс</b> — Рауль Валленберг — арестант, похороненный заживо	258

## ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Алексей Лосев — Жратва 269

## ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

Петр Григоренко — Что же произошло на площади  
Пушкина в Москве 5 декабря 1976 года? 283

Томас Шуман — Расслабление Радио Канада 290

## ИСТОКИ

Юрий Потехня — Из прошлого Джугашвили-  
Сталина 303

## НАША ПОЧТА

Б. Шарир — Письмо в редакцию 311

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Герман Андреев — В стране строго алогичной  
закономерности 315

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 335

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий Мальцев — «Матренин двор» в Италии 339

Эммануил Райс — Василь Голобородько 341

Василий Бетаки — Две истории 352

Андрей Разумовский — Карл-Густав Штрём:  
«Без Тито» 359

В. Карлинский — Опасные игры господ мыслителей 364

КОРОТКО О КНИГАХ 369

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 381

## НАША АНКЕТА

Земную жизнь пройдя до половины... 397



*Специальное приложение*



## НИ ВОЗГЛАСА ПРОТЕСТА В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ\*



«Когда Германия из-за своих раздоров превратилась в ничто, я объял сердцем ее единство и согласие». Эти слова Эрнста Морица Арндта я позволю себе привести в начале моих сегодняшних рассуждений — так же, как я их предпослал моей книге «Глядя из Берлина», послесловие к которой написал незабываемый Карл Теодор фон Гуттенберг.

Я искренне благодарю руководителей Фонда им. Якова Фуггера за высокую награду, которая присуждается мне здесь сегодня как издателю и публицисту. Моя благодарность тем глубже, что имя Якова Фуггера — это не только имя известного немецкого предпринимателя, но и имя одного из отцов газетного дела. Но торжественность минуты

---

\* Речь, произнесенная при вручении ему медали Якова Фуггера. Медаль была учреждена Баварским Союзом газетных издателей и Домом Фуггера. Название награды связано с именем Якова 2-го Фуггера (1459-1525), которому в 1514 году император Максимилиан I пожаловал титул рейхсграфа. Фуггер — аугсбургский купец — благодаря своим торговым связям способствовал всемирному обмену новостями и таким образом стал духовным прародителем современных газетных издательств и агентств печати.

не должна превратить выражение благодарности в одну лишь условность.

Признание моих заслуг как издателя должны разделить со мною мои сотрудники — женщины и мужчины, — те, кто был с нами с первых дней, и те, кто сегодня старательно и хорошо работает. Но мне надо было бы также воздать хвалу — и тут я формулирую робко и нерешительно — той таинственной силе, которая делает возможным удачный исход любой борьбы и любых стараний. Вильгельм Раабе сказал: «Кто мы все, как не посланцы, несущие запечатанные дары незнакомым людям!» Я вспоминаю фразу моего старшего друга, ушедшего в иной мир в конце прошлого года, — мужественного берлинского пастора Генриха Грюбера, который в самые темные времена показал нам свет иной Германии. Он когда-то сказал: «Я ничем в своей жизни не горжусь».

Мы, которые так им гордимся, знаем, что он имел в виду: он хотел показать, что христианин осознает предоставленные ему дары. Даже силу своего характера, заставившую его пойти с бывшими на его попечении евреями в концентрационный лагерь, он воспринимал как нечто, данное ему на время.

Берлинский старший пастор всю свою жизнь был мужественным — как и в нашем разговоре перед его восьмидесятилетием о современной германской политике, когда он назвал подписание «Основного договора» между ФРГ и режимом в страдающей части нашей страны одним из самых страшных событий немецкой истории, в котором Брежнев победил Бисмарка.

Из текста о вручении премии и из слов д-ра Эдмунда Банашевского, делающих мне честь, я заключаю, что помимо издательской работы, привлекли ваше внимание и сочтены достойными признания мои усилия в области примирения Германии с миром и моя неразрывность с Германией. Это признание мне не

только чрезвычайно приятно, оно мне помогает. Я вам искренне благодарен за то, что эта поддержка оказывается мне именно теперь, когда материя грозит полностью победить дух, а единение, право и свобода находятся на краю пропасти.

И еще одно обстоятельство я хотел бы присовокупить к словам своей благодарности: я откровенно признаюсь, что воспринимаю как исключительную честь вручение мне премии здесь, в вашей живой, полной стилевой выразительности столице Баварии, и увидеть столько собравшихся по этому поводу заслуженных и выдающихся людей. И все это — на фоне чудесных творений Кювилье, которые, наряду с Потсдамскими, принадлежат к самому блестящему рококо в нашей стране.

После Берлина ближе всего моему сердцу Мюнхен. Бавария — это государство, и поэтому здесь — народ, а не «общество», это набившее оскомину понятие. Политический глазомер, которым вы обладаете и который так приятно отличает вас от многих боннских дилетантов в политике, с моей точки зрения, ясно проявил себя при вашем походе в Карлсруэ.

Тогда Бавария никаким карканьям и никаким малодушным уговорам не дала отпугнуть себя от решения предоставить возможность Верховному Суду хотя бы с политически-правовой стороны поставить преграды на пути политической распродажи ФРГ, распродажи путем «Восточных договоров». Таким образом западногерманскому правительству и нашему народу напомнили о конституционной задаче — считать единство Германии, Германии свободной — высшей целью немецкой политики. С тех пор мое прусское сердце стучит с усиленным баварским звуком.

Я пришел к вам из моего дома у берлинской стены, из того города, который стоит в центре Европы представителем мирной Германии. И я верю в то, что мы призваны (и что в этом — одна из целей репара-

ций) превратить нашу лежащую в середине континента страну в стабилизирующий фактор Свободной Европы. Но этого невозможно ни желать, ни сделать — без Берлина.

Я чувствую с предельной ясностью, что наш долг — сохранить в сердцах идею неразделенной немецкой родины. Наш долг — никогда не поддаваться оппортунистическим соображениям, рожденным социалистическим духом времени. Ужасным результатом этого могла бы быть лишь Европа «Народного фронта».

И если я продолжу: нельзя отречься от Мекленбурга и Силезии, от Померании и Восточной Пруссии, то многим это будет понятно. Но некоторые не поймут. Разрешите мне уточнить, что именно я имею в виду. Нежелание отречься от вышеназванных областей — это не фетиш реакционера, жаждущего реставрации. Я не реваншист. Я и не националист. Я — немец, которому просто хочется свободы и права свободного передвижения для всех немцев, в том числе и для живущих в Веймаре, Кенигсберге и Данциге. Не только для нас здесь, на свободном Западе, но для всех немцев. В этом нашем стремлении речь идет не о границах и территориальном господстве. Ведь дело не в самой границе. Баварско-гессенская или баварско-австрийская, или даже немецко-французская границы — это лишь демаркационные линии между административными районами с одинаковой морально-жизненной основой, а не барьеры, не шлагбаумы насилия, неволи и бесчеловечности.

День, когда были подписаны «Восточные договоры», был одним из самых черных дней в моей жизни. В победном хмелю 1945 года союзники установили не границы, а демаркационные линии. Это означало, что во время мирных переговоров еще можно было бы договориться о каких-то уступках. Но в одно прекрасное утро все было отдано. Совершенно безвозмездно. И мир при этом не был укреплен.

Можно не спрашивать маклера по продаже домов, сколько эти квадратные километры означают в деньгах. Нас должно было бы удручать гораздо больше, что мы отдали людей, наших соотечественников, оставили их без нашей защиты в неволе и безнадёжности.

Мне не надо напоминать, что в конечном счете все произошло из-за гитлеровского насилия, из-за его безумной завоевательной войны.

Но нельзя проклинать гитлеровскую политику насилия и одобрять современную советскую политику насилия. Нельзя бороться и ненавидеть коричневую несвободу, а красную — любить и признавать ее право на существование, или даже только преуменьшать ее опасность. Система несправедливости остается системой несправедливости, независимо от того, какой она расцветки.

Это одна сторона медали. Другая: в эпоху крупномасштабных интеграций дело уже не в реставрации политического ландшафта XIX века. Исторические пространства в наши дни уже не могут быть сохранены или восстановлены только традиционными притязаниями на власть. В эпоху большой, основанной на идеологии переориентации, в конечной фазе советской завоевательной войны, эти пространства могут быть сделаны жизнеспособными и готовыми к обороне лишь в том случае, если на них будут царить принципы свободы. В противовес основанному на несвободе «пролетарскому интернационализму» необходимо базирующееся на свободе большое пространство, необходима западная интеграция на основе свободы, свободного передвижения, органического порядка, безопасности и человеческого достоинства. Не право владения, подтвержденное документами давно прошедших времен, гарантирует и узаконивает тесную связь. Идеал и реальность свободы — вот то, что своей творческой силой может и должно в будущем

приближать друг к другу и удерживать вместе территории и страны.

Когда-то Генри Киссинджер навестил меня в моем берлинском доме в Далеме. Входя в мой кабинет, он внезапно задал мне вопрос: «Вы — националист, господин Шпрингер?» Я ответил: «Нет, я сторонник свободы». И добавил: «Если вы хотите или можете исполнить свои обязательства, вытекающие из «Немецкого договора», с тем лишь условием воссоединения, что будет создано второе немецкое государство, в котором каждый гражданин может пользоваться теми же свободами, что и здесь; если он сможет читать, что ему захочется; если он сможет высказывать свое мнение; если он сможет выбирать для себя место работы и свободно голосовать за свою партию; если он сможет пересекать границу, когда ему этого захочется; и если он сможет быть уверен, что тайная полиция не постучится в 6 часов утра в его дверь, — да, я был бы согласен с таким вторым государством. Возможно, что я сам бы в нем поселился.

Свобода! Самое прекрасное, но и самое обесцененное в мире слово. Оно было на устах у всех угнетателей и тиранов. Анархисты подкладывают бомбы — во имя свободы. Красные знамена коммунизма, несущего в себе презрение к людям, полощутся вокруг транспаранта с надписью «Свобода!» Свобода для террористов, свобода для радикалов, свобода для переворотов, свобода для безудержного секса, свобода для абортотворения, — свобода для всего, внушающего брезгливость.

Несчастье нашего времени началось, когда Французская революция выдвинула наряду с идеалами свободы идеалы полного и абсолютного равенства, и социалисты всех оттенков переняли эту основную ошибку. Ибо свобода и равенство не могут быть идентичными понятиями. Конечно, должно существовать равенство перед законом. Но теория полного равенства всех



людей является смертным приговором для настоящей свободы.

Неужели кто-либо может всерьез утверждать, что в коллективистских государствах социалистического типа, управляемых единственной партией, господствует свобода? Там, где равенство понимается как одинаковость мышления, где для инакомыслящих нет места — там конец свободе. И не только свободе. Социалист Иосиф Дицген, которого Карл Маркс называл философом социал-демократии, выразил это в виде идеологического постулата: «Все исключительное должно быть снижено до обычного, естественного. Святыни должны пасть. Для того, чтобы невозможно было смотреть с гордостью на кого-то сверху вниз, мы должны прекратить смотреть на кого-либо снизу вверх».

Государство, основанное на свободе и праве, ради счастья людей должно предотвратить разрушение естественного неравенства. Ведь люди неодинаковы — это факт, с которым не поспоришь.

Лейбниц когда-то предложил придворным в шарлоттенбургском дворцовом парке набрать листьев и показать ему два совершенно одинаковых. Никто не смог этого сделать.

Но никто не охватил эту проблему словами лучше, чем Мартин Лютер, сказавший: «Нужно уметь отличать Христово царство от царства земного. Для христиан утешение, что мы все равны во Христе. В мирской же жизни неравенство должно оставаться: отец стоит выше сына, учитель — выше ученика. Тот, кто хотел бы тут создать равенство, создал бы основательную путаницу».

Тому, кто хочет узнать, к чему это приводит, далеко ходить не надо. Достаточно одного взгляда через немецкую границу и берлинскую стену. Любой может посмотреть на ту сторону, ни у кого здесь нет оправдания, что он ничего не знал. Каждый может снова и

снова убеждаться в том, что так называемая ГДР — государство несправедливости «rag excellence». Этот факт должен быть отправной точкой при любом разговоре о разделении Германии. А несправедливость начинается с решающего пункта: с вопроса о свободе.

Если бы нечего, совершенно нечего было бы поставить в упрек так называемой ГДР, уже одного бесстыдного обращения с политически неугодными гражданами и гражданками, средневекового террора карательных органов было бы достаточно, чтобы весь мир вознегодовал, казалось бы!.. Но мир не негодует. Он молчит.

Люди выходят на демонстрации в защиту свободы чилийцев, негров в Родезии или в Южной Африке. Устраивают демонстрации с требованием, чтобы коммунисты в ФРГ получили право быть учителями, судьями, государственными чиновниками и прокурорами. Но за наших ближних — в политическом смысле библейского выражения, — которые либо по политическим причинам, либо как скрытые заложники за пойманных у нас главных коммунистических агентов — сидят там под замком, никто не марширует по улицам. А насколько это было бы оправдано — выйти на улицу!

У меня есть факты, которые — могу вас уверить — были мною и моими сотрудниками тщательно изучены и проверены. В 1975 году в так называемой ГДР 7590 мужчин и женщин сидели в тюрьмах по политическим причинам. Я нарочно называю лишь цифры 1975 года, так как более поздние недостаточно проверены. Эти политзаключенные приговорены к непомерно долгим срокам, которые им приходится отбывать в жутких, бесчеловечных условиях.

У нас левая интеллигенция идет на баррикады из-за того, что находящиеся в заключении членов банды Баадера-Майнхоф «пытают одиночеством» — это при играх в пинг-понг, сидении вечером у телевизора,

занятиях физическими упражнениями, при заполненных книгами камерах! А в это время в каторжной тюрьме Хоенек 1500 женщин — среди них примерно 200 политических — прозябают в жутких условиях.

В Бауцене 1 в 1975 году сидело 450, в Бауцене 2 — 100 и в Руммельсбурге — 1500 политзаключенных. В Бранденбурге 300 политзаключенных содержатся вместе с 4000 так называемых «долгосрочников» и с пожизненными заключенными; в Бюцове и Дрейденберге — 300, в Котбусе — 500, в Вальдгейме — 250, в Варнемюде — 300 политзаключенных отбывают, как правило, варварские сроки. В 53 тюрьмах ГДР в 1975 году содержалось 37000 заключенных. Из них — повторяю — 7500 было политических.

К этому числу надо прибавить заключенных в «штрафных отрядах» (мы смогли определить местонахождение 30 из них), в «рабоче-воспитательных отрядах», из которых нам известны 11 мужских и 3 женских. В большинстве своем члены «рабоче-воспитательных отрядов» — это так называемый асоциальный элемент; но, как и в штрафных отрядах, здесь много политических, которые по давно известному, знакомому стандарту считаются «асоциальным элементом», подобно тому, как в Советском Союзе борцы за гражданские права объявляются сумасшедшими и направляются в психиатрические больницы.

А что вообще означает в данном случае — «политзаключенные»? 80% из них осуждены за попытку побега. Причем, обвинение сформулировано гротескным образом — «терроризм». Осуждают за терроризм также и тех, кто подготавливает свой побег с посторонней помощью. Что за демагогическое злоупотребление этим словом — бичом нашего времени, прославленного похищениями самолетов, предательскими убийствами и динамитными взрывами!

Другое обвинение против беженцев формулируется как «торговля людьми». Это означает, что беженец

посвятил в свои планы родственников. Более цинично невозможно применять язык и понятия цивилизации!

Так что нет необходимости доказывать, что в «советской зоне» нарушаются гарантированные международными договорами человеческие права. Принципы, которые недавно были заново торжественно провозглашены в «третьей корзинке» Хельсинкских соглашений, ныне юстицией советской зоны объявляются преступлением, а попытка ими воспользоваться карается тюрьмой или каторгой. Причем, со сроком наказания, который в правовых цивилизованных государствах применяется лишь против рецидивистов-бандитов и убийц. Но это еще не все. Применение наказания сопровождается новой бесчеловечностью. «Тот не знает правительства страны, кто не побывал в ее тюрьмах». Это слова Толстого. И то, что мы узнаем о тюрьмах так называемой ГДР от бывших заключенных, в соответствии с этими словами характеризует режим в советской зоне как бесчеловечный, нецивилизованный и преступный.

В каторжной тюрьме Бранденбург в камеры размером в 22 кв. м, то есть 3 1/4 на 7 м, набито 22 заключенных. Есть уборная и два умывальника с холодной водой. Нары — трехэтажные. Верхние — лишь в 40 см от потолка. 40 см — так было в Бухенвальде! А для тех, кому не хватает места на нарах, педантичная тюремная администрация ввела в анкетные обозначения термин «BS» (Boden-Schläfer), то есть «спящий на полу»! Эти заключенные вынуждены спать на одеяле, брошенном на голый пол.

В женской тюрьме Хоенек женщины и девушки находятся в условиях, которых мы и представить себе не можем. В камеры, рассчитанные на 15 человек, набито до 55 заключенных. Среди них множество «BS». Горячая вода выдается лишь по предписанию врача. Гигиенические условия — катастрофические. Свирепствует чесотка. Женщины и девушки вынуждены мыть

волосы солодовым кофе, накапливая его втайне от тюремщиков. 20-летние девушки нередко после нескольких лет заключения теряют зубы, потому что питание губительно для здоровья: ни фруктов, ни белков!

Но что значат эти внешние, бытовые условия по сравнению с душевными страданиями, с запретом переписки и свиданий!

Одиночество, заброшенность, потеря человеческого достоинства, унижение человека до уровня бесправного, лишенного чести раба — в еще худшей форме, чем по древнеримским законам, где человек, правда, считался не личностью, а вещью, но по крайней мере вещь, обладавшей имущественной ценностью, о которой хозяин обязан был заботиться.

А в немецком городе Котбусе в подвале тюрьмы для политических есть так называемые «тигровые клетки» — неотопливаемые карцеры размером 2 на 3 метра, разделенные надвое железной решеткой. В таком карцере писатель Зигмар Фауст просидел 23 месяца. Он был осужден на 4,5 года тюремного заключения строгого режима за то, что для выезда из страны подал формально правильное заявление о выходе из гражданства ГДР для себя и членов своей семьи.

Я мог бы продолжать до бесконечности этот список островов немецкого Архипелага ГУЛаг той части нашей страны, которая находится под коммунистическим господством. Когда я читал свидетельства об этих ужасах, я был потрясен. В особенности потому, что все это может происходить без единого возгласа протеста из свободной части нашей родины, и ни у кого не сжались кулаки против тех, кто несет за это ответственность. Какое презрение к человеку! Какая вялость сердца! Неужели мы отступим во второй раз, как сделали это после 1933 года?

Ко всему прочему, мы должны еще и субсидировать этот режим. Он в немалой степени поддерживается нашими торговыми льготами, поставками нашей

промышленности и, наконец, прямыми финансовыми контрибуциями. С 1970 по 1975 год советская зона получила от нас 7,2 миллиарда марок в виде платы за визы и пользование дорогами; в виде уравнивающих доплат за пользование железной дорогой и почтой; в результате обязательного денежного обмена (при въезде в ГДР); в виде прибылей за права, предоставленные Европейскому содружеству; и в особенности — в виде не поставленных в счет процентов за огромные государственные кредиты в сумме приблизительно 850 миллионов марок, которыми пользуется ГДР. Всего лишь проценты за эти кредиты в течение вышеназванного периода (1970-1975) должны были бы составить 188,1 миллионов марок!

Суммы за выкупленных заключенных — подушная подать законодательству террора — при этом не учитываются, т. к. официальных данных о них не существует. Есть неофициальная, но довольно достоверная статистика: с 1965 по 1976 год было выкуплено 9000 тысяч политических заключенных за 448 миллионов марок. Это самая крупная торговля людьми за всю историю человечества! При назначении размеров выкупа советская зона приравнивается к общемировому темпу инфляции. Если десять лет назад заключенный стоил 40.000 марок, то сейчас цена повышена до 70.000.

Чтобы не произошло недоразумения: я не сожалею об этой статье бюджета. Я был одним из пионеров выкупа невинных заложников, потому что люди ценнее, дороже денег.

Почему я на этом торжественном собрании излагаю столь мрачные факты? Почему я обременяю ваши сердца картиной несчастий современной немецкой политической жизни? Я делаю это намеренно.

При наших сетованиях на распад нравственных ценностей мы, как правильно отмечает современная социология, исходим обычно из того, что

а) нам надо апеллировать к широким массам;

б) каждый отдельный гражданин мог бы при наличии доброй воли поступать лучше, действенной, нравственной.

Но дело это не так просто: нравственное поведение не является индивидуальным достижением, оно должно быть вызвано наиболее авторитетными в народе людьми.

Это означает: моральное оздоровление отдельного человека, признание им основных народных и государственных ценностей, готовность сопротивляться нападкам политической безнравственности, политического сатанизма, должно быть вдохновлено, мотивировано теми, кто руководит политикой и экономикой, «социальными оформителями», как их называют социологи, т. е. людьми, которые жизнью своей должны показывать пример. Это и всегда было так — хотя легенды, созданные историческими книгами, часто представляют дело иначе.

Прусские освободительные войны не были упавшими с неба или выплеснувшимися из потока времени народными восстаниями, стихийными, как шторм. Готовность к жертве и борьбе, к служению и сопротивлению были вызваны в народе несколькими реформаторами и людьми верующими из ведущих слоев общества. Так это было всегда! И если этого не происходит, то не происходит ничего. Вот и у нас — все кончается лишь самовыражением нации на футбольном поле.

Мы, собравшиеся здесь «социальные оформители» (повторяя это социологически-абстрактное выражение), должны взять в свои руки факел свободы и права, служения и долга, правдивости, гуманности и любви к родине. И должны нести его вперед. И должны объяснять суть наших задач.

Еще Вольтер считал, что достаточно двух или трех мужественных людей, чтобы изменить дух народа. Но Вольтер не знал ни телевидения, ни междуна-

родного сотрудничества между коммунистами, не то он бы увеличил предполагаемое число тех, кто призван предостеречь, призван изменить дух народа. Одно не подлежит сомнению: основной курс определяет всегда меньшинство. Это известно и нашему противнику. Один из самых интеллигентных вождей коммунистического лагеря определил это как основное стратегическое правило. Я прошу вас внимательно прослушать цитату Ленина — даже если она вам уже известна. Ленин сказал в 1921 году:

*«В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться ни в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения (...).*

*(...) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые (...) поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей».*

*«(...) Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью.*

*Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и,*



*снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самобийства»<sup>\*</sup>).*

Вы, наверное, согласитесь со мной, что преемники Ленина — в том числе и в Восточном Берлине — точно следуют рецепту 1921 года. И до сегодняшнего дня им с этим — то есть с нами — везло. Есть много людей, среди них и политиков, занимающих значительные посты, которые хотели бы эту очевидность затушевать. И они придумали волшебный трюк, фокус-покус, слово, которое, как заклинание, должно освободить коммунизм от всяческих долгов: «еврокоммунизм». Чуть левее или правее Дубчека! Человеческое лицо! Коммунизм в галстук и в воротничке, с НАТО, с тайной банковских счетов — еврокоммунизм! Он заставит забыть Ленина, а заодно «зону» и ее каторжные тюрьмы. И все-таки трюк весьма прозрачен.

Дело в сути, а не в разновидностях. А суть такова: или свобода, или насилие. Мы должны быть готовы оказать сопротивление фронту, враждебному свободе человечества. И это должно начаться с обновления духовного. Из такой позиции, питаемой глубокими, крепкими корнями, вполне может вырасти современный, прогрессивный патриотизм. Да, я бы сказал, что только из нее он может произрасти. Для всех, кто так думает, подтверждением служит принятие этих принципов современным государством. Например, Австрия включила в решение своего парламента от 28 октября 1955 года, касавшееся рождения нового воссоединенного государства после ухода всех оккупа-

---

<sup>\*</sup> Цит. по: Ю. Анненков, «Дневник моих встреч», т. 2, стр. 279 и 280. Нью-Йорк, 1966.

ционных войск, пять принципов Отца Отечества Швейцарии, Никлауса фон Флюе, и даже сделала их основной частью документа. Я хочу привести цитату из этих пяти принципов брата Клауса, канонизированного в 1947 году:

«Что душа для тела, то Бог для государства.  
Когда душа покидает тело, оно разлагается.  
Когда из государства изгоняется Бог, оно  
обречено на гибель».

Это укрепляет меня в убеждении, что нет родины без Бога. Это относится также и к Германии, и ко всей ее политике.

Отдельные отечества смогут объединиться в большие области, о которых я говорил. В этом смысле я всегда понимал высказывание Шарля де Голля, часто вызывавшее недоумение, по поводу Европы многих отечеств — он говорил, что лес не может быть просто лесом, он состоит из буков, елей, дубов и других древесных пород. Надо что-то представлять собой, чтобы и в более высоком содружестве, в федерации, что-то значить.

«Кто, минуя родину, хочет бежать прямо в мировое гражданство, тот малодушный человек, ибо собирается променять неудобную любовь к ближнему на более удобную — к самым дальним», — сказал пастор Эвертц из «Евангелического содружества в беде». Любовь к ближнему, а не к самым дальним — исходя из личной и национальной ответственности — это стимул особого отношения к тому народу, который когда-то имел с нами как самые прекрасные, так и самые страшные связи. Я говорю об Израиле. И когда человек, который сейчас занимает пост министра в Бонне, сказал мне однажды: «Кто в 1945 году почувствовал себя не побежденным, а освобожденным, от того незачем требовать особого отношения к евреям и к Израилю» — этот человек допустил две крупных

ошибки. Во-первых, невозможно уклониться от общей вины, которую возложила история на твой народ, — ты к нему принадлежишь и делишь с ним ответственность; во-вторых, именно Израиль, в создании которого мы, немцы, таким мрачным образом участвовали, во многом — пример для нас: государство было потеряно, родина оставалась только сном, столица была в чужих руках. Почти две тысячи лет евреи в диаспоре не забывали произносить: «В следующем году — в Иерусалиме!»

Вера и воля, терпение и все преодолевающее мужество привели, наконец, к успеху. Каждый, кто занимался историей евреев, знает, что это был сложный путь, в котором евреи не всегда были едины, и решающую роль тут сыграли аргументы и вдохновение «социальных оформителей» — пророков и мечтателей.

Поэтому я хочу к условиям компенсаций добавить требование: понимать примирение с еврейским народом и помощь Израилю как часть немецкой национальной политики, которая должна привести к выздоровлению и возрождению полностью свободного немецкого народа.

Закончу следующим примером: когда Август, граф Гейзенау, прусский реформатор, представитель военного сословия, носитель патриотических и освободительных идей, предъявил в августе 1811 года малодушному прусскому королю Фридриху-Вильгельму III план восстания против Наполеона, король сделал на полях ироническое замечание: «В качестве поэзии — годится».

Гензенау ответил гневными словами, которые впоследствии приобрели известность: «Религия, молитва, любовь к правителю, к родине, к добродетели — все это не что иное, как поэзия: без нее нет сердечного подъема. Кто действует только по холодному расчету, тот черствый эгоист. На поэзии, Ваше Величество, стоит безопасность престолов!»

А я бы добавил — и безопасность отечества.

В этом смысле и я — поэт и мечтатель. Я чувствую себя, как цитировавшийся мной вначале истинный немецкий романтик Эрнст Мориц Арндт, который сказал о себе: «Есть люди, которые всего только инструменты неведомого Бога. Да сохранится во мне сила, которая не даст никакому злу играть на мне».

## ПИСЬМО ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ПЕРМСКОГО ЛАГЕРЯ № 36

Запад стоит перед выбором, от которого нельзя уклониться и который надолго определит не только и не столько политическую, сколько нравственную атмосферу в Европе и мире. Хотя этот выбор существенно связан с вопросами о политических заключенных и о неотъемлемых правах человека, однако речь идет преимущественно не о судьбе нескольких заложников в лагерях и в «большой зоне» зла, насилия и лжи. На самом деле речь идет, главным образом, о другом — во что ценят свободу и право те, кто привычно и уверенно пользуется ими.

На глазах всего мира безответственные лидеры коммунистического блока цинично пренебрегают международными обязательствами, во тьме закрытых судов нагло нарушают собственные законы, прикрывая преступления лживым пустословием о служении народу, о какой-то высшей форме демократии.

Захочет ли Запад в поисках ненадежной временной безопасности, преходящих политических и экономических выгод, пусть существенных, вновь не заметить произвол, снова разыграть неосведомленность и доверчивость, сгладить острые углы вежливыми фразами о верности каждой из противостоящих сторон своим социальным концепциям? Сочтет ли Запад военную мощь и злую решимость тоталитарных государств достаточными основаниями для того, чтобы опять допустить преступников судить других, более слабых?

Будем называть вещи своими именами — сочтете ли вы себя вынужденными своей уступчивостью попустительствовать преступлениям? Ибо ложь не существует без тех, кто верит — или хотя бы делает вид,

что верит ей. Ибо ваше признание нужно преступникам не меньше, чем ваши доллары, ваше равнодушие — не меньше, чем ваши машины.

Либо, напротив, у Запада достанет мудрости исходить из того, что у людей нет более важной, более неотложной Цели, чем ограничить насилие и прикрывающую его ложь;

мудрости отстаивать — как единственную гарантию безопасного существования теперешнего тесного и переплетенного мира — нравственность и право, общие для всех;

мудрости предпочесть злободневным практическим нуждам духовные ценности и защищать их сегодня, а не завтра;

мудрости пренебречь минутными противоречиями узких интересов и объединиться ради великой цели.

Хватит мужества твердо заявить, что кровь и слезы не есть чье-то внутреннее дело, не отступить перед проблемами, решение которых совсем не очевидно, во всяком случае — очень трудно, и пытаться пресечь незаконные там, откуда обман и соблазн насилия расползаются повсюду.

Достанет бескорыстной верности нравственному долгу.

И в этом, на самом деле, и состоит выбор.

Вас пытаются уверить, будто деспотия может быть миролюбивой, а руководители, сделавшие ложь, клевету, незаконные расправы — профессиональным занятием сотен тысяч внутри страны, пожелают честно держаться своих обязательств вовне. Вам говорят: «Будьте реалистами, не забывайте, как мы сильны. Не тащите мораль в политику, оставьте ее для воскресных проповедей. Разве реалистично замечать

то, что мы прячем, и открыто говорить об этом? Это может затруднить разрядку».

Что ж, этот нравственно однозначный выбор и в самом деле не прост с точки зрения традиционной политики.

Но если меновую стоимость в политической игре вновь приобретает свобода — чужая свобода, которую ваши предшественники помогли потерять столь многим, отдавайте себе отчет в том, что дурной опыт торговать чужой свободой неизменно грозит потерей собственной.

*Зиновий Антонюк  
Семен Глузман  
Игорь Калынец  
Сергей Ковалев  
Валерий Марченко  
Пятрас Плумпа  
Евген Сверстюк  
Иван Светличный  
Баграт Шахвердян*

K



## *Дорогой Слава!*

*В короткой приветственной телеграмме не выскажешь всего того, что нам хотелось бы высказать тебе сегодня, в связи со знаменательным для всех нас годом твоего пятидесятилетия. Мы горды тем, что являемся твоими друзьями и современниками. Мы глубоко чтим в тебе не только гениального музыканта нашего времени, но и великого русского патриота. Твой неиссякаемый оптимизм, твоя неистребимая вера в конечное торжество человечности и взаимопонимания над темными силами насилия поддерживало и поддерживает каждого из нас в нашей повседневной борьбе и работе.*

*Твое вдохновенное искусство согревает наш скорбный мир и озаряет твоих слушателей Возрождением и Надеждой.*

*Долгих тебе лет и душевного света, Слава!*

*Редколлегия «Континента»*

*Мстиславу Ростроповичу*

На стене прозвенела гитара,  
Зацвели на обоях цветы.  
Одиночество Божьего дара —  
Как прекрасно и горестно ты!

Есть ли в мире волшебней, чем это  
(Всей додуке земной вопреки!)  
Одиночество Звука и Цвета,  
И паденья последней строки?!

Отправляется небыль в дорогу  
И становится былью потом.  
Кто же смеет указывать Богу  
И заведывать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,  
Но к холсту, превращенному в дым, —  
Так легко прикоснуться рукою  
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,  
Что не всякая близость близка,  
И что в храм ре-минорной токкаты  
Недействительны их пропуска!

*Александр Галич*